

# ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

ИЕГУДА АМИХАЙ  
СТЕПАН БАЛАКИН  
ГРИГОРИЙ БАРДИН  
ЭЛИ БАР-ЯЛОМ  
ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ  
МАРК БОГОСЛАВСКИЙ  
ЙОНА ВОЛАХ  
ЕФИМ ГАММЕР  
МИХАИЛ ГОРЕЛИК  
ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ  
ЕЛЕНА ИГНАТОВА  
ФЕЛИКС КАНДЕЛЬ  
АРНОЛЬД КАШТАНОВ  
ЮЛИЙ КИМ  
ДМИТРИЙ КИМЕЛЬФЕЛЬД  
ИГОРЬ КОГАН  
АРКАДИЙ Ф. КОГАН  
ЗОЯ КОПЕЛЬМАН  
РИНА ЛЕВИНЗОН  
ИЛЬЯ ЛИПЕС  
ЕЛЕНА МАКАРОВА  
ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛИЧЕНКО  
СЕРГЕЙ НИКОЛЬСКИЙ  
БУЛАТ ОКУДЖАВА  
ГРИГОРИЙ ОСТРОВСКИЙ  
ДАН ОРЬЯН  
ПИНХАС ПОЛОНСКИЙ  
КСЕНИЯ ПОЛТЕВА  
АЛЕКС РЕЗНИКОВ  
ОЛЬГА РОГАЧЕВА  
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ  
БИНЬЯМИН ТАММУЗ  
ВЛАДИМИР ФРОМЕР  
И ДРУГИЕ

№7



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלים ספרותית

2001'7

# ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

Роману Вранскому  
от автора опубликованных  
здесь рассказов с уважением  
и на добрую память.

23.07.02.  
Д.В.

*[Signature]*



И Е Р У С А Л И М

## Иерусалимский журнал, № 7, 2001

*Журнал современной израильской литературы на русском языке*

Виртуальный вариант в Интернете: [www.antho.net/L](http://www.antho.net/L)

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: Игорь Бяльский (главный редактор),

Юлий Ким, Зинаида Палванова, Дина Рубина,

Роман Тименчик, Светлана Шенбрунн

Ответственный секретарь – Леонид Левинзон

Художник – Сусанна Черноброва

Редактура и корректура – Маргарита Шкловская

Организационное и техническое обеспечение номера – Бина Смехова,

Ольга Аксютинна, Михаил Бяльский, Борис Бронштейн,

Даниил Бурштейн, Виктор Гопман, Григорий Гордин,

Шауль Котлярский, Антон Мухин, Борис Штейн

Издательство «СКОПУС»

Типография «ЦУР-ОТ»



При поддержке

Министерства абсорбции;

Министерства культуры;

Центра интеграции репатриантов –  
деятелей литературы и искусства;

Отдела культуры

и Управления абсорбции Иерусалимского муниципалитета;

Иерусалимской русской муниципальной библиотеки;

Сионистского Форума;

Всемирной ассоциации по изучению взаимодействия культур.

**Журнал выходит ежеквартально**

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2001. All rights reserved.

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам.

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322**

E-mail: [review@antho.net](mailto:review@antho.net)

Тел./факс: 972-2-5384914; 972-2-6720025; 972-2-6434005, 972-2-6432962

**Представители «Иерусалимского журнала»:**

**Москва –** Лия Кренцель, 4318386; [krentsel@ips.ac.ru](mailto:krentsel@ips.ac.ru)

Игорь Грызлов, 5507747; [igorgr@dol.ru](mailto:igorgr@dol.ru)

**С-Петербург –** Сергей Григорьянц, 2948143 **Ольга Крупенья**, 3125465

**Новосибирск –** Владимир Болотин, 329944; [V.P.Bolotin@inp.nsk.su](mailto:V.P.Bolotin@inp.nsk.su)

**Нью-Йорк –** Андрей Грицман, 201-8169131; [agritsman@msn.com](mailto:agritsman@msn.com)

Рита Бальмина, 619-4606179; [rita\\_balmin@yahoo.com](mailto:rita_balmin@yahoo.com)

**Чикаго –** Александр Блинштейн, 847-6761134; [RMA556@prodigy.net](mailto:RMA556@prodigy.net)

Ефим Котляр, 847-5819304; [YefimK@aol.com](mailto:YefimK@aol.com)

**Париж –** Владимир Смехов, 1-46-029978

**Торонто –** Илья Липес, [lipes@idirect.com](mailto:lipes@idirect.com)

**В Израиле:**

**Арад –** Ольга Кравченко, 08-9971014. **Ариэль –** Самуил Кушниров, 03-9365452.

**Афула –** Любовь Серегина, 04-6492095. **Герцлия –** Леонид Шейнкман, 09-9502681.

**Кфар-Саба –** Виталий Кабаков, 09-7673293. **Лод –** Михаил Гиль, 08-9201291.

**Реховот –** Марк Павис, 08- 9353758. **Хайфа –** Михаил Басин, 04-8213657.

*Дмитрий Сухарев*

## *СЛОВА, ЗАПАСЕННЫЕ ВПРЁК*

### ПРОЩАНИЕ С РОДИНОЙ

*(плагиат)*

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Я прощаюсь со страной, | где    |
| Проживают в основном   | те,    |
| Кто не рвется никуда   | из     |
| И не ждет в очередях   | виз.   |
| А прощаюсь потому      | днесь, |
| Что я выработан вдрызг | весь,  |
| И покуда не вполне     | стих,  |
| Я скажу своей стране   | стих.  |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Я и слякоти твоей       | рад,   |
| А уж снега-то вкусней   | нет.   |
| Государство это да,     | смрад, |
| Но страна-то навсегда   | свет.  |
| Я и голодом твоим       | сыт,   |
| И под бременем, как ты, | гнусь. |
| А что гложет за тебя    | стыд,  |
| Так и сам ведь я хорош  | гусь.  |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| И покуда не совсем        | смолк, |
| Я скажу, что в жизни есть | толк,  |
| Если только в жизни есть  | честь  |
| И хотя бы небольшой       | долг.  |
| Государство небольших     | прав   |
| Отучило проявлять         | спесь. |
| Оставляю небольшой        | прах,  |
| Он поместится в кульке    | весь.  |

2001

---

*Стихи из этой подборки – совсем новые и написанные поэтом в прошлые годы, но ранее не публиковавшиеся, – вошли в книгу Дмитрия Сухарева «Холмы», которая готовится к изданию в «Библиотеке Иерусалимского журнала».*



## ВРЕМЯ ДНЕЙ

В темное время дня  
Мать просила меня:  
– Митенька, помоги умереть.

В светлое время дня, оставшись одна,  
Мать обращалась к окну, прося у окна:  
– Господи, помоги умереть.

Но каждый из нас был в принципах строг,  
Ни я не помог, ни Бог.  
И мама молча лежала,  
Держа на уме слова, запасенные впрок.

Пролежни, мази.  
Тазики, склянки, клеенка.  
Тряпки, зеленка.  
Светлое время дней становилось темней.  
Темное время дней становилось трудней.

Кончилось лето.  
Дачные кошки котят народили.  
Мать почуяла: вот он, срок.  
И мать сказала:  
– Прощайте, мои дорогие.  
Успела сказать слова, запасенные впрок.  
2000

## КОНЮШЕНКА

*(реставрация)*

Воротился сын! Мать, неси кувшин!  
Воротился брат! Отслужил солдат!  
Выбегай, жена! Вылетай сестра!  
Вот и вышла мать и стала посреди двора.

«Ты не кличь сестру, не слыхать сестре  
Она замужем во чужом дворе.  
Ты не кличь жену, она курва-пьянь,  
Уж не жить тебе, сыночек, при своем добре.

Всех коней твоих пораспрóпила,  
Соколов твоих пораспúстила,  
Все сады твои позасушила,  
Все меды твои с дружками пораскушала».

Как пошел солдат к жене в горенку,  
Как вынал солдат востру сабельку,  
Как рубил солдат жене голову,  
Голова и покати́лась во конюшенку.

А в конюшенке кони сытые,  
Соколы сидят очищаются,  
Все сады стоят зеленёхоньки,  
Все меды стоят целёхоньки, заплёсневели.

Ой люлю-баю, моё дитятко,  
Мы с тобою два сиротинушки.  
Ты расти, проси Божьей милости –  
Может, пава пролетит, уронит пёрышко.

Может, павушка по небу пролетит куда,  
Может, пёрышко уронит на подворьеце.

2000

### ДАЙ СРОК

По пятнышку всю грязь  
Вытравливаю,  
По вошке свою мразь  
Вылавливаю,  
По капле из себя  
Выдавливаю  
Советского простого человека.

Не надо убеждать:  
Борьба, борьба, борьба,  
Не надо утешать:  
Судьба,  
Судьба,  
А надо из себя  
Выдавливать раба.

Выдавливаю.

Повыбью своих гнид,  
Повыколочу блох,  
Содвину гнет беды,  
Повыпрямлюсь, даст бог,  
Сотру со щек следы,  
Повыправлю свой слог,  
Даст бог.

Дай срок.

1988

### ПРОХОДИТ ВСЕ

Проходит все, забыт язык элегий,  
А был хорош немилитантный стих.  
Так хороши, так свежи были розы,  
А мы и в грош не ставим нынче их.

А нынче розу, томную на диво,  
Не ставим в склянку темного стекла,  
И элегичность склянки из-под пива  
Томится в склепе темного угла.

Но все ж давай не выбросим навечно  
Складированных в темени словес.  
Придет пора – элегии вернуться,  
И скляницу достанем из пыли.

И осторожно втискивая розу  
В сполоснутую наскоро строфу,  
Вдохнем по дням, когда язык событий  
Был так хорош, так свеж...

1986

### ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЯКИНУ

Жил да был редактор Всякин.  
Он поэтам разным-всяким  
Был свояк, и потому  
Всякий-разный бедолага  
Почитал почти за благо  
Посвятить стишок ему.

Что за чушь – щенки в корзине!  
Кто теперь берет борзыми?  
Всякин брал совсем не тем –  
Брал отважностью суждений,  
В этом был он сущий гений,  
Не бежал опасных тем.

Он шептал: «Печатать нужно  
Всех! – (И все поэты дружно  
Враз качали головой.) –  
Нужно, но нельзя. Но – можно,  
Только это очень сложно!»  
В общем, был он в доску свой.

Он, небось, еще в утробе  
Заимел такое хобби –

С каждой книжки по стишку.  
Это было всем известно,  
И поэтам было лестно  
Услужить милу-дружку.

И меня, был юн, приперло,  
Всякин брал меня за горло,  
Говорил мне: «Ты не прав!  
Посвящай скорее, Дима,  
Это нам не-об-хо-ди-мо!»  
Я молчал, воды набрав.

Жизнь промчалась. Так ли, сяк ли,  
Посвященья поиссякли,  
Нет бывшего косяка.  
Я подумал: скушно вроде!  
Посвящу стишок Володе,  
Позабавлю старика.

1982

## **ЗА ПЫЛЬНОЙ ЗАНАВЕСКОЙ**

За пыльной занавеской  
Висит горячий день.  
На выщербленных досках  
Лежит сомлевший пес.  
Его вальяжных поз  
Пример весьма завиден,  
И мы дела забудем,  
Едва завидим пса.

Властительница-лень!  
Тебя хулят поэты,  
А ты в апологеты  
Бери давай меня.  
А те, что в ЦДЛе  
И в пекло водку пьют,  
Они отменным слогом  
Работу воспоют.

Ученый и вальяжный  
Придет ко мне мой пес,  
От лени ткнет в колени  
Свой черный влажный нос.  
Но вместо утешенья  
В его больших глазах  
Прочту свои крушенья,  
Свои увы и ах.

1974

**РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ**

Правду люди говорят:  
Рукописи – не горят.

А ведь было: не стихи ли  
Дегтем мазали и жгли?  
Луковицами сухими  
Из-под пепла проросли!

Красок тоже не стереть,  
Не замазать пошлой маской –  
Живописи под замазкой  
Ни за что не умереть.

Летопись не для прикрас,  
Сочиненья – не поленья,  
Потому что после нас  
Тоже будут поколенья.

Звякнет звукописи звук,  
Оживет наброска живость,  
И нутром учует внук  
Века дедова нелживость.

Царь Иван державой правил,  
Он уж летопись подправил!  
Но слаба была рука.  
Сел Иван пред внуком в лужу,  
Все вранье торчит наружу,  
Словно глист из рысака.

Пробирает страх, страх,  
Вот и сохнет над бумажкой  
Цезарь с цензорской замашкой  
Только дело прах, прах.

Не старайся, граф, граф  
Александр Христофорыч,  
Убирайся из конторы,  
Ждет контору крах, крах.

Жечь – напрасная затея!  
И во всех концах земли  
В койках маются, потея,  
Те, кто резали и жгли.



Нету гадам сна, сна,  
Всюду мнится чертовщина –  
Немигающий мужчина,  
Доктор Воланд, сатана.

Он с усмешкой небольшою  
К подлецу подходит сам  
И легонечко левшою  
Бац злодея по усам!

Бац! – и нет с чертями слада,  
Хоть ори кукареку.  
И всю ночь дубасят гада  
По зубам и кадыку.

1973

## МЕДЛЕННЫЕ ДНИ

Каменные плиты южных городов,  
Где пучок травы  
В щели, –  
Было, я любил вас, и опять готов,  
Да боюсь, а вы  
Те ли?

Так же ли у каждой старой двери  
Держите вы старый табурет,  
На котором старая старуха  
Жмурится на старый белый свет?

Та же ли домашняя скотина,  
Рыжий и насупленный котина,  
Ходит за старухой по пятам?  
И стоит ли рядышком платан?

Царственно-легко дышится в тени,  
Царственно-длинные тени.  
Царственный платан,  
Медленные дни –  
Те же ли они?  
Те ли?

1969, 1985

**ТРИ СМЕЛЫХ СТАНИСЛАВА\***

Три смелых Станислава  
Статью писали всклад,  
Вдруг видят: кучеряво  
Вдали возник Булат.  
Один воскликнул: «Справа  
Идет большой поэт!»  
Другой сказал: «Отрава».  
А третий крикнул: «Бред!»

Три Стасика с банкета  
Пошли ловить зверей,  
Как вдруг из-под паркета  
На них летит Андрей.  
Один кричит: «Ракета!  
Дорогу кораблю!»  
Другой: «Держите шкета!»  
А третий: «Улюлю!»

Три критика в бурьяне  
Оттачивали нюх,  
Вдруг слышат: кто-то рьяный  
Стихи читает вслух.  
«Евтух! – воскликнул третий, –  
Ей богу, это он!»  
«Протух...» – второй заметил.  
А первый вышел вон.

1968

---

\* Раскрою скобки. В этом давнем стишке, адресованном литературному междусобойчику, фигурируют три известных охотника до критических баталий – Станислав Куняев, Станислав Лесневский и Станислав Рассадин. В легендарные 60-е все трое промышляли в одних и тех же угожьях и сносили освежеванную добычу к общим журнальным котлам. Сейчас в это трудно поверить – угожья приватизированы, крупной дичи кот наплакал, да и та у каждого своя.

# ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

---

*Елена Макарова*

## *СЦЕНАРИЙ ПРОГУЛКИ*

*Наброски к роману*

### **1. ХУГО ФРИДМАНН ПОСВЯЩАЕТ ЭКСКУРСАНТОВ В ТАИНУ «ЧУДО-СТРОЕНИЯ»**

В сумерках, при тающем свете, все еще хорошо видны крепостные валы, отчетливо строение беседки. Здесь, у парка, и останавливаются экскурсанты. Входить в парк строго запрещено. Но стоять перед ним – пожалуйста. Гид – Хуго Фридманн – обращает взор на «чудо-строение»:

– Прелестный маленький округлый храм-беседка. Стиль – модерн, нео-рококо. Сработана в 1914 году местным архитектором, бывшим бургомистром Богушовиц. Здесь же прежде был воздвигнут стальной постамент, который был затем удален и вместо него поставлена статуя президента Масарика, которую, в свою очередь, тоже убрали, освободив место для пока еще не опознанного мною объекта... Имеют судьбу монументы... – вздохнул Хуго и умолк.

Деревья облетели, но не ушли со своих мест, стволы их мешали обзору, и памятник великому чешскому композитору Бедржиху Сметане не просматривался. А именно о нем предстояло вести речь. Хуго быстрым шагом пошел вдоль парка, пытаясь найти точку, с которой памятник был бы виден. Группа двинулась за ним.

– Нет, оставим эту затею, – сказал он, – но поверьте мне на слово, – памятник Бедржиху Сметане существует. Кончится война – мы войдем в парк и увидим бронзовый бюст во всем его великолепии... А пока повернемся на восток. Перед нами – здание бывшего отеля «Виктория», – теперь его занимают лица, ответственные за распределение жилых помещений. Вкупе с Соколовной, – ныне известной нам как инфекционный госпиталь и оздоровительный пункт, – оба этих здания следует отнести к архитектурному типу распоследнейшего модерна. Вот, господа, куда мы попали!

Господа уже изрядно продрогли. Экскурсия на открытом воздухе возбуждает аппетит, это ее единственный недостаток. Надо быть кудесником, златоустом, заклинателем, надо быть Хуго Фридманном, чтобы питать ум и воображение на пустой желудок.

– Истинное понимание топографии искусств Терезиенштадта требует в первую очередь знания истории его архитектуры,

равно как и понимания исторических резонов, приведших к основанию города и крепости... – Невысокий очкарик, закутанный в теплое пальто, обвел рукой неясную перспективу – гора Жип, взятая в узкую раму крепостными стенами, ушла в туман. – Отсюда мы можем обозреть восхитительный ландшафт окрестностей города Литомержицы, – увы, при виде этой красоты сжимается сердце, никнут взоры... Третий бастион, куда мы с вами сейчас направляемся, это единственная точка, с которой еще можно установить зрительный контакт со свободным горизонтом и ландшафтными далями. Экзотика! Вулканические конусы богемского среднегорья... Романтическая прелесть многоцветных закатов издавна привлекала сюда художников – вам всем известны имена Людвиг Рихтера, Филиппа Отто Рунге и восхитительного, любимого мною с малолетства Каспара Давида Фридриха, – певца мистических пространств, гения великой эпохи немецкого романтизма... Кстати, а где наш художник?

Академик Альфред Бергель из Вены все еще дорисовывал «чудо-строение» – новый объект экскурсии. Худой, в фетровой шляпе и развевающимся шарфе, издали он походил на стяг. Рядом с ним – ссутуленная фигура в ватнике, якобы какой-то импресарио... Прибился к Бергелю и отвлекает того болтовней.

– Феликс Носковски, разрешите представиться! – «Фигура в ватнике», а скорее «тень в ватнике» молодцевато прищелкнула каблуком. – Импресарио знаменитой русской балерины Карсавиной. В 20-х годах я объездил весь мир с этой великолепной красавицей. Триумф русского балета!

– Вы мешаете вести экскурсию, – жена всеми уважаемого Филиппа Манеса поставила импресарио на место. Тот замолк, и Хуго продолжил речь:

– Облик города еще не был сформирован в период рококо, скорее, его характеризует эпоха стиля Франца-Иосифа, – парики и мушки, – в нем течет благородная кровь австрийского имперского стиля, известного всем вам, моим слушателям, под названием «бидермайер»...

– А кстати, Карсавина была замужем за английским дипломатом...

– Позвольте мне вернуться ко второй лекции и повторить для всех и для господина Носковски: истинное понимание топографии искусств Терезиенштадта требует в первую очередь знания его архитектурной истории, так же, как и исторических резонов, приведших к основанию города и крепости.

10 октября 1780 года следует считать днем основания Терезиенштадта. Тогда же и состоялась торжественная закладка камня самим кайзером, в присутствии главнокомандующего кайзеровской армии графа Морица Лейси и начальника военного строительства Карли Пеллегрини. Мария-Терезия тогда еще была жива. Как мы уже подчеркивали, Терезиенштадт не имеет ничего общего с персоной кайзерицы Марии-Терезии. Город носит

такое имя исключительно на основании пиетета к династии. Это – образование эпохи Иосифа, расстроенное и расширенное в дни Франца Второго.

– Все это надо записывать, – воскликнул Филипп Манес, – ведь так канут в небытие уникальные сведения! А что если оформить лекции о Терезиенштадте письменно?! История – это самая увлекательная сказка, история – это единственная реальность, доказательство нашего бытия...

Манес, старик из Берлина, образец благообразия, – борода клинышком, узел галстука в отвороте пальто, – ловит оттопыренным ухом каждое слово. Колющий ветер вышибает слезы, от чего Манес особенно страдает, – и слышно плохо, и видно плохо, – а так хочется все знать! Беспреданно вытирая голубые глаза темным платком, стараясь не отстать от Хуго, при этом ведя под руку свою любимую жену, закутанную по самые глаза в некогда роскошный пуховой платок, – он повторяет про себя даты и имена, – записать в дневник! Иначе и эта история канет в Лету, – ведь истории не существует без памяти, а память – это свойство человека. Значит, без человека нет и истории... Кто-то и про нас вспомнит...

– Когда вы станете памятником, – рывкает Носковски за спиной Манеса.

Это неприятно. Неприятно, когда чужие люди читают твои собственные мысли. И не только читают, но и вмешиваются в них. Это неприятно.

– Мы, жители гетто, вынуждены пассивно приобщиться к истории, – продолжает Хуго.

– К метаистории, – не унимается Носковски.

– В нашей прогулке, господин импресарио, я сосредотачиваюсь на топографии искусств и пытаюсь показать лишь красивую сторону нашего здесь бытия. Всем присутствующим известна другая сторона, но она к теме не относится... К чему эти колкие замечания?! Если мы будем постоянно прерываться, то не успеем до конца войны... Итак, позвольте еще два слова о Франце-Иосифе, которого мы имеем все основания особо благодарить. Ему мы обязаны своей свободой. Его правление ознаменовало поворотный пункт еврейской истории Европы. Так давайте же надеяться: дух великого кайзера, который незримо присутствует здесь, с нами, в его крепости, не покинет нас в беде... Будем верить в то, что пленение в историческом обиталище Иосифова духа в скорости для всех нас станет историей!

Хуго Фридманн! Чисто выбритый, с живым, быстрым взглядом под темной оправой очков, серый воротничок рубашки, синий галстук, шарф в обхват шеи прикрывает желтую звезду на груди.

– Какая это должна была быть дивная красочная картина, когда воинские силы Терезиенштадта выстраивались здесь на парад праздничными порядками. Широкая площадь блистала белизной: воинские плащи с белыми бандельерами, голубыми штанами с черно-желтыми кантами, между ними пестрые островки, составленные синими гусарами или зелеными уланами, между ними панцири кирасиров, золотые шлемы всадников, меховые шапки, венгерские колпаки, польские шапки, и промеж них – крепостная артиллерия в коричневых плащах, голубых штанах с широкими красными лампасами, а впереди, сверкая орденосно, генералитет в снежно-белых свежееотбеленных мелом мундирах, красных брюках с золотыми лампасами и зелеными петушиными перьями на черно-желтых шишаках. Картина, как ее изображали в акварелях Петер Фенди и умерший юным Карл Шиндлер... Их работы были украшением моей коллекции...

Постройка Терезиенштадта длилась приблизительно десять лет. Образцом для устройства градостроительных работ внутри оградительных фортификаций послужила римская *castra* – военный лагерь, квартиры. Так, Главная улица, Хауптштрассе, L-400 соответствует *via Decumana*, главные ворота у Усть-Лабских и Пекарских казарм – *porta principalis dextra versa sinistra*. А местоположение церкви с двумя зданиями комендатуры – это площадь римского претория. *Praetorium*.

В строительном ареале новой крепости различаются три категории строений: крепостные постройки, военные убикации, т. е. казармы, штабные здания, магазины, конюшни, гарнизонный и ветеринарный госпиталь и прочее, и последнее, гражданский город. Поначалу казалось непростым привести сюда соответствующее гражданское население. Соблазнительные привилегии должны были повлечь за собой заселение новой крепости.

– И какие же, интересно знать? – перебивает Феликс Носковски.

– Уважаемый импресарио, поймите – это наша двадцатая по счету экскурсия! Мы намерены закончить полный тур до зимы... Вы нам мешаете! – вспыхнул Филипп Манес.

– Позвольте мне ответить господину Носковски, – Хуго обнял Филиппа Манеса за плечи, – по поводу привилегий. Те, кто был в состоянии вести строительство собственным капиталом, получал двадцатипятилетнее освобождение от налогов и продолжительное открепление от воинской службы. Застройщики без собственного капитала получали его под пять процентов. Затем по всему государству были предоставлены права на промысел и алкоголь, так называемые концессии Марии-Терезии. Вскоре сгорела богемская Липа, ряд погорельцев пришел сюда, так что Терезиенштадт долгое время оставался немецкоязычным островком в чешской области.

– Выходит, мы попали на этот курорт задарма! – расхохотался Носковски.

И тут все господа, которых нам все еще недосуг представить, рассмеялись от души.

– Немецкоязычный островок в чешской области – ха-ха-ха!

Но посерьезнели и вспомнили, как же это, задарма, – сколько богатств сдали они рейху, да одна фабрика Хуго, одна его коллекция стоит десять миллионов! Манесы и художник Бергель тоже не были бедны, но куда им до Хуго! Правда, глядя на Феликса Носковски, не подумаешь, что он владел несметными богатствами. Хотя здесь, в Терезине, о человеке незнакомом может возникнуть впечатление, реальности не соответствующее.

## **2. ФЕЛИКС НОСКОВСКИ РАССКАЗЫВАЕТ АЛЬФРЕДУ БЕРГЕЛЮ СВОЮ ИСТОРИЮ**

– ...Понимаете, я так любил театр!

Во имя спасения экскурсии Альфред Бергель увел за собой шумного импресарио. Он пригласил его к себе, и не без умысла – тонкое его лицо с чахоточным румянцем привлекло художника.

– Муж Карсавиной находился тогда на службе в софийском посольстве. Прелестная брюнетка лет сорока, стройная, подвижная... Выглядела много моложе своих лет... Ах, как она танцевала в «Лебедином озере» Чайковского! Я ее удовлетворял вполне. Она была довольна своим импресарио – я знал толк в искусстве, любил ее, умел работать...

Подходя к Гамбургским казармам, Альфред Бергель не преминул заметить, что прежде они были казармами для пехоты.

На это замечание Носковски не прореагировал, он продолжал свое:

– В Цюрихе я свел знакомство с директором тамошнего театра. И он сходу предложил мне попробовать свои силы в режиссуре... Первую же репетицию я провел блестяще. Меня взяли. Проработал два года и заскучал. Вы бывали в Цюрихе? Если да, то вы меня поймете, этот город вполне может надоесть... Тем более, при моем характере перелетной птицы...

Носковски закашлялся, пришлось остановиться.

– Чаю дадите? – Носковски сунул окровавленную тряпку в карман, – я так ослаб... Работаю в лаборатории, на приеме, у чудного врача, стараюсь, таскаю ведра с водой, уголь...

У Альфреда Бергеля была приличная кровать и собственная полка. Пахло едой. Носковски учуял дурмящий запах консервов из Лиссабона.

Художник извлек из расщелины консервной банки полсардинки, положил на кусочек хлеба, почти не черствого, и открыл коробочку с акварельными красками. Носковски сделался бледен. Прозрачное лицо, похожее на отражение в воде. Разве что отражение молчаливо, а Носковски пил чай, причмокивая, маленькими глотками, и говорил, говорил...

– ...Итак, я добрался до Парижа. Театр де Лувр. Там я тоже проработал два года. Если бы вы видели рецензии на мои поста-

новки! Я не хвастун, как все здесь, спросите Анну Ауредничкову, — она посещает все ваши культурные мероприятия и может подтвердить, она знала меня в самую пору расцвета. Попал я сюда из Берлинской тюрьмы Моабит, слышали о такой?

— Нет, — ответил Альфред Бергель. — Я из Вены, и никогда особо не вникал в политику. Рисовал, преподавал в Академии...

Носковски сделал еще один глоток, поставил перед собой кружку.

— Я тоже преподавал — драму. Писал стихи. В Париже я сдружился со многими... В Париже куда меньше снобов! Здесь всякий горазд выставляться, вот ваш Манес — написал книгу о производстве пушнины и уже считает себя писателем! Я был близок к кругу Кокто, к левым сюрреалистам... А здесь я... слагаю оды во славу вкусной пищи, я гурман, обожаю французскую кухню, — раблезианская жажда пожрать вкусно и до отвала... — Носковски отпил еще и продолжил. — Наступила пора террора. И я перебрался в Берлин — зачем? Откуда взялся во мне этот дьявольский идеализм?! Конечно, тут же и угодил в тюрьму. Видели бы вы меня до тюрьмы! Не было женщины, которая меня не хотела...

— Почему бы вам не поучаствовать в наших вечерах, не прочесть лекцию о русском балете, о Париже, вас бы с радостью слушали, — предложил Альфред Бергель, подписывая рисунок.

— По вечерам я обычно занят, и, правду сказать, стараюсь для больных...

Носковски без всякого интереса взглянул на свое изображение, допил из кружки и отклонялся. Уложился в одно чаепитие.

### **3. ХУГО С ФИЛИППОМ МАНЕСОМ НАПРАВЛЯЮТСЯ В МАГДЕБУРГ, СВАТИЛИЩЕ СТАРЕЙШИН**

Разумеется, они направляются не в Германию, — Магдебург — название казармы. Здесь, в резиденции Еврейского самоуправления, полно бумаги, на ней пишется история будней, богатая и разнообразная. Составление транспортных листов. Перед передачей в комендатуру списки дополняются, переписываются начисто, — это длится долго, — мешают люди, их слезы и причитания, их эгоистическое нежелание заполнить собой вагоны, и как им внушить, что если не они — то кто же, пусть приведут того, кто поедет вместо них. Ночами напролет заседают старейшины, машинистки засыпают с вознесенными над клавишами руками... Много бумаги переводится на ежедневные рапорты о состоянии гетто, они охватывают все области жизни без исключения, начиная от графиков возрастания и падения смертности и кончая ежедневной культурной программой. Так что надежда зыбка — кто откажет в бумаге для написания истории архитектуры Терезина?!

Филипп Манес из Берлина уважаем здесь. Он состоит в Службе ориентации — помогает старикам новоприбывших транспортов



из Германии, Австрии и Голландии. Объясняет им, что здесь не курорт, их обманули, здесь нет отдельных номеров с душем, душ по талонам, раз в месяц, но они не должны падать духом! Каждый, кто готов внести вклад в жизнь общества, прибавит себе здоровья, укрепит свой моральный дух и выстоит в холоде и голоде. Так как известно, что моральная сила человека...

– ...Понятное дело, – говорит Хуго, – все казармы Терезиенштадта построены по единой схеме. Четырехугольный двор с арками, широкие опоясывающие лоджии приятно напоминают архитектуру южных монастырей. Имеется и практическое обоснование для такого архитектурного решения – издаваемый из центра двора знак тревоги должен быть равно слышен во всех близлежащих помещениях. О, наши любимые Магдебургские казармы! Как указывает рельеф на портале, – обратите внимание на голову коня в защитной броне, – они служили кавалеристам. Во времена монархии здесь располагались гусарские и драгунские полки гарнизонной феодальной знати... Серый цвет Магдебургских казарм и побеленные карнизы замечательно контрастируют с расположенными напротив на Охотничьей улице, Q-200 – с Гамбургскими казармами, с их ярко- и темно-охровой окраской. Посредине Охотничьей улицы мы с особой ясностью понимаем то, что я имел ввиду под «ритмическим ведением линии» терезиенштадтских построек...

– Мой друг, вот на этом месте остановитесь! И именно такими словами изложите все господину Цукеру. Он – инженер и был награжден за строительство уникального подземного перехода... не припомню, где именно он был прорыт... Ваши знания, ваша проникновенность глубоко тронут его сердце – мы добудем бумагу!

Путники прибавили шаг, и, уже не останавливаясь, чтобы поглазеть на голову коня в защитной броне, вошли во двор Магдебургских казарм, поднялись по лестнице на второй этаж, где и находился кабинет начальника по культуре. Манес самолично изложил причину хорошенькой секретарше. Следовало написать официальное прошение. На целом листе чистой белой бумаги. Писать можно прямо здесь, в секретариате. Можно даже присесть.

«Уважаемый господин инженер Цукер! Настоящие сценарии прогулок, которые я предлагал своему кружку летом 43-го года в качестве еженедельных экскурсий по Терезину, первоначально не были задуманы как публикация...»

«Сценарии прогулок!» – вот правильное выражение! Но на этом ему пришлось остановиться. В приемную один за другим вбегали взволнованные члены Совета Старейшин, – что-то случилось, что-то произошло, – и Хуго, прихватив с собой начатое письмо, быстро спустился по лестнице.

Не забыть упомянуть всех, кто помогал... Хуго бежал в библиотеку, чтобы успеть записать то, что складывалось в уме... Разумеется, сценарии прогулок должны занять свое место в архиве центральной библиотеки гетто, хотя бы для цели ознакомления жителей с тем городом, куда они невзначай попали... После войны кто-

то напишет на основе этого текста диссертацию, – подумать только, в этот город можно будет приезжать просто так, на прогулку... Да, вот именно, на прогулку! ...Сказать ли, что это его первая попытка писать об архитектуре? Или – сразу про шефа... Особо благодарен я моему шефу... или – Позвольте мне особо отметить вклад университетского профессора доктора Эмиля Утица... Обязательно полный титул, не то обидится. – Он основал обзоры топографии искусств... Разве так говорится – основать обзоры? Тогда так – Особо благодарю такого-то и такого-то за то, что он счел нужным собрание моих скромных докладов... Все надо делать на месте, не откладывая! Текст, казавшийся таким ясным, терял очертания. Ведь текст – это продукт души и ума, которые обитают пока еще в брэнном теле. Если оно не получает питания, – мысли теряют форму. Ну, насобирали информации у тех, кто жил здесь до войны, – были же такие энтузиасты! – ну, поговорил с теми, кто служил в Терезине в составе кайзеровской армии... Эка честь! Не слишком ли возносит он сей скромный труд? Надо поблагодарить всех, кто помог, пусть и в малом. Эмиля Утица – всене непременно! Альфреда Хирша и Еугена Лейхтага за рассказ о местных достопримечательностях – обязательно. А уж профессора Альфреда Бергеля! Отдать дань уважения тому любовному мужеству, с которым такой мастер взялся за иллюстрирование образцов... Мы, заключенные крепости, не опустились до ненависти... Нет, просто – не опустились в интеллектуальном смысле. Мы обязаны отметить вклад тех, кто возводил крепость с любовью и художественным вкусом... Нет, и вот этого возвеличивания не надо. Но как закруглить прошение? Цитатой на латыни? Про *глория мунди*? И чего он, собственно, просит? Несколько листов бумаги?!

#### 4. ДОБЛЕСТНЫЙ КНИГОНОША

Хроникер – не бог весть какая должность при Королеве-Истории, но без нее не обойтись. Скромное служение Музе Правды должно быть оценено потомками. Иначе История потеряет всякое представление о самой себе, кто она и где, собственно, обитает. В каком году, в каком веке? Она превратится в калейдоскоп, потеряет стержень, рассыплется на осколки. Но этого не произойдет – он, Манес, следит за курсом, за линией удара, на которой личные судьбы людей ставят свои зарубки. История – это меч, и если ты не держишься крепко за рукоятку, она ударит тебя острием в самую грудь... Так думал Филипп Манес, стоя у двери уборной и внутренне готовя себя к предстоящей лекции о русском фронте времен первой мировой войны. Про служение прогрессу и культуре – его полевая библиотечка подымала дух солдат. В основном, конечно, он разносил в своем ранце книги невысокого пошиба, – не потчевать же армию Кантом и Гегелем, – но присутствие печатного слова на полях сражений и походы под пулями – этот опыт не прошел зря. У него, как и у многих здесь, кровавый

цистит, он заметно обостряется в минуту волнений. И осенью, по погоде. Толстые стены казармы, сырость, скверное питание, если не сказать голод, отсутствие отопления, разумеется... Не забыть особо подчеркнуть тот факт, что хоть война и была проиграна, он, доблестный книгоноша, был представлен к награде за отвагу. А что касается антисемитизма... И все же, может тот, кто в нужнике, умер? Почему так долго не выходит? Досадно – не взял он в Терезин тысячу страниц неопубликованной рукописи – опыт военного-библиотекаря на полях сражений...

Молодой человек, стоящий перед Манесом, стукнул кулаком в дверь. Нет ответа. Тогда он забарабанил по двери обоими кулаками. Дернул на себя дверь. И правда. Так и есть. Мертвец. Кто это? Это же наш знаменитый скульптор! Молодой человек вытащил скульптора, и Манес, наконец, смог справиться нужду. Выйдя из нужника не столь уж облегченным, он пошел в умывальню, сунул руки под ледяную воду, вытер их об себя, и так, дую на пальцы, растирая их один о другой, вернулся к жене, и, не сказав ни слова, записал в дневнике: «Придет время, и памятник неизвестному еврею будет воздвигнут... Мы, евреи, тоже имеем право на монумент. Не пора ли нам подумать о таком месте для наших детей, где они, наконец, отдохнут от наших вечных странствий?» Запись он показал жене. Своему главному цензору.

«Ты устал, тебе нужен отдых, позаботься о себе хотя бы ради наших детей!»

«Полагаешь, Эве удастся сохранить мои рукописи?»

«Удастся».

Этот вопрос он задает жене каждый день, и она отвечает на него утвердительно. Дочь в Лондоне. Уже одним этим можно утешаться. Но рукописи! Тысяча страниц опыта военного библиотекаря на полях сражений, берлинские дневники... Казалось, не освети он на ночь глядя события дня – уйдет этот день в небытие, история не досчитается страниц... в ее теле навсегда будут зиять пустоты... Рукопись – весом более чем две пары ботинок... Ботинки нужнее, чем опыт книгоноши. Люди и их вещи, как показывает опыт, не обязательно должны помещаться вместе... Надо хранить лишь насущное, – но человек столь мал по сравнению с Историей, откуда ему знать, что для нее насущно.

...Например, биографии важных терезинских персон... Быть может, на эти записи наткнется дотошный хроникер, и забытые историей лица возникнут из небытия? Листая заветную тетрадь, – лишь бы не пропала! – Манес любовался своим ровным, где округлым, где с зазубринками, почерком, разве что содержание записей нет-нет да вызывало сомнение: «Нет, не станем поднимать руки преждевременно, не будем поддаваться панике. Разве мы впадали в отчаянье на войне, перед лицом неминуемой смерти?! Нет! Мы держались достойно, мы жертвовали собой ради любви к Отечеству! И теперь мы будем вести себя точно так же! Работать и не отчаиваться – таков должен быть лозунг нашего временного существования в гетто!»

Чуждое Манесу слово «гетто» спокойно легло в строку. Гетто, евреи – все это прежде ассоциировалось с иллюстрациями из Шолома-Алейхема, с Мотлами-Шмотлами, родство с которыми ему было неприятно физиологически, – грязные, необразованные, без всякого стремления к слиянию с местной культурой.

Но Терезин – разве это гетто?! Что за гетто в военной казарме, и что это за тюрьма, если в ней можно гулять и вести душевные беседы со сливками европейского общества... Эта мысль была неожиданно подрезана другой: помянуть скульптора! Поминальным словом начинались почти все доклады, не было дня, чтобы кто-то из окружения не умер.

Погас свет. Звук тревоги был равно слышен во всех помещениях. Гетто наказано. Обычно это бывает при попытке побега. При этом запрещаются сборища, лекции, концерты – чувство общей вины должно вызреть в потемках.

## **5. ДОКТОР ФЛЯЙШМАНН ПРОСВЕЩАЕТ СЛЕПЫХ В ПОТЕМКАХ**

Доктора Фляйшманна вызвали к слепому пациенту в Q-319. В темноте доктор с трудом нашел лестницу, вскарабкался на чердак, споткнулся о матрац и упал.

– Кто здесь?! – воскликнули все хором.

– Доктор Фляйшманн!

Навстречу ангел со свечой – нянечка. Фляйшманн огляделся, перевел дух и спросил, где пациент, куда идти. Но доктор опоздал.

– Доктор Фляйшманн, не уходите, побудьте с нами!

Здесь его знают все. О нем слагают легенды. Говорят, доктор не спит. Даже не ложится. Это, конечно, преувеличение. Он спит несколько раз в сутки по двадцать минут. У человека столько времени, сколько его есть вообще. Время принадлежит ему полностью. Пространство может быть ограничено и сведено до тюрьмы-одиночки, что неприятно, в принципе, но время может отобрать лишь смерть. Пока человек жив – все время его. Он богат, миллионер, властелин несметного богатства! – Фляйшманн сидит на балке, над ним свеча, рисует в блокноте, проговаривает мысли вслух. Балки, крестовины, скошенная чердачная крыша, маленькие оконца, – люди на полу, на матрацах, транспортные номера на чемоданах, – петлями-стежками обрисовывает он скособоченное пространство, лицо вполоборота, – люди-свитки, запеленатые в лохмотья, – властелины слепого времени не видят себя... Не помнят себя... Да и к чему наполнять память, если прохутился наш разум и сознание пусто?

– Послушайте, – обратился доктор Фляйшманн к слепым, – с вами говорит зрячий. Человек, имеющий преимущество перед вами. При этом путь мой к вам труден, почти непроходим, – опущен шлагбаум на границе между светом и вечной тьмой...

Я вижу вас, сидящих на необструганных досках, которые обработаны человеком, не знакомым с плотницким мастерством. Человеком, который соорудил не только эти скамейки, но и переделал весь чердак в зал для докладов, в театральную сцену, с тем чтобы бедные евреи смогли хоть на несколько часов позабыть свою несчастную судьбу. Здесь, под этой крышей, жители когда-то сушили белье и хранили свой хлам.

...Транспорты приходят... и чердаки заселяются, все ненужное выкидывается в спешке, убираются перегородки... Чердаки заполняются людьми. Старыми, сломленными, больными и увечными... Я узнал здесь горе, боль и несчастье... я видел грязь, искалеченные, деформированные члены, обнаженные сморщенные тела в летнем зное, я вижу ужасающие лица умирающих, я вижу потухшие глаза, разверстые, высохшие, задыхающиеся рты... я вижу стены с потрескавшейся штукатуркой, гвозди, на которых висит жалкое исподнее, полосатые матрасы... я вижу смертельно уставших медсестер и печального, отчаявшегося врача...

Я вижу еще кое-что. Я вижу весь город, вижу его в прежнем, нормальном обличье, с магазинами, конторами, кинотеатрами, город, в котором жили женщины и дети, как в любом городе мира...

Затем передо мной внезапно возникает мертвое бескровное лицо города; город-привидение, жителей выселили, все вмиг опустело... и нами заполнили опустевшее пространство...

Я вижу все, чего не видите вы, – дворы, цеха, рабочих с тоскливыми глазами. Зброшенные сады. Грузовики с больными и увечными. Жалкие батальоны прибывающих... Понурых людей возле колонок... Жуть лагерного шмона... – ловкие воры, пританцовывая, выворачивают карманы, перетряхивают вещи несчастных марионеток-новоприбывших...

Теперь я закрываю глаза и вхожу в вашу ситуацию. Вас взяли за руку, запихали в вагоны, на вас кричали, потом перевезли в другое место, снова кричали, с вами скверно обращались. Голоса вокруг вас меняются. Еда, постель, весь ритм дня – все другое.

Надо обладать моральной и духовной силой, чтобы выдержать эту перемену...

Я спрашиваю вас, слепые, вы, убранные своим несчастьем от созерцания множества гнусных, уродливых, грязных вещей, – как, каким образом умудряетесь вы не потерять человеческого достоинства?!

...Догорела свеча. Умолк доктор Фляйшманн. Он и сам уже не понимает, что говорит и кому... Лучше молчать, не расточать слов. Но как тогда говорить со слепыми? Он остуился и упал бы снова, если бы не рука, протянутая к нему во тьме. «Держитесь за меня, доктор Фляйшманн, – прозвучало у уха, – здесь осторожней, пожалуйста, спокойной ночи....» Ведомый слепым поводом, доктор спустился во двор. Головокружительный воздух! Фляйшманн осторожно двигался ему навстречу – путь освещала луна.

## 6. ХУГО ФРИДМАНН ПИШЕТ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ

Хуго Фридманна тьма настигла в Центральной библиотеке гетто. Одного – среди сорока шести тысяч книг. Все насмарку! Здесь ничего нельзя планировать. Думал дописать прошение, провести жену и дочь, что-то слопать, если у них еще осталось, навестить сына в больнице... Но нет – срочный отчет по библиотечным фондам. Задание от шефа, «Цито»! Профессор Утиц был вызван наверх, – неужели из-за недостачи книг? И из-за этого устроили затмение? Приехал Эйхман?

Привычным жестом Хуго нащупал свечу и спички в ящике стола. Ну, придет геттовахе<sup>1</sup>, ну, велит задуть свечу... С горящей свечой в руке, таким римлянином выступая, он вошел в кабинет шефа, установил источник света как положено, на полке у печатной машинки, заправил лист бумаги в каретку и начал, без долгих размышлений:

«Еврейская часть библиотеки – выдающаяся. Основа – книги по Библии – экзегетика, хомилитика<sup>2</sup> и риторика, протестантские и католические теологи, переводы Библии на основные языки и работы важнейших переводчиков и комментаторов.

Область философии представлена лучше всего: религиозная философия иудаизма, христианства и ислама. Хуже с общей философией. Есть классики в хороших, но устаревших изданиях вплоть до Германна Козна. Современной философии нет.

Имеются оригиналы на латыни и греческом плюс словари и учебная литература по древним и современным языкам. Немного литературы на основных европейских языках. Английский: беллетристика и много иудаики из США. Французский – несколько художественных книг и история еврейства. Несколько книг на итальянском, немецком, норвежском, много венгерской классики. Почешки нет никаких книг, и это более всего удручает. Много работ по ориенталистике – на персидском, арабском, турецком, и много сирийских текстов.

Иудаика: древние и новые историки. Во множестве экземпляров. Еврейское литературоведение, масса книг по мировой истории, от древней до новейшей. Еврейская история.

Нехватка книг по: физике, химии, математике, технике, естественным наукам и географии. Однако масса книг по ремеслам, популярной медицине, и поваренных книг. Недостает дневниковой и мемуарной литературы, в гетто это ощущается особенно сильно. Мало книг по истории музыки, литературы и искусств. Впрочем, есть монографии художников и базовые труды. Но зато достойная подборка литературы по истории искусства еврейского народа.

Масса еврейской периодики (большая часть всего публикуемого), издания немецких еврейских институтов (на немецком), годо-

<sup>1</sup> Геттовахе – еврейский полицейский.

<sup>2</sup> Хомилитика – наука о проповедях.

вые отчеты раввинских семинаров Германии, Австрии, Венгрии, отчеты о деятельности почти всех еврейских объединений в Германии, уникальные выпуски ежегодного литературного журнала Германии.

Еврейское отделение – самое важное по всем направлениям – более 12.000 томов. Включает труды по древнееврейской филологии, важнейшую раввинистическую литературу, многочисленные газеты на иврите и идише. Вывод – одна из богатейших библиотек Европы...»

Но дальше вопрос – указать ли в отчете тот факт, что из 60.000 книг на сегодняшний день в библиотеке имеется 48.000? Как это будет расценено? Пусть решает Утиц. «Основной фонд – источники: библиотека при ведомстве для малолетних, помощь властей, остатки частных немецко-еврейских библиотек Праги и Брно, передвижная библиотека собрания прусского землячества, библиотека еврейского культурного союза Германии, библиотека учебного института по исследованиям иудаики в Берлине».

Утечка книг угнетает Хуго. Может, потому что его собственная богатейшая библиотека, уникальнейшее собрание, включая первопечатные издания, – описана и отобрана. Сотни картин и скульптур – туда же. Текстильная фабрика – туда же! Ну, по фабрике он не очень-то тоскует. Не достанься она ему в придачу с женой – он стал бы профессиональным искусствоведам, но не будь капитала, он не стал бы коллекционером, – теперь без коллекции... Приходишь в этот мир голым, голым и уйдешь... Но не на всех, видно, распространяется иудейская мудрость... Как сделать, чтобы не терялись книги?! Кто-то не отдает, кто-то берет с собой в дорогу, на транспорт, и оттуда, видимо, забывает выслать, или там книги переходят из рук в руки, может, там, в новых лагерях на востоке, нет библиотеки, или оттуда не доходят посылки? Кто знает, что там... Перестать выдавать книги на руки? Но как тогда вместить в библиотеку всех жаждущих и страждущих? И справедливо ли это будет? Когда читаешь, утихает голод, не так сосет под ложечкой... И все же тут нужно прийти к какому-то решению. Разумному ограничению. Например, спецлитературу выдавать исключительно лицам с подготовкой и профессиональными интересами. А не то растащат. С таким отказывать. Молодежи выдавать классику.

«Для профессиональной работы библиотека предлагает: лексикографический и энциклопедический материал, атласы, хрестоматии по истории искусств, газеты, работы по искусству, лирику, драматургию, справочники по мировой и немецкой литературе, зарисовки гербариев...»

Этих изданий никому не давать на руки!!!

«Имеются редкие библиографические издания XVI – XVII веков в деревянных и медных окладах, среди них и еврейские книги». До этих раритетов вообще не дотрагиваться!

«С центральной библиотекой связаны и другие библиотеки гетто: библиотека для молодежи в НВ, медицинская центральная библиотека в Верхней Эльбе, техническая специальная библиоте-

ка в WAP, молодежная еврейская библиотека, кружок читателей, созданный и ведомый Ханой Вайль в СIII (1.500 томов).

Кружок читателей с выдачей книг по экономике и социологии создал д-р Симонсон.

Библиотека, видимо, со временем станет величайшей еврейской библиотекой в Европе и мире».

И так это будет! Где, в какой точке планеты, собраны вместе великие специалисты по еврейской генеалогии, ивриту, иудаизму!

Получилось две убористых страницы. Завтра шеф возмутится – опять без интервала?! Господин Фридманн, не мечите бисер перед кошерным евреем, из-за вас я ослепну! Но позволить себе печатать через интервал, когда его собственная дочь Лили рисует на обрывках туалетной бумаги?! Видимо, чтение помогает от голода лучше, чем писание. А что, если бы ему предложили обменять вареную картофелину на книгу... Или печеную... Хуго зажмурился от искустельной этой мысли и потонул во тьме. Прогорела свеча. Вот где inferно! И сам он частица тьмы, он слит с ней. Но слышно еще его дыхание, стук сердца. Смерть беззвучна.

Тьма настигла людей в самых разных местах и положениях. А людей к этому времени в гетто осталось столько же, сколько книг в центральной библиотеке. В середине прошлого года их было около шестидесяти тысяч. Выходит, книги исчезают из гетто как люди, и, как неизвестно место утечки книг, так и неизвестно место утечки людей.

Город, об архитектуре которого Хуго намеревается написать книгу, на деле невелик, его можно обойти за час спокойным ходом. Более сорока тысяч людей теснятся здесь, заполняя собой все возможное для жилья пространство. Стало быть, темнота пала на всех скопом, мало кто оказался с ней один на один.

Слухи здесь распространяются со скоростью звука. Достаточно соседу по койке услышать в уборной, что свет отключили из-за побега, – и уже все обитатели дома взбудоражены – кто сбежал, из какой казармы, чей он муж или брат... В другой казарме может возникнуть слух, что приближается Красная Армия, и немцам нужна полная тьма, чтобы сжечь всю документацию. Эти слухи сольются утром, когда народ покинет ночные застенки. И еще десятки версий присоединятся к этим двум.

## 7. ФИЛИПП МАНЕС ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ ШЕПОТОМ

Во втором дворе Магдебургских казарм, в комнате на первом этаже, собрание. Взошла луна, – маленький светящийся обмылок, – помазала светом головы и плечи сидящих.

Манес, темный крендель в ореоле, ведет рассказ о доблестном своем служении в чине книгоноши на полях сражений. Разумеется, это не лекция в полном объеме – большинство людей не смогли прийти, – и негромко, ибо наказание включает в себя и запрет на сборища. Вопреки всему служат они делу просвещения – пусть



во тьме. Это все-таки легче, чем бегать с тяжелым ранцем от окопа к окопу. Обычно на лекциях слушают не перебивая. Но из-за необычных условий присутствующие то и дело вставляют свое словцо. И так доклад перерастает в дискуссию. В таком повороте событий следует винить темноту, в первую очередь. Голос – это единственный знак присутствия. Тот, кто молчит, как бы и не существует. Разве что согревает комнату своим дыханием. Этого, как видно, мало. Человек хочет быть, и тем самым нарушает порядок.

Экс-фельдмаршал австрийской армии громко чихнул. Все вздрогнули. Снова чихнул. Это опасно. Так заговорщики могут быть обнаружены. Выдержав долгую паузу, Манес продолжил:

– Невозможно стереть из памяти песни, которые пела мать, стихи, которые мы заучивали в школе, недопустимо смешивать великую немецкую культуру с тем, во что она превращена. Этот тусклый немецкий – не язык Гёте, это речь в мундирах, это мысль в оковах...

И здесь я хочу развлечь вас рассказом об одном эпизоде из моей жизни, который как бы не относится к теме выступления... В тридцать пятом году я написал книгу о производстве пушнины. Как вы знаете, это было моим бизнесом. Мне отказали в публикации. Дословная формулировка, – такие тексты запоминаются наизусть не хуже Фауста: «По воле Фюрера и Рейхсканцлера управление немецкими культурными ценностями должно быть вверено исключительно друзьям народа, пригодным и надежным в смысле параграфа такого-то, не помню, какого точно, о распоряжении и претворении Закона о Писательской Палате. Из-за высокой значимости духовной и культурно-творческой работы для настоящего и будущего развития немецкого народа, подобные функции, без сомнения, должны отправлять подходящие личности, которые имеют отношение к немецкому народу не только как граждане одного государства, но и через глубокую культурную и кровную связь. ... Я вынужден оспорить Вашу благонадежность и пригодность ... и на основании параграфа, опять-таки не помню, какого распоряжения, утверждаю Ваше исключение из Государственного Союза немецких писателей...» Получив отказ в такой форме, я впервые подумал о самоубийстве. Конец, – подумал я, – конец. Не только мне, немецкому еврею, но всей Германии. Теперь, здесь, с вами, я благодарю публично свою жену за то, что она смогла выходить мой упавший дух... Ведь наше собрание здесь не случайно. Это плен для тела – и свобода для духа. Когда, в какие еще времена, могли бы мы все, расово-чуждые, собраться вместе по принципу духовной общности? И, чтобы ни случилось с нами, наши души всегда будут рядом... В тридцать пятом году я не мог знать того, что случится с нами в сорок третьем. Если бы тогда мне сказали, что я буду заключен в каком-то гарнизоне, я бы точно наложил на себя руки. Теперь этот гарнизон стал для меня, может быть, последним и самым богатым источником приложения духовных сил. И за это я навек благодарен вам, мои друзья. Вы одарили

меня великой возможностью – творить добро, быть, наконец, востребованным на этой земле, моим народом!»

Даже генерал всхлипнул от такой речи. Его точеный профиль, словно бы вырезанный из картинки стиля бидермайер, был едва различим во тьме. Он, австриец, христианин, генерал, дослужившийся до звания фельдмаршала и приехавший в Терезин со своей женой-еврейкой, – обрел в этой среде настоящих друзей. Не только католиков, в общине которых генерал молился и читал катехизис, нет, всякий человек круга Манеса был также любезен его сердцу. У jovиального фельдмаршала была весьма невзрачная жена, старше его на целых шестнадцать лет. Дамы мечтали о том, чтобы он после войны развелся, нашел себе достойную пару. И домечтались – жена Фридлендера заболела и померла. Генерал тужил по жене и не обращал внимания на настойчиво-призывные взгляды дам. Он понимал – здесь, в транзите, и глубоко верующие грешат, надеясь на то, что мера их страданий гарантирует царствие небесное. Они заблуждаются – там иной суд, и потому особенно важно бежать искушений.

Галантный фельдмаршал хотел было вставить Манесу шпильку – когда воюют, не до литературы, – но обуздал себя, – тема по сути дела была невоенная. И сам Манес чудесный, превосходный человек! Насколько фельдмаршал чувствовал родство со всеми сидящими здесь, в потемках, настолько претила ему фашистская военщина, жополизы, убийцы. Свое маршальское презрение он демонстрировал при любой возможности – не поклонился Эйхману, не поздоровался с начальником лагеря. Маршал, единственный из здешних проминентов<sup>3</sup>, отказался от всяческих привилегий, – раз попал в такое дело – пей из общей чаши судьбы.

## **8. ХУГО ФРИДМАНН ПОПАДАЕТ ВО ВНУТРЕННЮЮ ТЮРЬМУ ГЕТТО, ГДЕ ЕГО ВСТРЕЧАЕТ СУДЬЯ КЛАНГ**

Хуго угодил в яму. Оступился. Здесь если кто и зряч, так только Всевышний. Будучи в яме, Хуго воздел испачканные руки к черному небу, – смотри, Всевышний, вот он я, – невидимый сам себе, но созерцаемый Тобой... И только он произнес эти слова – вспыхнул свет. И почудилось Хуго – сейчас он получит Скрижали Завета, Всевышний услышал мольбы избранного им народа... Ты здесь? – воскликнул Хуго из ямы. Но это был геттовахе. Он стоял над ним, светил фонариком в лицо. Видя, как Хуго пытается выкарабкаться из скользкой жижи, он протянул ему руку, вытянул его наверх и сообщил радостную новость – арест. Хуго арестован за нарушение внутреннего распорядка гетто!

В таком случае было бы предпочтительней переночевать в яме. Оказаться во внутренней тюрьме гетто – это шанс получить повестку на ближайший транспорт.

<sup>3</sup> Проминенты – узники, имевшие высокие заслуги перед Рейхом.

– Начальник внутренней тюрьмы гетто, господин Кланг, участник нашего кружка, он меня знает... – Хуго трясло от страха и холода. – Отведите меня к господину Клангу! Я – старший библиотекарь!

Геттовахе молча освещал фонариком дорогу к Ганноверским казармам, к тюрьме.

«Который час, что за день недели? Год 1943, месяц ноябрь, а Ганноверские казармы, да будет вам известно, любезнейший, никогда не служили подобным целям, здесь располагался магазин и склад для фуража...» Свет от фонаря раздвигал тьму, здания распознавались, «ритмическое ведение линии» терезинских построек собиралось в пучок света.

– Что вы знаете про этот город? – обратился Хуго к стражу порядка.

Тот остановился, направил свет в лицо Хуго. Судя по номеру транспорта – сумасшедший из Вены.

– Неужели вас нисколько не занимает история нашей с вами крепости, когда она была возведена и что явилось этому причиной? Поразительно отсутствие любопытства... При том, что человеку отпущено так мало времени... Вот, даже этот фонарик, которым вы нещадно палите мне в глаза, – его кто-то создал, и вы этим созданием пользуетесь, – неужели вас не интересует, как он устроен? Нет! Вы освещаете путь в тюрьму, куда я явно не хочу направляться, – что за удовольствие вам в этом?

Господин Кланг, выдающийся венский юрист, профессор, сидел в тюремных потемках при свече и безо всякого дела. Из-за отсутствия света его доклад о кражах в Терезине на закрытом юридическом собрании отменился, тьма его застала здесь, и хорошо, наконец-то он один, наедине со своим славным прошлым. Будет ли у него время оформить письменно свои воспоминания хотя бы о самых выдающихся случаях, которые он разбирал, будучи секретарем судебной палаты Австрии? Или о Морице Бенедикте, незабвенном издателе «Новой свободной прессы». К своим семидесяти судья Кланг имел серьезный послужной список – ответственный секретарь одной из самых важных газет, ключевое место в самом престижном суде, – но и здесь он не сдал своих позиций. Главный судья внутренней тюрьмы гетто, то есть Главный Судья Тюрьмы в Тюрьме. И об этом следует поведать потомкам. Оказывается, и в тюремной тюрьме судопроизводство происходит согласно гражданскому праву. Кража есть кража, где бы и во имя чего она ни была произведена. Оскорбление вышестоящего лица карается точно так же, как и на воле. Человек – универсален. И потому за совершение противозаконных действий он обязан нести наказание везде и всюду. Разумеется, он может быть и помилован, если на то есть смягчающие обстоятельства. Интересная деталь – за все это время в гетто не было ни одного случая убийства. Много самоубийств, правда, – но он им не судья. Ни одного убийства! Это несомненный показатель нравственной жизни общества. Правда, случаи краж, особенно продуктов питания...

Судья Кланг замерз. Тюрьма в подвальном помещении, здесь всегда холодно. Летом, в жаркие дни, здесь даже приятно, свежо, но поздней осенью... Он зажег керосинку, поставил на нее кастрюлю с водой, и стал прохаживаться по комнате, от угла к углу. Вход в тюрьму, как и полагается этому заведению в любой точке земного шара, был зарешечен, и на входе дежурил охранник, тоже из своих, из внутренней службы. Поначалу немцы хотели поставить свою вооруженную охрану, но Кланг убедил их этого не делать. Простая логика, – сказал он Моссу, – если из тюрьмы и будет совершен побег, беглец далеко не уйдет, если же житель гетто совершит побег, то он попадет в руки жандармов, но в таком случае внутренняя тюрьма не несет никакой ответственности. Вода закипела, судья Кланг растопырил руки над паром, разогрелся, налил воды в кружку. Теплая вода заменяет ему здесь чай и кофе, ни то ни другое невозможно пить. Он скovyрнул с листа бумаги застывшие капли стеарина. Писать ни о газете, ни о венском суде не хотелось. Регулярное чтение лекций на юридических советах и в кружке Манеса помогло ему извлечь из забвения интересные моменты былого, предпринять небезуспешную попытку перекинуть мостик между прошедшим и настоящим. Будущее же представляется туманным. И не только ему одному. Но будущее и на воле предугадать не дано. Всю свою жизнь отдав правосудию, он, Кланг, к семидесяти годам сам угодил в тюрьму. В еврейское поселение, в гетто. Разумеется, в юридическом смысле это классическая тюрьма. Здесь находятся люди, осужденные за принадлежность к еврейству. Пусть и несправедливым судом. Они не имеют права покидать эту территорию, они подчиняются тюремным законам, ограничивающим свободу. Когда все это кончится, он напишет научный труд, где докажет, что название «гетто» совершенно не соответствует правде.

Один умный чешский раввин дал Клангу разъяснение с точки зрения еврейских традиций, которые он, Кланг, никогда не изучал. Вот что нужно записать, пока не стерлось из памяти.

1. Из еврейского гетто человек мог уйти и в него вернуться. Также каждый человек со стороны мог прийти туда и уйти оттуда.

2. В еврейском гетто было множество магазинов, ларьков. Терезин обнесен колючей проволокой, никто не приходит сюда извне за покупками, а то, что здесь продают за геттовские кроны, было отнято у тех, кого депортировали.

3. В гетто были школы. В Терезине обучение запрещено.

4. В гетто соблюдали субботу и все религиозные праздники. В Терезине – нет.

5. В гетто было достаточно еды, кошер. В Терезине – нет.

6. В гетто была прекрасная, полная семейная жизнь. В Терезине – семьи разделены.

7. Суд в гетто осуществлялся по талмудическим законам. В Терезине – по гойским.

8. В гетто хоронили по еврейским законам. В Терезине – сжигают, что запрещено еврейским законом.

9. В гетто было еврейское самоуправление. Терезиным управляют немцы.

Вывод: Терезин – это концентрационный лагерь, никакого не гетто.

У Кланга есть и свои, «гойские» доказательства. Но нет при себе бумаги, чтобы записать.

В тюрьме стояла мертвая тишина, время от времени нарушаемая чьим-то храпом. А что если взять и выпустить всех этих, по существу, невинных воров и нарушителей дисциплины? В темноте, пока никто не видит! И разбредутся они по местам... А когда будет формироваться новый транспорт, и, как всегда, будет недоставать людей, тогда по списку... Наверное, это храпит тот мужлан, который украл доски, чтобы надстроить мансарду. Здесь крадут много. Но тот, кто пойман – пойман... Преступить закон? Какой он тогда судья? И что будет завтра? И как объяснят отпущенные, почему их вдруг отпустили? На такой должности ни в коем случае нельзя давать волю чувствам. Ведь их источником может быть и старческая сентиментальность, и усталость, и даже несварение желудка или цистит, – но, однажды потеряв контроль над чувствами, можно совершить поступок, который несмыслаемым пятном ляжет на всю твою предыдущую жизнь, замазает биографию. Нет, надо быть начеку!

Раздался скрип отворяемой двери, какие-то разговоры, Клангу послышался знакомый голос. Со свечой в руке он двинулся к двери – поприветствовать правонарушителя. Им оказался Хуго Фридманн, человек, почитаемый всеми. Вывалянный в грязи старший библиотекарь вызвал в душе главного судьи чувства противоречивые: предвкушение удовольствия от беседы с незаурядной личностью и досады при мысли о возможном наказании.

Дабы не испачкать стул для последственного, Хуго изложил причину привода стоя. Попросил судью Кланга немедленно известить жену – не хотелось бы волновать ее по мелочам.

По мелочам? – воздел брови судья Кланг и, достав из тумбочки какую-то робу, положил ее перед Хуго..

Хуго протер очки. Водрузив их на место, он с сожалением отметил, что яснее от этого не стало. Но стало виднее. Например, он заметил, что судья небрит и от того выглядит дремучим стариком, на вечерах у Манеса он выглядел лучше. Переодевшись в сухое тряпье, что, с одной стороны, было приятно, с другой – нет, он сел против Кланга. Так у старшего библиотекаря и главного судьи появилась возможность изучить друг друга с близкого расстояния. Судья Кланг просто забыть не может тот вечер – венское рококо под управлением Хуго, чтение, – судья рассмеялся и хлопнул себя по колену – Хуго Фридманн и Хуго Хофмансталь, и вы, наш Хуго, в двух ролях одновременно – главный придворный церемониймейстер герцогини... и скромный нотариус... А ваше скерцо для флейты, а ляргетто для кларнета, а канцонетта для скрипки, а пение Гизы Вурцель... А Мирабель! Ох, ах! Кавалер Розы, – судья Кланг сложил пальцы в бутон и растопырил их, – бутон и

роза – какая сладкая эпоха... Да, чуть не забыл о прологе к смерти Тициана... в вашем исполнении такая легкость, я бы даже сказал, легкомысленность в отношении к смерти... словно бы это перелет на крыльях в розовое небо, словно бы все в букетах, молодые розы, розовые бутончики, – какое было время, а, Хуго! Розовенькие финтифлюшки Буше...

– У меня была большая коллекция австрийского рококо... Зальцбург, Франц Иосиф в золотой раме, виды пасторальные... редчайший Шребл... страсбургские часы настенные, полные великолепия... Этого всего уже не вернуть...

– Неправда ваша! Я гарантирую вам возврат всего вашего имущества, до последнего карата. По списку! Надеюсь, у вас есть копия списка.

– Он остался у матери. Вместе с описью на мою текстильную фабрику «Трифа».

– Как только у вас будет в руках список, звоните. Вы знаете, как это делается. Открываете телефонный справочник, на «К», находите «Доктор Профессор Генрих Кланг»... Если только за время нашего отсутствия в Вене не поменяют номера. Это было бы ужас как неудобно...

Их беседа внезапно была прервана – в тюрьму влетел глава гетто Якоб Эдельштейн. Раскрасневшийся, полнолицый, в круглых очках, он склонился над ухом главного судьи, шепнул ему что-то полными губами, и они улетели, вдвоем.

Розовенькие Буше! Хуго налил себе воды в клангову кружку. А нет ли здесь для главного придворного церемониймейстера герцогини... чего-нибудь, случайно, кусочка хлеба, корочки? Где судья прячет съестное? Влезть в чужой ящик? Раз уж угодил в тюрьму...

В верхнем ящике стола Хуго обнаружил сухую серую горбушку, но если макать ее в воду... Да, человека надо посадить в тюрьму, чтобы он начал воровать. Никогда прежде он не брал чужого – боже упаси! Хуго пережевывал малюсенькие кусочки, посапывал и постанывал от наслаждения. Ну, не досчитается судья Кланг сухой горбушки, велико дело!

«...И вот я одинок... В мерцании свечи чужой день догорает мой... в грязюке и нужде... – Подбирая языком крошки с десен, Хуго сочинял. – ...Редут краснокирпичный, шестнадцатый редут... могила крепостная – Йозефовская блажь... Иль я еще живым утащен буду... Прощай, редут, убьют меня, убьют, иль так перевезут, в вагонах для скотины в какую-то страну, неведомую мне, по прихоти судьбы... жестокой и враждебной... судьба... иль призраков приют...»

– Нельзя, чтоб страх повелевал уму! – громко произнес Хуго, – и эхо, чужим голосом, ответствовало: «Нельзя, чтоб страх повелевал уму!» Кажется, сам Данте пожаловал сюда... Хуго обернулся на голос – это был Кланг, разве что лица на нем не было. Судья свалился на стул против Хуго, глаза его были глазницами слепца, тонкие губы побелели... Или они в гойском аду? Не выжить, – подумалось Хуго. Так просто, ни с того ни с сего.

Хуго с малолетства изучал еврейскую мистику у своего дяди – известного каббалиста. Тот говорил: «Изучая, ты можешь прийти и не прийти к знанию. Это от тебя не зависит. Легко и опасно кажущееся принять за знание. Но можно себя проверить. Если ты знаешь – ты не боишься. Если тебе *кажется*, что ты знаешь – тогда ты боишься. «Кажется» – продукт воображения. Воображение – не знание. Именно оно и страшит». – А если я знаю, и все равно боюсь? – думал Хуго, поднося кружку с теплой водой судье. Тот кивнул, но до кружки не дотронулся.

– Господин Кланг, что с вами? – прокричал ему Хуго в самое ухо, – очнитесь!

– Вы свободны, – произнес судья, – на сегодня все свободны. Идите!

Хуго схватил пальто, надел его на тюремную робу и выбежал вон. Что случилось? Тьма тревожна, безответна. Иль попросту равнодушна? И это мы, люди, заполняем все вокруг своими страхами и тревогами. Что этой крепости, воздвигнутой в защиту, враги бессильные... Стояла и стоит, природа равнодушная сопит, покойно ей, ведь знает, где проснется...

## 9. О ЧЕМ ДУМАЮТ ЛЮДИ, ПОКА ИХ ПЕРЕСЧИТЫВАЮТ В СЛЯКОТНОЙ КОТЛОВИНЕ

Наутро живые проснулись. Опять по сирене. Выходить, строиться в колонны! Без вещей! Эсэсовцы, лай овчарок... На расстрел? Эти слова не произносятся вслух. Что это, как это – раздастся выстрел, и ты – не здесь, переместился в никуда, стал ничто. Оборвалась хроника, прекратилась связь того, что вокруг, с тем, что является тобой. Тут-то и покидает человека ощущение причастности к другим... Куда деваться, чтобы сохранить себя для себя? *Шнель, шнель!* В колонны по четыре, и вперед!

Манес втискивает дневник в расщелину между кирпичами – не входит! Не помещается! Есть, вероятно, и более глубокие щели – да только где? Есть ли такая щель, куда бы он сам, весь мог уйти?

– Ты думаешь, он сохранится? – спрашивает Манес жену.

– Сохранится, – отвечает она уверенно.

– А что с больными?

– Больные остаются на местах.

– Значит, от нас останутся лишь больные?

– Или их расстреляют в индивидуальном порядке?

Дождь, слякоть, все идут, – где взяться надежде, эсэсовцы с револьверами, овчарки... И тут по колоннам пробегает весть – ведут на пересчет. Но зачем вести – можно пересчитать по домам, на месте. Нет, нельзя. А если кто-то спрячется? К тому же, в гетто нет такого места, где все разом могут встать. И стоять. Стоять, пока сорок шесть тысяч человек не будут сосчитаны. Но зачем,

если староста каждого помещения подает ежедневные рапорты о количестве проживающих?

«Что такое искусство, откуда оно взялось? Сколько ни исследуй, с каких сторон ни заглядывай, все равно нет объяснения – когда и почему возникла эта тяга к обнаружению, к запечатлению красоты... – думал Карел Фляйшманн, двигаясь в колонне врачей. Тяжело больные остались в лагере без медицинского присмотра, здоровые шлепают по грязи под мелким колючим дождем... – У древнего человека было столько забот – добыча еды, защита своего племени от невзгод, холода, дождя, всевозможных опасностей... У древнего человека!»

Первые – самые дальние – ряды уже остановились в котловине, остальные подтягивались. Гул чешской и немецкой речи волнами прокатывался по колоннам – куда и зачем идем, потерялась какая-то старушка по фамилии Прохазка, из Кавалирок... Люди говорливы. Слова заполняли котловину, оседали на дно... А вот, видимо, и потерявшаяся старушка – стоит в дожде и тумане, заглядывает в лица идущим. Налетел эсэсовец, ударил ее прикладом, та упала прямо доктору в ноги. Везучая старушка – осталась цела и невредима. Очнулась от нашта тыря и как пошла говорить... благодарить... Фляйшманн этого не терпел. Слова отвлекают, воруют время, единственную ценность.

Собираясь в этот странный поход, доктор поставил перед собой две задачи – подготовиться к докладу об общем и разном в науке и искусстве, и рисовать... Рисовать! Убьют – не будет лекции, но останутся рисунки... Непозволительно тратить драгоценные часы на бесплодные размышления. Убьют – не убьют?! Разгадывать планы неандертальцев!

Доктор Эрих Мунк рядом. Высокий, стройный, с непокрытой головой, – полоска мокрых черных волос обручем лежит на огромном лысом лбу. Между ним, доктором Цвейгом и знаменитым профессором доктором Штраусом из Берлина шла оживленная беседа, скорее напоминающая выездной семинар на тему «спецификация заболеваний в гетто», нежели поход в страшную неизвестность. Доктор Цвейг, знаменитый лекциями по психосоматике, считал, что чесотка, экземы, то есть большинство кожных заболеваний носит здесь психосоматический, а вовсе не инфекционный характер. Доктор Штраус не соглашался: вши, клопы, вся эта нечисть – вот причина. Мунк, наклоняясь к коротышке Цвейгу, возразил – кривая кожных заболеваний резко упала после учреждения отдела дезинфекции...

Встали, подравнялись. Карел Фляйшманн достал из сумки больничные формуляры и карандаш. Доктор Цвейг, как замороженный, следил за мгновенно возникающими линиями – овальными, прямыми, резкими, почти незаметными, – впервые довелось ему присутствовать при натурном рисовании!

Где-то далеко на противоположном склоне, в колонне мальчиков, был его сын, и доктор Цвейг боялся. А что, если?.. И они, на-



ходящиеся сейчас в пятистах метрах друг от друга, никогда не увидятся? Фляйшманн рисовал головы и спины стоящих перед ним людей, фигуру эсэсовца с автоматом. А что, если тот обернется? Что будет? Фляйшманн взял следующий бланк. Эсэсовец повернулся, Фляйшманн быстро нарисовал его, в лицо, но тут доктор Мунк выхватил из рук друга рисунок, спрятал в сумку и выпрямился. Эсэсовец шел к ним. Ну все! Нет, ему нужен бинт. Зачем? – спросил доктор Фляйшманн. У него с собой один бинт, и он может понадобится. Эсэсовец оторопел от дерзости. Фляйшманн достал бинт, намотал себе на руку. У доктора Цвейга занялось дыхание – щуплый человек небольшого роста, с горбом, выпирающим из-под плаща, не бросился отдавать эсэсовцу весь бинт, чтобы только тот ушел поскорей, – а что, если он обнаружит рисунки?! Получив остаток мотка, эсэсовец ушел.

«А что, если причина поисков человеком искусства с его красотой заключается в первобытном страхе перед бесконечностью? И не потому ли первобытный человек рисовал на стенах своей пещеры явления природы – закат солнца, плывущие облака... Феномен света и тени, жизни и смерти. Стремление к документации момента, опыта, формы, фигуры, ситуации... Зачем? Чтобы удержать и сохранить, чтобы иметь возможность вспомнить опять. Скопировать действительность – в движении, в слове, в рисунке, песне, скульптуре... Сразиться с судьбой, сразиться с забвением и распадом сущего...» – Он достал бланки и продолжил рисование. – «В чем цель и значение искусства? Красота? Гармония? – думал он, набрасывая женскую фигуру в профиль. – Должно ли искусство быть моральным? Нет, ни в коем случае. Но почему? Да потому что искусство, само по себе, – это и есть мораль».

«Каким образом этим неандертальцам, существам без намека на какое-либо воображение, удалось сгрудить в этой пропасти столько думающих людей?! Собрание талантов, свободомыслия, живого воображения, пересчитывается поштучно. Люди, которые во сне мечтают о теплом душе, теперь моются холодной водой с неба и не протестуют, не устраивают истерики, терпят. Зачем человечеству разум, развитый фантазией? Чтобы употребить его на убийство живых и думающих?» – горькие эти мысли не по душе доктору. Не хотелось их думать, но они лезли из всех щелей, – и схема лекции не складывалась.

– Почему многие врачи увлекаются искусством? – спросил его доктор Цвейг, и Фляйшманн обрадовался вопросу.

– Во-первых, хочется разрядки, отдыха. Чтобы добыть энергию у той самой жизни, которую мы с вами постоянно поддерживаем и защищаем.

– Это я получаю от собственных детей, – сказал доктор Цвейг, устремив взгляд на противоположный склон котловины. – Особенно от моего младшего, Густава.

– У меня детей нет, это, может быть, один из аргументов. Но периферийный. Мне мало одного лишь опыта, я ищу некоей иррациональности. Поэтому я люблю литературу, пишу прозу и стихи,

рисую. Люблю живопись, музыку, театр... Хочется внести элемент художественного во врачевание, и немного медицины – в искусство. Чтобы не законсервироваться, не стать узким специалистом...

– По-моему, медицина скоро превратится в фабрику, – вздохнул доктор Цвейг, – машины будут ставить диагноз и выписывать рецепты...

– Совершенно верно, – доктор Фляйшманн крепко пожал руку своему коллеге. – И умолк, придавленный усталостью. Мокрая одежда липла к спине, ноги гудели. Эрих Мунк заснул стоя, привалившись к доктору Цвейгу, – вместе они напоминали микеланджеловскую Пьету.

## 10. ПЕРЕСЧЕТ ОКОНЧЕН, ЕВРЕЙСКИЙ СТАРОСТА ВЫЗВАН НА КОВЕР

Крепость, покинутая крепостными, мокла под дождем. Толстенная, пуленепробиваемая, она отсыревала и просыхала, согласно погоде. В ее фундаменте, под всеми фортификациями, ветвились подземные ходы. Они были прорыты так, чтобы непросвещенный враг, обнаружив вход под землю, никогда бы не нашел оттуда выхода. Схематически можно представить себе дерево с очень ветвистой кроной, где ствол – вход, а ветки – подземные пути. В самом начале продвижения по ходам было не так темно – источником света служили бойницы. Отсюда можно было открыть огонь по врагу. Но, после сотни метров, источник света пропадал, и, оказавшись в духоте и крошечной тьме, неподготовленный лазутчик терял всякую ориентацию. Тщание, с которым военный ум эпохи Просвещения продумывал средство гражданской обороны, снискало в потомках разве что снисходительную улыбку. На крепость так никто и не покусился, и, соответственно, ее не пришлось оборонять. Окопы, редуты, бойницы – все это оказалось невостребованным и служило лишь в качестве наглядного образца военной архитектуры. Ни военному, ни штатскому населению Терезина не нужны были подземные тоннели. Зачем? Если можно войти и уйти нормальным, наземным способом.

В одном из покинутых местным населением домов летом 42-го года художник Франта Люстиг обнаружил план. Сначала он не понял, в чем тут дело, – но со временем он разобрался в чертеже и нашел по нему подземный лаз, со стороны Литомержицы, вход у мертвецкой.

Здесь, в назначенном месте, в назначенный час ждал художник Люстиг жену с грудным ребенком. И она приходила. Они вползали под широкий свод, где можно встать в рост, обняться и упасть на землю, лечь рядом. Безумна любовь. Малыш гундит себе тихонько, но не плачет...

Отсюда же и бежала группа молодых ребят, друзья Франты. Их и недосчитались в котловине.

«*Нах Терезиенштадт цурук, шнель!*», – бледный свет от карманных фонариков, рассеянный по котловине, собрался в пучок, прочертил в морозящем тумане линию направления. Народ сдвинулся с места. Темную лавину, перекасти-поле, вынесло из ямы на дорогу, из смерти – в жизнь. Люди спешили в гетто, так и не уразумев произошедшего, – зачем считали, досчитались или нет, будут ли считать снова, – лишь бы дойти до места, снять мокрые одежды...

Якоб Эдельштейн был вызван в комендатуру сразу же и немедленно. Всегда можно кого-то недосчитать. Всегда! И он лично не знал о побегах. Слышал о тоннеле. Немцам не нужен чех-сионист во главе гетто. Теперь будет умный, но вялый социолог, из Берлина, с роялем, – пусть цветут в аду все искусства! Да Мурмель, Иосиф Флавий наших дней, австрияк, хитрюга! Все пустят они под откос... А он? Не он ли подчинился Эйхману – дал повесить девятых парней только за то, что они передали письма через жандармов? Не он ли отправлял транспорты, потел и ругался со всеми, исключая из списков сионистов и ставя вместо них прочих, прочих людей... Прямолинейный, целенаправленный, он попал в лабиринт, бился о его стены, пока не научился идти вдоль них, двигаться с расчетом, к выходу, а выход оказался замурован. Сколько жизней будет стоить побег? Червям да мухам навозным – его жизнь. Но Мирьям, десятилетний Арье... А сколько народу отправят штрафным транспортом... Он проиграл. И народ его проиграл вместе с ним. Но не из-за него, нет!

## 11. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ФОРМУЛЯРА

«Мы начинаем обзор города с портала церкви в центре. Эта часть города берет свое начало с постройки храма в 1805 году, о чем свидетельствуют даты постройки. Продукт австрийского ампира. Прямоугольное простое здание, типичное для гарнизонной церкви. Образчик такого рода – гарнизонная церковь в Потсдаме...»

Хуго пишет на обратной стороне формуляра. Книга «Жизнь в гетто», с рисунками Лильена, пропала. Но карточка осталась. Утиц отсоветовал соваться со своим прошением в инстанции. Он раздобудет Хуго печатную машинку. И бумагу. Пока сиди тихо, верхам сейчас не до этого. А что происходит в верхах? – волновался Хуго. И не он один. После пересчета все ждали выступления старейшин – что все это обозначало, должно же быть объяснение. Единственным человеком в библиотеке, кто мог бы дать информацию или хотя бы намек на нее, был всеми почитаемый раввин Бек.

«В Новом Переулке (Q-400) прежде всего следует посетить дом номер 10. Одноэтажный цивильный дом в восхитительном стиле рококо относится к самым впечатляющим зданиям Терезиенштадта. Благородно изогнутое, симметричное расположение

окон встраивается в грациозно колеблющуюся линию орнаментального украшения фасада. Спирально собранные волюты под оконными карнизами – особенно редкие, изогнутые копы оконных решеток, превращают этот дом в явный анахронизм жизнелюбивой эпохи среди трезвого париковства Иосифа. Знак на доме – черный медведь с золотым ошейником и цепью, опирающийся на черный якорь, пожирает золотой фрукт. На серединном клейме якоря – маленький позолоченный картуш с годом постройки: 1791. Если подумать о том, что всего двумя годами раньше подверглась штурму Бастилия, что в то время великая революция была в полном разгаре, что в области культуры вкусам дня отвечал один только классицизм – тогда мы должны принять то, что неизвестный нам хозяин дома добровольно и подчеркнуто предоставил фасад откровенно немодерному стилю, что должно было казаться чудно-реакционерским капризом, – как мы, сегодняшние, должны воспринимать этот восхитительный домишко. Полная радость от жизни и гибкая легкость бытия того короткого культурного периода, несшего в себе росток кровавого краха, задокументирована в этом доме. Часто я, переполняясь отвращением от тягот и невыносимости жизни в гетто, сбегал к этому фасаду и черпал из него отвлечение, веру и надежду...»

«Передайте мне сюда вот эту, большую, с золотым тиснением!» – обращается к Хуго Мойжиш Воскин, профессор-семитолог. Маленький, седобородый Мойжиш прибыл в Терезин июльским транспортом, вместе с работниками пражской еврейской общины. От его летней упитанности и следа не осталось. Не ест трефного, не ест того и сего, соблюдает все посты, в Йом-Кипур он, один из немногих, не пил воды. Хуго посещает его лекции по Пятикнижию, на иврите. ...Йеменские горловые звуки... *айн* – широко открыв рот и говоря в себя, внутрь, по-чревоуещательски...

«Книгу?», – переспрашивает Хуго, продолжая думать о любимом фасаде.

«Да. Книга – это не компот. А то бы я сказал – передайте мне сюда сладкое, жидкое, с фруктами. Или ягодами...»

Но здесь столько книг с золотым тиснением...

Мойжиш любит рассказывать про Палестину. Про бедуинов особенно. Палестина напоминает ему Крым, откуда он родом. Жара, пыль, песок, много солнца, – все у него определяется набором признаков.

– Так что там все-таки происходит? – спрашивает он Хуго, вытирая потрескавшиеся, в царапинах, руки носовым платком. – Книжная пыль, как ветер пустыни хамсин... Песок пустынь столь же невидим, как и книжная пыль... Хочется пить...

– Ну, вода-то у нас еще есть, – откликается Хуго, – знаете ли вы, господа, чем объясняется выбор места для нашей крепости? Почему он пал именно на область сегодняшнего Терезиенштадта? Да из-за земельно-водного положения региона. Лежа в преддверии Богемских средневысотных гор и у впадения Эгера в Эльбу, крепость загоразживала долину Эльбы. Далее, система обоих реч-

ных потоков предоставляла естественное усиление для укреплений... Кто из вас знает, когда был заложен Терезиенштадт?

Любопытный Мойжиш подсаживается к Хуго, заглядывает в бумаги. Не томите, читайте!

«Как и всё крепостное строительство того времени – вплоть до конца XIX века, – терезинские фортификации возводились по образцам, разработанным Себасьеном Вобаном (1633-1707), великим мастером фортификации при великом Конде. Работы, связанные с речными потоками, были обогащены фортификационными находками, которые Лейси собирал в Голландии – в ходе учебных поездок – на строительстве плотинных укреплений. Работы связывались с речной системой посредством шлюзов, так чтобы их (работы) в любое время можно было устраивать ниже уровня воды. Таким образом, понятие «шлюза» стояло у колыбели Терезиенштадта».

Тревога, разлитая повсюду, просочившаяся во все щели, проникла и в самое нутро. В животе крутит, в висках стучит. Хуго оставил работу, побрел на Третий бастион, дозволенный для заключенных. Детская и спортивная площадка пустовали. Вечер, ветер...

«Отсюда можно обозреть восхитительный ландшафт городских окрестностей, куда жители посылают лишь далекие тоскливые взоры...» Так он писал до пересчета в Богушовской котловине. Последствия этого дня ощутимы – ноет позвоночник, болят ноги, – но, что хуже, ноет душа его в этом плену. Ну-ка, Хуго, веселей, – подбадривает он сам себя, смотри, тебе открыт привольный вид на долину Эльбы... Третий бастион – единственная точка, с которой еще можно найти зрительный контакт со свободным горизонтом и ландшафтными далями.

Вернувшись в библиотеку, Хуго без спросу взял со стола шефа чистый лист бумаги, и написал: «Экзотический вид вулканических конусов Богемского среднегорья составляет фон обзора. Старая колокольня в Литомержице видна отовсюду, и Эльба угадывается, как ее никогда не увидеть вблизи, ранними утрами – лишь по сиренам далеких, невидимых буксиров. Вдали видны темные лески, из которых поутру на рассвете доносится зов кукушек. Знамениты и здешние закаты: их многоцветность представляет дивное зрелище.

Романтическая прелесть местного ландшафта известна издавна. Людвиг Рихтер, Каспар Давид Фридрих, Филипп Отто Рунге, Керстинг и другие работали здесь. Шедевр Рихтера – это *Schreckenstein* («Ужасающий камень») неподалеку отсюда. В своих описаниях он называет *Waldeg nach Kamaik* одним из красивейших уголков земли. Но не только немецкие романтики ценили красоту этого ландшафта. Весной, во дни цветения деревьев, сюда паломничают тысячи людей из всей Северной Богемии, чтобы спуститься по знаменитому пути от церковки в Дупитцере до Салезеля в долине Эльбы сквозь рай цветущих фруктовых деревьев. Народное гуляние с целью, факт и регулярность которой отвечала бы разве что японскому характеру.

Все это, разумеется, подлежит лишь умозрительному наблюдению посетителей бастиона, которые принуждены удовлетворяться тоскливыми взорами, бросаемыми в окрестности замкнутых ландшафтных окрестностей с тем, чтобы до истечения разрешенного времени выхода (летом – до 9 вечера) поспешно покинуть бастион и вновь обратить взгляд к привычным красного кирпича фортификациям – редутам, рavelинам, эскарпам и контрэскарпам, бастионам и траверсам, потернам и куртинам (для остальных фортификационных выражений см. *Konversationslexikon*) – и к дальним, растущим из зеленой травы, скромным крепостным могилам...»

## 12. ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Событию, даже самому страшному, надо найти место. Историческое знание человека или народа не есть простое знание прошлого, настоящего и будущего направления – это осознание того, откуда это настоящее событие вытекает, где его корни, как оно проросло в сегодня, и к чему оно приведет в будущем. Лео Бек покинул закрытое собрание Совета старейшин. Ясность происходящего вызвала физическую дурноту. Эдельштейн обречен, снова пойдут транспорты, – трагедия происходящего с народом, к которому Лео Бек принадлежит, будет исследована историками будущего. Смотреть этой правде в глаза – значит сделаться самоубийцей. Перестать верить в то, что право и правда управляют великими и малыми сими, живыми и умершими, это значит уничтожить под собой почву. Потерять смысл. Потеря исторического смысла ведет к гибели народа...

То, что думается, и то, что видится, будто бы никак не связано между собой. Думается о бессмертной идее добра в толкучке полуживых представителей народа, который не должен, не имеет права потерять исторический смысл. Мысли и реальность – разнофактурны. Мысли посылаются свыше, они оседают в сознании каждого человека, до многих Божественная мысль просто не долетает, физическое состояние человека-приемника на сегодняшний день таково, что он ничего уже не приемлет из высших сфер. Но и всегда так было. И в период относительного благополучия народ был глух и слеп. Встряски пробуждают. Значит, чтобы человек проснулся, прозрел, его надо наказать? Неужели в этом Промысел? И испытания, выпавшие на нашу долю, усилят наш дух? А что, если человек зряч, но вера его слепа? Такая мысль не по душе Лео Беку. Пока он жив и здесь, он должен выполнять свою миссию раввина, философа, историка – он должен дать людям надежду и веру. Задача историографа – стать живым сознанием своего народа.

Лео Бек добрался до мертвецкой. Каждый день он говорит «кадиш» над штабелями мертвецов, завернутых в простыни.

Могут эти кости ожить?

«Это сказал Господь наш: народ Израиля, я открою ваши могилы и заставлю вас выйти из могил, о мой народ... и вдохну мой дух в вас, и вы будете жить».

Только там, где дух и идея – разворачивается история, – думает Лео Бек, возвращаясь из крематория с группой скорбящих родственников. Перед каждым народом стоит задача нахождения своего пути. Каждый народ предстоит пред добром и злом, но бывают такие ответственные моменты, когда решение не может быть оттянуто. Идея, выбирающая добро, может быть побеждена, но она остается бессмертной, непреходящей. Праведность – вот отличительная черта нашей истории. Истории духа.

## ЭПИЛОГ

Хуго Фридманн дописал историю Терезина.

Его «сценарии прогулок» не предназначались для публикации, и, видимо, потому они и лежат до сих пор в архиве, никем не востребованные. Тщательное описание 26 зданий не пригодилось даже реставраторам Терезина. «Серый цвет Магдебургских казарм и побеленные карнизы замечательно контрастируют с расположенными напротив на Охотничьей улице (Q-200) – Гамбургскими казармами...», – писал Хуго. Нынче Магдебургские казармы выкрашены в ярко-желтый цвет.

Рисунки Бергеля найти не удалось.

28 сентября 1944 года, за несколько часов до депортации, Хуго написал прощальное письмо любимому другу Филиппу Манесу:

«В ситуации полной неопределенности, на пороге чистилища – проверки перед отправкой первым рабочим транспортом «в направлении Дрездена», мне доставляет особое удовольствие посвятить Вам, дорогой г-н Манес, пару слов. Благодаря Вашей неуклонно растущей инициативе, Вы сумели «из ничего» соорудить лекционную кафедру и камерный театр, которые сделались эпицентром оживленной культурной жизни в Терезиенштадте. Все это – я совершенно убежден – войдет в историю нашего геттовского поселения.

Ваша личность заслуживает высочайшей характеристики. Вы мужественно и непреклонно боролись против узколобых искусственных схем. Для наших ученых и художников Вы явились бесменным советчиком, другом и покровителем. Вы поощряли лишь Доброе и Высокое и, вопреки капканам и бюрократическим каверзам, всегда оставались верным своему делу.

После почти двухлетней совместной работы я, жертва не мною созданных обстоятельств, вынужден покинуть гетто, ставшее мне отечеством. Я вынужден оставить мою семью, друзей и деятельность, столь милую моему сердцу. С благодарностью и преданностью жму Вашу отеческую руку и желаю лишь одного – чтобы пути наши вновь пересеклись. *Ваш Хуго Фридманн.*

Их пути «пересеклись». Филипп Манес был отправлен в Освенцим 28 октября 1944 года. Это был последний транспорт из Терезина. Ни Манес, ни его супруга не прошли селекции.

Хуго Фридманн селекцию прошел. Об этом свидетельствует письмо терезинской библиотекарши Кати Гольдшмидт к родителям Хуго в Боготу (не датировано, очевидно, конец 1946 года):

«Хуго внес радость в серую жизнь лагеря. Я познакомилась с ним в то время, когда он тяжело болел и лежал в госпитале с австрийским художником Альфредом Бергелем... Его все высоко ценили и уважали... В целом, здоровье его было неплохим, но, из-за сильных морозов и скверного питания у него развилась анемия, обострился остеопороз. Из Вены ему что-то посылали, посылки поддерживали всю семью. Жена Хуго работала на почте и там получала кое-какие продукты. Хуго был неплохо устроен в мужской казарме. Дети часто посещали отца в библиотеке, особенно Хансель, который стал большим и красивым мальчиком. Дочь его Лило все любили. В книге есть рисунок, который Альфред Бергель подарил Хуго на день рождения в сорок четвертом году. Семья собиралась каждый вечер у г-жи Фридманн. Не знаю, как и рассказать вам о повседневной лагерной жизни. По терезинским меркам условия, в которых жил ваш сын, можно считать выносимыми. Если бы не постоянная угроза транспорта, которая нависала над всеми. Хуго был защищен от транспортов, это также относилось и к его жене. Однако при формировании каждого транспорта были свои предпочтения. Если данным транспортом не отправляют стариков, значит, следующим именно их-то и отправят. То, например, делается исключение для легочных больных, зато в другой раз все легочные больные включаются в транспорт. Так оно и шло. Конечно, при таком положении вещей никто не мог себя чувствовать нормально. Хуго попал в транспорт с пятью тысячами мужчин. Большие волнения были по поводу Ханселя, ему вот-вот должно было исполниться шестнадцать лет. 28 сентября он должен был бы ехать – в этот транспорт брали мужчин от шестнадцати до пятидесяти лет. Но его удалось спасти, и от последующего транспорта тоже... И наконец, настало время, когда г-жа Фридманн не могла больше оставаться на своем посту, на почте. 19 октября я проводила ее, Ханселя и Лило. Они ехали с одним человеком, который, после всех лагерей, вернулся в Терезин в конце войны. Он сказал, что в Баере, близ Аугсбурга, где он был освобожден, он видел Хуго. Хуго был настроен оптимистично, у него было хорошее настроение, он был уверен, что все страшное осталось позади. И он выживет... Больше мы его никогда не видели... Что касается его имущества, понятно, что в лагере у него не было галереи с произведениями изящных искусств...»



*Елизавета Михайличенко*

## *ДЕРЕВО И СТЕКЛО*

### **ВОЛК**

Верую сердцем волка, умершего для стаи.  
Оборотень поневоле, шатаюсь по лесу. Тускло.  
Я больше не сплю, не вою. Только деревья считаю,  
чтобы не думать о воле. Владеть ею – это искусство.

Сделав движенье к обрыву, сам полоснул, как бритвой,  
это движенье к свободе. Не остановишь его...  
Что же, теперь подчиниться какому-то новому ритму?  
Разлито в природе похмелье. Но где же само вино?

Солнце кровит на излете – к ночи залижут рану.  
Продолжим охоту за смертью, раз уж напал на след.  
Как надоело жаться в логове самообмана.  
Мне ли менять свободу на надоевший рассвет?

Я отступлю, но только чтобы продлить охоту.  
Будем кружить по свободе, выследим пот друг друга.  
Давай разыграем схватку, грамотно, как по нотам.  
Смотри-ка, смерть перед смертью смердит, как больная сука

В поле один – не воин. В поле один – добыча,  
если не волк. Но что же я так стремился сюда?  
Глаза растают к рассвету. Смерть, словно девка публичная,  
поднимется, отряхнется и вновь избежит суда.

\* \* \*

1

А, так вот чей был плач! Вот кто гадил в капустные листья!  
Белый аист, куда ты подкинул орущую ношу?  
Ты растения спутал! Ты, сволочь, гнездо свое выстелил  
пухом потных перин, ржавой шерстью отравленных кошек!

И, эстетствуя в рамках своих представлений о Главном,  
не забудь осознать, где ты вырос, что видел и помнишь.  
Кто же знал, что влиять на события – это нормально.  
Кто же думал тогда, в ту казненную стылую полночь?

## 2

Упразднить понимание мира, начать все сначала,  
все построить иначе, по мягким, удобным законам.  
Кто там тихо и тоненько, кто же знакомо так плачет –  
там, за сотнями чувств, где-то во времени оном?  
Это я, это ты. Сам себя отыщи в лопухах,  
поразись – ощущение жалкости свойственно твари.  
Научись – ощущение жалости это едва ли  
чувство вечное, так, лишь когда кто-нибудь на руках.  
Пусть уходят в песок, перетертый чужими ступнями  
наблюденья чужих. Я готова не слушать их опыт.  
Я готова к изгнанию из утомившейся стаи,  
я готова к свободе – пусть слабенькой и недалекой.

\* \* \*

Весельем я тебя заговорю,  
чтоб идиотом ласковым смотрелся,  
мой слабый принц, мое больное сердце,  
стремящееся ритмом к октябрю,  
когда неравномерные дожди  
диктуют рваный ритм любви и смерти,  
когда не просишь тупо «подожди»,  
а просто шлешь и к черту, и в конверте,  
когда поступков ржавые края  
впиваются в предплечье, лижут рану,  
когда предчувствие зимы и алтаря  
не только жутко, но еще и славно.  
Так веселись под окнами Творца,  
разбей их нафиг, пусть летят осколки  
на безмятежность твоего лица,  
на половик из маковой соломки!  
Согрей стекло, его в ладонях сжав,  
и растопи застывшую реальность!  
И смейся! Смейся! Острие ножа  
когда-нибудь вернет тебе нормальность.  
А вот сейчас – сейчас ты проводник  
неясных чувств в неясные поступки,  
как раз сейчас идут такие дни,  
которые значительны и хрупки.  
Так вспомним заговор – веселый и чужой.  
Но лучше свой придумаем, и это  
даст шанс почувствовать, что мир еще живой,  
что он опять готовится к ответу.

## ДОЖДЬ В ИЕРУСАЛИМЕ

Под каплями дождя чугун лоснился –  
купание коня в пустынном сквере  
в остекленевшем, уходящем свете.  
В чугунной шкуре отразились лица:  
моё – украдкой, змейкой, мотыльком,  
вполоборота, на излете встречи;  
твое – усердно, жестко, как клеймо  
(вчekanен в круп остолбеневшей вечности).  
По улицам, совсем не торопясь,  
гуляли ненормальные с зонтами.  
Одни тихонько трогали ногами  
святую воду и святую грязь,  
другие, закрутив зонты волчком,  
и головы задрав, играли с небом  
в игру азартную, и требовали, требовали,  
и в грудь свою стучали кулаком.  
А третьи, торопливо и легко,  
меняя траекторию движения,  
метались за своим изображением,  
как стайка раззадоренных мальков.

\* \* \*

Москва... как мало в этом звуке  
уже осталось для меня.  
Скользя сознанием старухи,  
я понимаю: все фигня.  
И стойкость оловянных ложек  
в тарелке с варевом войны  
меня уж больше не тревожит,  
подумаешь – обречены.  
Чем ближе ночь, тем чаще голос  
вползает в сердце и бубнит,  
стучит, что наш Создатель холост,  
вполне возможно – инвалид,  
но этот голос захлебнется,  
он слаб и неуверен, бес.  
Веревочка уже не вьется,  
она спускается с небес,  
и каждым утром проверяю  
закреплена ли там она,  
поскольку в ней – ворота рая,  
и в нем я, может быть, нужна.

## КОЛЛЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

*Мысли по поводу:*

*а) девушки по имени Ора*

Пригоршней потной зачерпнув песок,  
сдирай свою татуировку, стерва,  
с плеча (клеймо), с груди (под ней каверна),  
с судьбы (печать). Край неба невысок  
и оплывает. Парафин небес  
застынет жилкой, веной или кляксой  
вчерашнего удара. Лязгай, лязгай  
тюремной пастью ножниц, лживый бес –  
хранитель судеб. Обманув капкан,  
оставь в нем платья праздничного клочья  
и – к морю, огородами, не корчись,  
вцепившись в подвернувшийся «стоп-кран»,  
еще не время, девочка, змея,  
червяк, рожденный извиваться в дыме  
недавних войн, библиотечной пыли  
и жалком неприятья бытия.  
Пусть ступни увязают в прахе моря –  
песке. Пусть тело тянется к воде  
и, в предвкушеньи соли, ширит поры,  
как тьма – зрачки. А тьма теперь везде.  
Но видишь проблеск? Там, над головой!  
Считаешь – месяц? Нет, сейчас исчезнет –  
прикрытый глаз мелькнет, и нас с тобой  
он не заметит, отвернувшись к бездне.

*б) нищего*

В ожидании войны, я пойду за кипятком,  
против мощного течения безнадеги цвета хаки.  
Нищий, в позе эмбриона притворившись сосунком,  
оторвется от бутылки, чтоб свои слова отхаркнуть.

Не слишком милосердна, спонтанно пожалею,  
за это мне подскажут, куда лежит мой путь:  
– Там кипяток, сестренка. Скорей, уже чернеют  
глаза людей и вороны. Жизнь не забудь вернуть

в небесную копилку. Там свой круговорот,  
в котором мы отсюда улавливаем схемы  
строения души, строения вселенной  
и вечного процесса «дает – берет – дает».

Я не забуду, нищий (хотя и постараюсь,  
но ясно же – напомнят... проклятые долги).  
Что я хотела? Чаю.  
Что я искала? Стаю.  
Что я нашла?  
Отчаянье строптивного слуги.

*с) мирного процесса*

1

У нас сегодня водка на столах, покрытых камнем.  
Над нами небо, а вокруг – тревога.  
Герой войны – угрюмый старый карлик  
с лицом дебила и со взглядом бога.  
У нас сегодня вид потерянных в пустыне,  
пейзаж и образ жизни однороден.  
Мы всех убийц заранее простили,  
хоть это и не принято в природе.

2

У нас сегодня мирный приговор. (Не будет больно.)  
Уже есть опыт несогласья с Богом. (А вот не будем!)  
Уже почти умолкли недовольные,  
поскольку несогласные – не люди, –  
противники. Соратники уже  
все поделили и взирают только  
на стол накрытый. Наше ПМЖ  
вот-вот накроется. Давайте крикнем: «Горько!»,  
когда раздастся скрип пера под текстом.  
Сыграем эту свадьбу, как придется.  
В деревне нашей божия невеста  
не Богу, а подпаску отдается.

\* \* \*

Когда дающая рука не чувствует тепла,  
когда берущая рука не чувствует нужды,  
уймись и ты, моя судьба божьего стекла,  
разбитая на много лет покоя и вражды.

Попытка творчества светла, слепа, и... Бог с тобой,  
иди, пристройся в уголке, перебирай слова,  
как рис, испорченный теплом, покоем и водой.  
Следят за мной оттуда два внимательных бельма.

**ПРЕДВОЕННОЕ**

1

Палестинское рваное небо,  
пересохшая пыльная ветошь,  
раскрошившаяся галета.  
Взгляд пророка сух и несведущ.  
Расползается время гнилое,  
а в прорехах – батальные сцены.  
Если можно привыкнуть к вою,  
я привыкла. Набухли вены  
молоком прокисшим и медом  
збродившим. А небо – нёбо  
той военной особой породы,  
что обычно верна до гроба.  
Что за счастье – гонять эпохи,  
словно шавок у мусорной кучи,  
и смотреть, как слепая похоть  
отымеет счастливый случай.

2

Что ж, последняя теплая осень?  
Окровавлены кончики пальцев  
при разделке души страдальцев.  
От призыва опять закосим,  
будем холод терпеть и темень,  
белый свет, белый ветер, бездонность,  
и остывший покинутый терем  
ощутит всю свою огромность.  
Палестинское счастье недолго,  
пасть заката уже закрыта,  
красным шерсть облаков промокла,  
небо тихо, спокойно, сыто.  
Подожди до завтра, пришелец!  
Жизнь и кровь – все течет по кругу,  
для их точного соотношения  
обними боевую подругу.

*Феликс Кандель*  
*ДОМ НА ОБРЫВЕ\**

1

Улица затаилась посреди строений своей неотличимостью и секретов чужим не раскрывает.

С улицы это выглядит как обычный дом, каких немало в округе: один подъезд, пять этажей, дождевые подтеки на каменной кладке, заброшенный газон на входе.

Дом был когда-то новым, жильцы помоложе, заботы помельче, врата надежды поскрипывали, казалось, неподалеку, приманивая обещанием, спасение – запоздавшей росой – готовилось оживить травы, однако газон во все времена оставался общим, а оттого он ничей, оттого неухожен. С развёрстого мусорного хранилища, что приткнулось у тротуара, ветром заносит на газон пластиковые мешочки, которые живут вечно и не уходят в перегонной. Мешочки пакостно шуршат на деревьях, будто сговариваются на очередное непотребство, запутываются в цеплючей жимолости, по утрам, от обильной росы, покорно распластываются у подъезда, а через них перешагивают, чтобы не поскользнуться. Но природа сильна и способна на многое – лишь бы ей не мешали. Розы буйствуют на газоне, расплескивая без корысти лепестковую свою красоту. Жимолость завивает ржавую ограду и дурманит ароматами. Гранатовое дерево исправно цветет и плодоносит, а крупные, темно-бордовые гранаты лопаются на ветвях от мощной своей переспелости, нехотя опадают на землю. По кромке газона строем лезут наружу непородные нарциссы, потомки чудесных созданий, которых привезли из-за моря в дар этому городу. Потомки выродившихся потомков.

Через дорогу располагается лавочка Лёвы Блюма, который знает каждого жильца в этом доме, потому что все должны ему и все записаны в его книге. Почти все. Блюм обладает благородством души и долги не требует до конца месяца, а с некоторых еще неделю, ибо народ по соседству живет небогатый. К благородству примешивается и расчет, так как покупатели могут пойти за угол, в лавочку к Мордехаю Шимони, тоже получить в долг. Когда никого нет, – а это случается частенько, – Блюм сидит на стуле у дверей и оглядывает дом напротив, с первого до последнего его этажа. Редкие мысли, как дымка на небе, неспешно проплывают в голове, не оставляя тени и не орошая благодатным дождем. Чудится Лёве заснеженная опушка редкого ельника, видится Лёве смытый силуэт вдалеке ангелом-охранителем, слышится крик в промозглой ночи – остережением и спасением.

---

\* Глава из романа «Смерть геронтолога».

Броня Блюм, жена Лёвы, сидит у окна на первом этаже, смотрит на мужа со дня на день, из года в год. Лёва стареет на ее глазах, плешивеет, припудривается пылью, морщины прокладывают по лицу траншеи с ходами сообщений, будто к старости он пытается от кого-то оборониться. Видится Броне трюм крохотного суденышка, дощатые занозистые нары, юноша во мраке, склонившийся над ней, узкобёдрый и жаднорукий. Юноша ищет тепло, самую его малость, после стужи тех ужасов отогревается в женских объятиях. Чудится Броне покачивание на нарах, как покачивание на волнах, пугающее падение в бездны с восторженным взлетом под облака, первая боль с первым облегчением – не пережить заново. К полуденной молитве Броня приходит в лавочку, осторожно переступая опухшими за жизнь ногами, занимает место за прилавком, а Лёва идет в синагогу на соседнюю улицу. Десяти человек обычно не набирается, и Блюм встает в дверях, чтобы позвать на молитву прохожего мужчину старше тринадцати лет. Он зазывает молча, одним взглядом, и устоять невозможно. У соседней синагоги, неподалеку, встает Мордехай Шимони, его конкурент, у которого тоже не набирается десяти человек, – он тоже зазывает взглядом. Порой Лёве кажется: там, наверху, не принимают его молитвы и возвращают обратно на осмысление и доработку. Порой это кажется Шимони.

На втором этаже, над головой Брони, располагается единственный на весь дом балкон. На балконе стоит мангал. В мангале тлеет вечный огонь. В квартире живет нервный Ицик, владелец некрутного дела «Куплю всё и продам всё» – с ограниченной ответственностью и без покоя в душе. По утрам Ицик выходит из дома, как на битву, выкатывает на машине словно на тропу войны, гудя в ярости на замешкавшегося водителя, проскакивая под последнее отчаянное мигание желтоглазого светофора, и на шоссе не уступает никому. Раз уступишь, два уступишь – и отстанешь, и не догонишь, и затолкают, в характере, не дай Бог, отпечатается уступчивость, а от уступчивости ему смерть. Нервный Ицик не может этого допустить и вечный в душе страх заглушает наглостью на дороге и в жизни. Дед Ицика, праведный Менаше, говаривал частенько: «Распознайте испытания ваши», – но как это сделать на скорости? Ответ может быть таков: притормози и осмотришься. Но возможен и иной ответ, если он вообще существует. Ицик начинал жизнь с мотоцикла, шустрого и увертливого, постепенно наливаясь плотью и беспокойством. Нервный Ицик перепробовал много дел: продавал семечки с фисташками, чистил ковры, развозил по домам минеральную воду, держал буфет с вывеской, на которой ивритскими буквами было написано «Бест маркет», и теперешняя его коммерция не из последних. По вечерам Ицик жаждал покоя и расслабления от дневных боев, а потому оголяет волосатую грудь, вываливает живот поверх пестрых трусов, раздувает огонь в мангале и жарит на балконе бифштексы, жарит куриные ножки, печенку, пупки, крылышки и кебаб, – всё жарит, что румянится и шкворчит на углях и подъедается потом без остатка дружной



супружеской парой. Жирные мясные запахи поднимаются вверх и обволакивают дом. Соседи сходят с ума. Но нервный Ицик пристроил балкон именно для этой цели и уступать не желает. Балкон громоздится от земли на рахитичных бетонных подпорках, и если бы это увидел архитектор, душу вложивший в проект, его бы хватила кондрашка.

На третьем этаже, над Ициком, пустует квартира, в которой практиковал Цви Сасон, врач-геронтолог. К нему приезжали со всего города. Про него рассказывали чудеса. Он укреплял слабосильных и поднимал расслабленных. На Сасона надеялись, – сначала, конечно, на Господа, а уж потом на него, – в Сасона верили все старики по округе и копили деньги на визит. Старость что детство, старики – малые дети, но никто не желает с ними играть. А у Сасона они с упоением играли в увлекательные игры, что подбавляло удовольствия и продлевало годы. Старики входили в подъезд усталой вереницей, шаркая изношенными за пенсию подошвами, а выходили с огнем в глазу, молодецки подрагивая мышцей ноги, на радостях покупали банку пива: Лёве Блюму некрупный, но верный доход. Геронтолог Сасон подвел стариков неожиданно, врасплох, в цветущем еще возрасте, подключенный к машине искусственного дыхания, и сокрушилась духом дряхлая клиентура – нет рецепта от неизбежного, по очереди стала умирать. А квартира стоит пустой, тягостным напоминанием; приходят порой несведущие клиенты, звонят в дверь, но ответа им не дожидаться, и возвращаться назад недостает сил. «Знай такое дело, – сказал один из них, – я бы иначе состарился...»

На четвертом этаже, над пустующей квартирой, проглядывает в окне печальный женский профиль. Там живет неприметная Авива, подобная увядающей траве на склоне, которая в свободное от работы время населяет собственное одиночество. Это она выдумала себе жениха, отправила его за алмазами в Африку, писала туда письма, получала ответы и пересказывала их Ривке, лучшей своей подруге, а та слушала, не перебивала, думая лишь о том, как же Авива вывернется, когда жениху подойдет срок возвращаться. За месяц до его приезда Авива села на диету и спустила двадцать килограммов. За день до его прилета она явилась к подруге зарёванная и несчастная: упал вертолет, и жених разбился. «Поторопилась свое счастье, – сказала Ривка. – Зачем было ему прилетать? Сидел бы себе в Африке, искал алмазы, писал тебе письма...» Авива отгоревала безутешно пару месяцев, в слезах набрала новые двадцать килограммов, а потом у нее объявился друг-моряк, которого она отправила в плавание в бурный, коварный океан, и Ривка ждет со дня на день, когда этот моряк сгинет в морских пучинах. Авиве уже под сорок. Она ведет себя неприметно, одевается неярко, ходит по стеночке, садится с краешка, но в ней накоплено столько нерастратченных желаний, что это ощущается с расстояния, как потрескивание мощного электрического заряда, и подруги на всякий случай оберегают своих мужей. Одиночество –

это звон в ушах от тишины. Одиночество – когда не с кем поссориться. Авива бродит по квартире в полноте желаний, являя в окне скорбный силуэт. По дивану на цыпочках гуляет кот невозможной аметистовой красоты, будто рисованный пастелью, невозможных телодвижений, будто на уроке в балетном классе, изумрудными зрачками, сквозь приспущенные пепельные веки неотрывно смотрит на клетку. Кота зовут Хумус. В клетке дремлет на жердочке разноцветный попугай: один глаз закрыт, другой следит за котом. Попугая зовут Сумсум. Когда приходил гость, Сумсум, бывало, пробуждался, орал с жердочки: «Открой клетку... Открой клетку... Ну открой, дур-рак!» Был взрыв на улице. И были жертвы. Разлетевшиеся на стороны, неопознаваемые части того, что дышало минуту назад, улыбалось, ело с удовольствием мороженое. Мужчины в черных одеяниях – пейсы заложены за уши – собирали останки до последней кровавой крошечки, промокали туалетной бумагой, складывали в пластиковые пакеты, чтобы похоронить с честью. Авива увидела по телевизору ту кровь, слезы, обмороки на кладбищах; Хумус увидел вместе с ней, не проявив интереса в ледяной кошачьей обособленности, и Сумсум, конечно, углядел тот ужас, отчего испугался и замолчал. Авива понесла его к ветеринару, а он сказал: «Я прошел три войны. Горел в танке. Подрывался на mine. Хоронил друзей. А после взрыва – руки дрожали: сын был на той улице. Мог быть. На той улице и в то время. Что же ты хочешь от птицы!..» Поболтать теперь не с кем, и Авива часами думает сосредоточенно, наморщив лоб, говорит вдруг: «Если тебе клялись когда-то, с пылом, с любовью, а потом охладели, – что за беда? Клялись искренне в тот момент, с желанием выполнить клятву, а это главное...» А кто клялся и кто охладел – неизвестно.

На пятом этаже, под крышей, затаился Нюма Трахтенберг, пришелец и поселенец, обладатель несуразных достоинств. Все вокруг непременно желают похудеть, один Нюма, худой от рождения, ненавидит малость свою и неприметность: приходится надевать ремень и полосатые подтяжки, чтобы не спадали брюки. С таким носом и такой фамилией Нюме бы оказаться в вольных степных краях, где посвист казачий, храп лошадиный: вот бы потешились от души! Нос пропадает без надобности, фамилия пропадает, – здесь про него говорят: «Этот русский...» Ходят слухи, что эти «русские» привозят в багаже неисчислимые богатства, редчайшие сокровища, ковры-иконы, серебро-эмали, которые продают задешево, и нервный Ицик – «Куплю всё и продам всё» – первым заявился к пришельцу. Что же оказалось? Нюма Трахтенберг узнал перед отъездом от верного человека: чтобы купленное поле стало твоим, следует обойти его после уплаты денег. Чтобы страна стала твоей, следует пройти по ней из конца в конец. Так поступил Авраам, пройдя по земле Ханаан, так поступит и Нюма. Он привез в багаже резиновые сапоги, чтобы в любую погоду, по любой грязи обойти эту землю вдоль и поперек. Привез берестяное лукошко: набрать заодно грибов. Не за-

был и палатку: спать в походах. Компас и переносной примус. Брезента кусок: от сырости. Топорик: рубить лапник. Фонарь с набором батареек. «Там есть грибы?» – спросил таможенник. «Там есть всё», – ответил Ньюма. «Видел я эту страну, – сказал другой таможенник. – Один номер на карте, даже название не умещается. Какие тебе грибы...» И не пропустил нож-тесак, с которым Ньюма собирался ходить на зверя.

Над квартирой Трахтенберга располагается плоская крыша, откуда припекает в жаркие дни. На крыше стоят бойлеры и коробка под стеклом для уловления солнечной ярости. Оттуда видно далеко. А на цыпочках еще дальше. Живут под крышей люди с нечистыми устами, посреди ломаных понятий, преданные суете и поддающиеся ночному страху, упорствующие в закоренелой дерзости и в пресыщении рождающие грех. Пресыщение невелико, но грех заметен, и небесные источники питания закрыты для них. Алчущим недостает мяса. Горделивым недостает сомнения. Гневливым – покойной мудрости. Нет праведников под той крышей, и Голос не звучит для них с Небес.

Но... Но!

Неприметный с улицы дом высится на обрыве над крутобоким провалом. Опадают книзу горы Иудейские, незастроенные пространства простираются до беспредельности, а на крыше, спиной привалившись к бойлеру, сидит зачарованный свидетель, вознесенный над всеобщим пониманием, высматривает с высоты слепыми своими глазами в чистоте побуждений и безмятежности упований. Оттуда – из пустыни – подступает опасность и тьма к вечеру. Оттуда приходит рассвет, принося освобождение. Там чудеса валяются на песке, и через них перешагивают. Кто перешагивает, а кто спотыкается...

## 2

Из сочинений Бори Кугеля, человека и пенсионера:

В одном доме, в одном подъезде, на одной лестничной площадке жили-слыли четыре соседа: Картинкин, Корзинкин, Картонкин и маленький Трахтенберг.

Картинкин-Корзинкин-Картонкин жили большими, шумными семьями с детьми и тещами, ели за обедом борщ, рагу с биточками, селедку домашнего приготовления, а маленький Трахтенберг покупал в магазине плавленый сырок «Дружба», который не лез в горло, сто граммов отдельной колбасы, от которой начиналась изжога, и всё это съедал в одиночестве, запивая водой из-под крана, за пустым столом с липкой клеенкой, потому что ушла от него любимая его жена Трахтенберг Е.П., в девичестве Собачонкина, по второму мужу – Рычалова.

Картинкин-Корзинкин-Картонкин дружили семьями и заходили друг к другу попить чайку с вишневым вареньем, посмотреть по телевизору футбол или хоккей, а маленький Трахтенберг не мог

пригласить их в гости из-за отсутствия необходимых принадлежностей, потому что, уходя от него, любимая его жена Трахтенберг Е.П. – в девичестве Собачонкина, по третьему мужу Горлохватава – унесла с собой вишневое варенье, заварочный чайник и цветной телевизор.

Картинкин-Корзинкин-Картонкин пренебрегали Трахтенбергом, не приглашали в гости, не заходили к нему на огонек, а если и обращались изредка, только по делу: «Товарищ Трахтенберг, с вас два рубля за уборку подъезда». Это была вечная его рана, на которую то и дело сыпали соль, и когда он сидел вечерами в пустой комнате, слушая через стенку их дружные вопли, ему становилось совсем погано, потому что и он некогда кричал от радости, гоняясь по квартире и настигая на диване игривую и аппетитную Трахтенберг Е.П., в девичестве Собачонкину, по четвертому мужу – Живолову.

Чего он только ни делал, маленький Трахтенберг, чтобы пробить их неприязнь, но Картинкин-Корзинкин-Картонкин стояли намертво и на дружбу не поддавались. Он даже пошел как-то в милицию и попросил девичью фамилию жены, чтобы жили в любви и согласии на одной лестничной площадке Картинкин, Корзинкин, Картонкин и маленький Собачонкин, но они всё равно не звали его в гости, не заходили на огонек, а если и обращались, только по необходимости: «Вениамин Моисеевич, с вас рубль на озеленение». И тогда он опять пошел в ту же милицию и забрал заявление о перемене фамилии, потому что ушла от него любимая его жена Трахтенберг Е.П., по пятому мужу – Оглоедова, а становиться Собачонкиным было теперь незачем из-за отсутствия любви и дружбы соседей.

Так он и жил рядом с ними, так и страдал рядом с ними, готовый полюбить и покаяться, принять и простить, а затем не выдержал одинокой жизни на общей лестничной площадке и пошел в нужную ему организацию: просить разрешение на выезд в любом – от этой площадки – направлении. Глядь! – а там стоят в очереди дружной, единой семьей Картинкин-Корзинкин-Картонкин с детьми и тещами нужной национальной принадлежности. «Как?! – закричал Трахтенберг. – И вы наши?..» А они на это: «Гражданин Собачонкин, не примазывайтесь».

И ушло время, и пришло время, и теперь уже далеко-далеко, в непостижимом зарубежье, на одной земле, под одним небом живут прежние соседи: Картинкер, Корзинкер, Картонкер и маленький Трахтенберг, готовый полюбить и покаяться, простить и принять, но которого они не замечают, не приглашают в гости, не заходят на огонек, а если и пересекаются кой-когда на улице или в магазине, недоуменно поднимают брови и кривят губы, что в переводе с малопонятного означает: «Господи, за что нам такое наказание?» Наказание Картинкеру, наказание Корзинкеру, наказание Картонкеру, а также игривой и аппетитной Трахтенберг Е.П.: в девичестве Собачонкина, по последнему выездному мужу – мадам Еврейсон...

## 3

Как это началось? Ньюма заболел и болел долго, тяжело, беспрочно, с одышкой и тупой болью, будто жестокая, ледяная ладонь сжимала сердце равнодушно и неумолимо. Вот надавит посильнее – и привет. Он лежал сутками на диване, боясь шелохнуться, и всяким утром – после пробуждения – прислушивался к тому, что происходило внутри. Была тишина, покой, сумасшедшая надежда, что заспал, наконец, ту боль, но при первом же шевелении тяжкая рука укладывалась на сердце, и всё повторялось заново, до удушья и рваных сердцебиений, когда комок взмывал кверху и затыкал горло. Пришел, наконец, доктор с саквояжиком, старый, кустистый, с лучистыми озорными глазками, похожий на деда-лесовика из непролазных чащоб. Ощупал, обстукал, расчертил грифелем живот и грудь, помечая области сердца, легких и печени, прислонил мохнатое ухо к Ньюминой груди, затих, как заснул, лицом к лицу. Ньюма не дышал, и доктор не дышал тоже. Из докторского носа торчали кустики седых волос. Ресницы безжизненно опадали. Сеточки мелких морщин напоминали старинный, побывавший в долгом употреблении фарфоровый сосуд. Потом доктор приоткрыл глаз, как кольнул лучиком, спросил врасплох: «Уезжать не собираетесь?..» Были сборы: Всевышний колеблет судьбы человеческие. Была незнакомая страна: в длину пять часов езды, в ширину – час. Страна, которую не заметишь на картах рядом с громадой прежнего места жительства. И по неведению казалось, будто ехать Ньюме на пляж в ходовые месяцы, когда завалы тел на песке – тюленями на лежбище, давка на берегу, каша в море, шум, крики и галдеж. Ньюма даже не понимал с расстояния, как же здесь тренируют летчиков сверхзвуковых самолетов: не успел разогнаться, и ты уже в другом государстве. Но вот он проехал по земле, вот он прошел по горам с впадины на косогор, обходя валуны с проклянувшимися на них цикламенами, посидел в тени у капельного источника, попил водицы, скопившейся в выемке, размял в ладонях плод хлебного дерева, углядел непуганую куропатку на склоне, орла в вышине, ящерку на камне, послушал весомую тишину, что наполняла просторы его пребывания, ощутил размах после стесненности, и явилось ему понимание, одним из первых: для человека бесполезны расстояния, которые ему не охватить. Человеку нужны территории, которые можно обойти пешком. Которые хочется обойти пешком.

Ньюме Трахтенбергу известно, что этажом ниже живет одинокая женщина по имени Авива, и это его волнует. Авива – социальный работник. У Авивы на учете много несчастных. Одних бьют мужья. Другие колются. Третьи убегают из дома, а думают – от себя. Четвертые решают сложный вопрос: слетать в Катманду или застрелиться. Пятые – это русские: их совсем не поймешь. Даже с переводчиком. Унылый, помятый, бедами комканный старик с разрушенным лицом и железными зубами, конопатый от неисчислимых некогда чирьев, перекрученный – одни жилы, машет пучком зеле-

ни перед носом такого же помятого, неотличимого от него двойника, хрипит в перегоревшей ярости: «Этот лук я буду сажать на твоей могиле!..» Первый – бывший арестант: загублены годы на лесоповале. Второй – бывший следователь: загублено здоровье на бесконечных ночных допросах. Оба получают одинаковое пособие. Оба в очереди, плечом к плечу, в несбыточном ожидании казенной квартиры, коротая время в разгадывании кроссвордов. Авива страдает за своих подопечных. Авива страдает и от них. Где-то сотворилось землетрясение, могучие его толчки, содрогание глубинных недр, и наплыла нежданная волна, обрушившись на мелководье с шумом-грохотом, нехотя откатилась назад, оставив выброшенных на этот берег, диковинных и необъяснимых. Которым надо обвыкать. К которым надо привыкать. Это нашествие «русских» изменило облик земли: иные лица с походками, иная память, биотоки души и тела, музыка речи на улице. Мама у Авивы живет в кибуце. Мама Авиву утешает: «Когда мы появились, тоже страдали от нашего нашествия». – «Я не появилась, – говорит Авива. – Я здесь родилась».

Авива утверждает, что в квартире под ней слышны по вечерам голоса, – но кто поверит одинокой женщине, страдающей от наплыва желаний? В квартире под ней практиковал геронтолог Сасон, притягивая всяких и отовсюду, ибо разгадал великую тайну: ходят по свету люди, чьи умственные способности превышают меру их надобности. С такими труднее всего. С такими надо долго разговаривать, чтобы распознать уныние вяло текущей жизни. Пришел рохля, спун, снулый тускляк – от скудости дел и узости речи. Сдутый, обмякший – мешком ненаполненным, будто мыши выели содержимое, бобовое с фасолевым, оставив порожнюю шелуху. Сел. Посопел всласть. На лице апатия, в мозгах порожняк. «Что у человека за дума?» Молчал. Выдыхал. Думы не было никакой. Сасон сказал: «Первый сеанс через неделю. Останетесь довольны». Через неделю его завели в комнату. Включили прибор под потолком. И спун стал отбрасывать не свою тень. Бравую, боевую, крутоплечую, как винты подкрутили и понаставили подпорки. Это его утешило, но как-то вяло. И вяло умилило: «Надо жену позвать. Пусть посмотрит». Тень согласно кивнула головой, и спун возжелал большего. «Мне недодали, – сказал. – Всю жизнь недодавали. Желаю заново». И геронтолог Сасон сотворил для него такую жизнь, где все были вокруг него, а он в центре. Позвонил Курода-сан из Токио: «Ах, как я тебе завидую!» Позвонил Боб Симпсон из штата Огайо: «Вот жизнь, достойная подражания!» Позвонил Санчо Марчелло Альварес из Монтевидео – за тем же делом. Но это недешево стоило.

Нервного Ицика настораживало, когда по лестнице поднимались старики, тусклые и погасшие, чтобы подзарядить у Сасона скисшие аккумуляторы. Это тревожило Ицика, приоткрывая оконце в нехоженые годы. Судьба вела Ицика, не иначе! Ему бы на улицу Хазан, а он приехал на Хазон. Ему бы дом семнадцать, а он выбрал седьмой. Ему бы пятый этаж, а он позвонил на четвертом.

Дверь открыла Ципора, и Ицик возопил без колебаний: «Родник запечатанный! Ты-то мне и нужна!..» Она не соглашалась – он худел. Она колебалась – он страдал. Она согласилась – была свадьба. В зале под названием «Парадиз». Где зеркала до потолка, зеркала на потолке, искусственные лилии посреди неприхотливого завала камней, заманчиво журчащий родничок из запрятанной водопроводной трубы. Невеста была неотразима: нежная смуглость, доверчивая беззащитность, глущие глаза в пол-лица, будто вынырнула из восточной сказки с шейхами, слугами, опахалами – газелью на холмах благовоний, да и на Ицике неплохо сидел кремовый костюм с атласными отворотами. На входе гостей ожидал бар: виски, джин с тоником, вермут с апельсиновым соком, кусочки сельди на палочках, маслины без косточек, вдоль нарезанные морковки и блюдо пряной тхины, в которую обмакивали сухое печенье; мальчики в черном торжественно разносили на подносах фалафельные шарики и некрупные сосиски в тесте. Была хупа. Ицик разбил стакан в память о разрушенном Храме. Гости уселись за столы, и понесли из кухни нескончаемой чередой: рыбу, и курицу порциями, и мясо ломтями, фаршированные перцы, рис, салаты, тертые яблоки с грецкими орехами, соленья невозможной остроты, кофе в маленьких чашечках и сладости, конечно же, сладости: ядовитого цвета желе на блюдечках, шоколадные муссы в розеточках, крохотные, на вкус, пирожные. Все ели и скакали под музыку, и Ицик скакал с Ципорой, а потом молодых усадили на стулья, подняли к потолку, в танце закружили по залу: было до слез радостно и проглядывало далеко-далеко, до скончания дней. «И станет твоя жена, – сказал дед Ицика, праведный Менаше, – как плодовая лоза в сокровенных покоях твоего дома...» Назавтра – после ночи отрады, когда в бурлении чувств, до утра, цокал коготочками по кровле танцующий демон крыш в туманных, взвихренных от восторга одеждах – они пошли в магазин и купили красавец-мангал с набором шампуров. На мангалы была скидка; хотелось купить два, для дома и для выездов на природу, но молодые решили повременить, а подаренные на свадьбу деньги вложили в киоск с семечками и орешками. Так посоветовал безумный Шмулик, друг-конкурент, владелец прибыльного дела «Куплю всех и продам всех», а его советами Ицик дорожит. Еще в несмышлёные годы Шмулик наготовил из картона собственные деньги, раздал в детском саду, и они ходили наравне с официальными, по особому курсу, который Шмулик устанавливал по утрам, скупая у младенцев бутерброды и жвачку. Был скандал на весь детский сад, но Шмулика это не остановило и не остановит уже никогда. «Деньги хороши, когда их мало, – поясняет Шмулик. – Мало у других и много у меня. Вот и вся экономика». Безумный Шмулик обгоняет и затаптывает всякого, кто оказывается на пути, из-под носа перехватывает добычу в шныристых оборотах, а потому уже воздвиг дом-саркофаг: мрамор на лестнице, мрамор на полу, мрамор в ванной и туалете, беломраморные скамьи на газоне, чтобы поскорбеть при желании возле собственной гробницы, и

две гипсовые пантеры на входе, купленные по случаю, с электрическими лампочками изо рта – ни проглотить, ни выплюнуть. Ицик завидует безумному Шмулику. Ицик ходит его путями, но в квартире у него нет мрамора и нет пантер, а из излишеств стоит лишь аквариум, купленный для детей. В аквариуме рождается крохотная рыбка: два глаза и прозрачный хвостик. За ней охотятся рыбы побольше, а эта малявка уже знает, что надо спастись от хищников. И Ицик знает не хуже.

Лёва Блюм тоже спасался от хищников в день бедствия и мрака: каждому свой срок и свой аквариум. Была опушка редкого ельника. Был крик-предостережение. Выстрелы на окраине городка. Стоны. Пьяные крики. Полыхание огней над крышами. А Лёва сидел под ёлкой, на голову сыпалась мокрота, будто кто-то плакал над ним, плакал за него; душа Лёвы иссыхала от горя, сердце спекалось в камень: если проткнуть, и кровь бы не потекла. Ночью он пробрался к себе, но не нашел родителей, не нашел братьев-сестер, а на двери висел чей-то замок. Подобрал во дворе мешок, накинул на голову, чтобы уберечься от мокрого снега, взял в руки палку и ушел во мрак. «Кто там?» – спросили из-за двери. Ответил: «Бездомный человек просит убежища». – «Мы не открываем по ночам». То была дальняя деревня. То было посреди разбойных лесов. В избе жили баптисты, у которых отец Лёвы скупал картофель. «Ну и времена наступили! – сказал Лёва. – Сын Израиля просит убежища, а ему отказывают». Дверь отворилась, и отворились сердца тех людей. Хозяин сказал: «Важного гостя привел Господь в наш дом. Вставай, жена, поблагодарим Создателя». Они опустились на колени и вознесли хвалу Тому, Кто доверил им приютить сына Израиля. Встали от молитвы. Усадили Лёву за стол. Поели картошки с молоком, а потом хозяин сказал: «Я вижу, ты грустный и озабоченный. Вот, я спою псалом Давида, быть может, он утешит тебя: «Бешув Адойной, бешув Адойной эс шивас Цийон...» – «Когда возвратил Господь пленников Сиона, были мы как во сне...» А хозяйка добавила: «Придет день, и будет у тебя семья, картошка с молоком на столе...» Изгнание искупает грех. Скитание искупает грех. Лёва Блюм пережил тот ужас с послевоенным скитанием, взошел, наконец, на корабль, чтобы обрести покой, и на палубе ему повстречалась тихая девушка Броня. Длинноногая и длиннорукая. Большеротая и большеглазая. С тоненькой фигуркой ребенка и тяжелой грудью женщины. С нежно-розовым отсветом на щеках, который пробивался изнутри, как затаившийся до поры огонь. Они плыли долго вдоль береговых извивов, прячась по бухточкам от английских катеров, и времени достало на сближение – с первой болью и первым облегчением. А впереди была незнакомая земля – затоптанной тропой меж материками, над которой держат путь перелетные птицы; впереди была непривычная для Лёвы война. Он бежал по полю с винтовкой в руках; из полицейского участка на бугре строчили по нему из пулеметов, а с горы наблюдали монахи-молчаливники, не одобряя и не осуждая. Командир кричал команды на непонятном еще языке,



но Лёва команд не понимал и потому, быть может, не взял тот участок. Его ранило в пах, и он лежал до ночи на поле, под свирепым солнцем, всхлипывая от боли. Печалилась земля. Восточный ветер поднимался из пустыни. Исыхали источники в долине скорби, где расположилась на привале сытая смерть. Дыхание жизни покидало Лёву, а наглые мухи роились поверху, питаясь его слезами, потом и кровью. Лёва страдал от раны долгие годы, ибо нарушилось влечение плоти, а Броня ждала с великим терпением, чтобы пришло, наконец, покачивание на волнах с прежним облегчением. Ребенка называли Давид. Давид Мендл Борух. Мендл – это отец Лёвы: сгинул во рву на окраине невидного польского городка. Борух – отец Брони: дымом вознесся в Треблинке, робким напоминанием Небесам, что на земле не всё благополучно. Давид Мендл Борух живет в религиозном поселении, родителей видит редко. Давид преподает в иешиве. У него три дочери, восемь сыновей, и Броня ведет список имен, чтобы не перепутать. Сарра. Ривка. Рахель. Иегуда. Дан. Эфраим и Шимон. Реувен и Иссахар. Звулун и Ашер. Когда старики навещают Давида, крутятся возле дома неисчислимы ребятишки – не распознать своих. Которые закричат: «Саба приехал! Савта!..» – те и внуки. Блюмы недосчитались с того помрачения многих и многих, но через пару поколений потомки Давида восполнят семейную потерю.

А гранаты на дереве лопаются от багровой своей переспелости. А зачарованный свидетель на крыше высасывает одному ему доступные голоса, что отзвучали, недозвучав: язык гор, шелест трав, шепот зверей, говор демонов, громовые раскаты с зависшими градинами, задержавшимися на века до будущего употребления. Звуки не пропадают. Звуки заносит песком вместе с развалинами великолепных строений, а когда откапывают те развалины, звуки пробуждаются от спячки. От слоя к слою. Сумей только распознать. Крики детей на улицах. Призывы царских глашатаев с городских возвышений. Блеяние коз, сбереженное в сохранности. Нескончаемый рокот каменных жерновов, что перемалывают ячменные зерна. Вопли разносчиков воды: «Вот вода для того, кому хочется пить! Вот вода!..» А к ночи – легкие шаги проверяющего караулы, негромкие отклики часовых, что высматривают в семь глаз: «Человек с Храмовой горы, мир тебе!» Сонные бормотания на крышах, тихие шаги по улице, голос спросонья: «Сторож, скоро ли утро?..» Сторож отвечает: «Скоро утро, но пока еще ночь». Луна заваливается за дальний косогор, небо сереет над горами Моава, глашатай взывает: «Вставайте ото сна, козны, левиты, люди общины! Вставайте для служения!» Трижды трубят трубы. Ворота Храма открываются. И наступает рассвет...

## 4

С рассветом Лёва Блюм выходит из дома в неначатый еще день. С рассветом привозят газеты, сбрасывают возле двери ящики с молоком, и Лёва, покряхтивая, перетаскивает груз в лавочку.

Это ему не по возрасту, и дело не такое уж прибыльное – стоило бы его прикрыть, но Лёва откладывает решение, чтобы продержаться на краю старости. «Ганцер кнакер», – сказала бы жена его Броня, что в переводе означает «воротила», «большой делец», но Броня молчит, Броня давно замолчала, потому что за пятьдесят лет совместной жизни они переговаривали уже обо всем, и эти слова она повторяла ему не раз: «ганцер кнакер».

Вышагивают с рассветом покорители мусорных баков на утреннее неспешное насыщение: сухие, зноем опаленные коты с кошками с треугольными, книзу заостренными мордами и безжалостным взглядом немигающих глаз. Проходит первый автобус. Невыспавшийся шофер понимающе взглядывает на Блюма, позевывая за компанию. Юркий погромыхивающий грузовичок увозит на скорости мусорное хранилище, разбрасывая на повороте арбузные корки и пластиковые бутылки. Дранный в боях кот восседает поверху, увлекаемый в неведомые края, – охранителем помойных богатств. Сигнализация кричит не по делу из машины нервного Ицика: «Ой, украдут! Ох, помогите!..» Перебегает дорогу нечёсаная Ципора в халате и тапочках, поторапливает медлительного Блюма: молоко детям, сигареты Ицику, пачку молотого кофе – себе, на долгий день. «Готовь себя к старости, – хочет сказать Лёва Блюм. – Спасибо потом скажешь». Но Лёва молчит. Ципора молчит тоже.

Выходит из дома грустная Авива, с трудом втискивается в крохотную свою машину, без желания укатывает на работу. На улице, перед конторой, уже полно; очередь занимают с рассвета по неистребимой привычке, пихаются локтями, переругиваются, только что не пишут номера на ладонях несмываемым химическим карандашом. Авива проталкивается через толпу, и первыми к ней заходят две женщины, молодые на тело, старые на лицо. Обе в сарафанах и тапочках. Обе в цветастых косынках, концами которых утирают глаза и нос. Еврейская женщина Люба приехала из Сибири. Обжилась. Поскучала. Пригласила в гости закадычную подругу Глашу. Обнялись. Слепили на радостях пельмени. Откупорили бутылочку: «Со свиданьем!» Спели на два голоса: «Самолет летит, а под ним вода. Уехал миленький и не сказал куда...» Поговорили по душам, за полночь. Поспорили до хрипоты, где лучше: здесь или в Сибири. Опять спели: «Самолет летит, а под ним овес. Уехал миленький и любовь увез...» Прикончили вторую бутылочку, с рассветом пришли в контору, спросили через переводчика: «Нельзя ли подруге Глаше остаться насовсем?» – «Нельзя», – сказала Авива. «Ваши у нас жили, – по-русски укорила Глаша, – а нашим у вас так и нельзя?»

Выскальзывает из подъезда Ньюма Трахтенберг, встает на остановке, отвернувшись от лавочки Лёвы Блюма, затылком ощущая его укоризненные взоры. Ньюма покупает продукты в городе, в большом магазине, где не здороваешься с продавцом, не говоришь о погоде, не продадут в долг хлеб с кефиром. Сверх Ньюминых сил – войти в лавочку Лёвы, посеяв несбыточные надежды,

купить на пару шекелей под неодобрительным взглядом хозяина, которому непременно надо заработать. Лёве не нажить богатств со своей торговли, Мордехаю Шимони не нажить тоже, а потому Нюме неловко смотреть в глаза Блюма, неловко – в глаза Шимони. В маленькой лавочке Нюма непременно покупает что-либо совсем ненужное, на приличную сумму, чтобы утешить хозяина, а в большом магазине можно затеряться среди прочих покупателей и выскользнуть на улицу без покупки.

Строгий переросток, убогий разумом, молча протягивает список, задумчиво поглядывая раскосыми глазами, как Лёва наполняет вместительную корзину. «Ты, – говорит переросток и тычет в грудь пальцем. – Как ты живешь? Насыщенно или не очень? Я живу насыщенно...» Получает от Лёвы сосучку на палочке и уносит корзину, не выразив излишних эмоций. Переростка зовут Давид. Сын Блюма тоже Давид. Давид Мендл Борух. «Мы – заноза, – утверждает он. – Заноза в арабском мире сто лет подряд. Заноза беспокоит – это нормально. Занозу хотят вынуть – тоже нормально. Она может прикинуться своей, но это ей не поможет. А может вести себя так, как и положено занозе. Она есть. Она тут. Она никуда не денется. Привыкайте, и поскорее». Он прав, Давид Мендл Борух. Давиду возражают: «Мы устали от войн. Устали от взрывов. Требуется немедленное решение». Они правы. Давид говорит: «Нет немедленного решения». Он прав. «Вы устали? – говорит он. – Сядьте в сторонке и отдохните. Не мешайте тем, у кого есть еще силы». Опять он прав. Давиду отвечают: «Нет здесь сторонки, где можно было бы отсидеться». Они тоже правы.

За углом размещается школа. Дети в оранжевых жилетах регулируют движение на перекрестке: когда ехать машинам, когда школьникам переходить дорогу. Они выступают сонной обреченной походкой, за спиной обвисают тяжеленные ранцы, в которых запяталась невостребованная мудрость, а на перемене прибегают к Блюму за тягучими резиновыми сладостями, наспех дожевывая домашние бутерброды. «Что ж ты бросаешь хлеб, да еще с сыром? – в огорчении скажет Блюм. – Доешь на другой перемене». А тот ответит: «У меня еще есть». Дети не знают голода, и для Лёвы это неразрешимый вопрос: хорошо оно или плохо, когда в детстве не дано познать голод?

Вышагивает через дорогу диковинный мужчина на тощих журавлиных ногах, с выступающими на стороны коленками, покупает у Лёвы баночку простокваши. Затертые на заду шорты. Разношенные туфли. Рубаха, расстегнутая на груди. Видно со стороны, что к старости ненадолго вернулась легкость. Ловкость и упругость. Неутомимость и неуголимость. Пружинки в ногах и пузырьки в голове. Морщинистый хохотун Боря Кугель катает по больничным коридорам тележку с бельем, разносит по палатам подносы с едой. Доброволец Кугель заглядывает в палату к язвенникам, радостно приветствует с порога: «Сердечный привет желудочникам!» Заглядывает в кардиологию: «Желудочный при-

вет сердечникам!» Боря прожил до старости, не поддаваясь никому: жене, жизни, самому себе, – этому не поддается и теперь. «Называйте меня – Гуляющий по полям. Ищущий и обретающий – называйте. Восходящий из пустыни и Пребывающий в пути». Он убегает из дома, когда надо что-то решать, и ночует у Ньюмы Трахтенберга; возвращается назад, когда всё уже решено или отпало за ненадобностью. «Я никому, – повторяет Боря как заклинание. – Никому на свете! Не позволю испортить остаток моих дней...» Кугель не допускает посторонних в свое жилище, оберегая независимость, и Ньюма завидует его самостоятельности, Ньюма влюблен в него с первой их встречи в нескончаемых больничных коридорах. Среди великого множества стариков, к которым у него повышенный интерес, Ньюма выбрал Борю Кугеля, Ньюма желает быть таким же легким на старости и просит открыть секрет. «Берегите силы, – советует Кугель. – Не воюйте с сержантами». – «И всё?» – «И всё».

Выскакивает из подъезда нервный Ицик, на скорости уносится в недостижимые дали, где покупают всё и с выгодой затем продают: рука на руле, телефон к уху. Рядом с ним и навстречу ему просвистывают на машинах иные Ицики, тоже нервные и тоже настырные, пилят шоссе рубчатыми колесами до иссыхания мозгов – туда-обратно, туда-обратно: либо они его перепилят, либо оно их. Ицик живет с Ципорой в любви и согласии, но с переносным телефоном у него особые отношения, на грани интимности. Телефон при Ицике постоянно: в машине и на улице, возле мангала и в туалете; даже в самые волнующие моменты Ицик прерывает отношения с женой, чтобы откликнуться на очередной призыв и не упустить выгодную сделку. Раз упустишь, два упустишь – и отстанешь, и не догонишь, в характере, не дай Бог, проявится безнадёжность, а от безнадёжности ему погибель. Ицик получает телефонные сигналы в любое время, а Ципора терпеливо ожидает в готовности, теплая и покладистая, понимая своего мужа и принимая таким, каков есть. Кто же еще примет его и поймет? «Ицик, – говаривал бывало дед, праведный Менаше, – недостающего не исчислить». Дед Ицика жил в жаркой земле при обильных водяных потоках, в местах влажных и затенённых, и жил он неплохо. У деда была лавка. У деда был ореховый сад, сад гранатовый и верный с того доход. Явился ему во сне Элиягу-пророк и сказал: «Сын мой! До коих пор будешь скитаться меж народов? Утеснён и унижен Израиль. Земля пребывает в запустении. Святой город разрушен. Его нужно отстроить, чтобы оживить сердца сокрушенных, привявших спрыснуть водой, а ты сидишь в праздности, молотую муку мелешь...» Опал цвет с граната. Опал с миндаля. Назавтра праведный Менаше продал лавку с садом, купил пяток ослов, нагрузил их поклажей, посадил сверху жену с детьми и отправился в путь по земле иссушенной, через пустынные неплодоносные края Гей, Ция и Нешия, покинутые людьми и населенные диким зверем. За полгода он добрался до земли Тевель, нуждающейся в поливе, где лес на горе, вы-

сеченные в скале колодцы, ручьи молока с финиковым медом, – и вкусил от плодов этой земли, вобравших вкус и аромат всех плодов мира. Он поселился в городе, обнесенном стенами, на который пришлось девять мер красоты – из десяти, отпущенных миру, девять мер мудрости и страдания, и разместил гнездо свое на скале. Дед Ицика торговал зеленью на рынке, а по вечерам, на исходе субботы, когда на небе появлялись первые три звезды, сходились соседи, и праведный Менаше рассказывал им поучительные истории. «Жила-была птица. Птица как птица, а у нее – три птенца, которые не научились еще летать. Понадобилось им переправиться через широкую и бурную реку; подхватила птица одного из птенцов и полетела. На середине реки она спрашивает: «Скажи, мой дорогой, когда я постарею, и не будет у меня больше сил, ты также возьмешь меня под крыло и понесешь через реку?» – «Конечно, мама, – ответил птенец. – Что за вопрос?» – «Ты лжец», – со вздохом сказала птица, оттолкнула его от себя, а он упал в реку и утонул. Вернулась птица за вторым птенцом, подхватила его под крыло и полетела. На середине реки спрашивает: «Скажи, дорогой, когда я постарею, и не будет у меня сил, ты возьмешь меня под крыло и перенесешь через реку?» – «Конечно, мама, – ответил птенец. – Какие могут быть сомнения?» – «Ты лжешь», – со вздохом сказала птица, оттолкнула его от себя, а он упал в бурные воды и утонул. Вернулась птица за третьим птенцом, подхватила его под крыло и...» На этом праведный Менаше замолкал и говорил после паузы: «Продолжение через неделю». Всю неделю соседи ломали головы, споря между собой об участии третьего птенца, а праведный Менаше торговал зеленью на рынке и секрета не раскрывал. На исходе следующей субботы, когда на небе появлялись первые три звезды, вновь сходились соседи, и дед Ицика досказывал ту историю: «Вернулась птица за третьим птенцом, подхватила его под крыло и полетела...»

Утро наступает. Покупателей больше нет. Блюм садится на стул возле двери и задремывает. Видится Лёве смывтый расстоянием силуэт в заснеженной ночи, слышится крик-предупреждение. «Дорогой и уважаемый мною Лёва! – написали из дальней деревни на тетрадном листе в клеточку. – Твое сердечное письмо явилось для нас, как масличная ветвь в клюве голубя, принесшего Ною весть, что воды потопа сошли. (Книга Бытия, глава 8, стих 11). Я очень благодарен тебе, что не забываешь меня и ставишь в почет в великом городе народов, посадив деревце в мою честь. Что я есть? Я недостойн этого. Почести в нашем при-  
с-корбном мире проходят со смертью, как туман. Я имею уже восемьдесят девять лет моей земной жизни. Алёна тоже слаба, но ходит еще с палкой в руках, пасет нашу корову. Я прочитал ей твое письмо, она плакала, как малое дитя, и приветствует тебя библейским текстом. (Книга Чисел, глава 6, стих 24 и 26): «Да благословит тебя Господь и охранит тебя... Да обратит Господь лицо Свое к тебе и даст тебе мир...» Целую тебя. Твой Павко».

## 5

День катится чередом, подступая к полудню. Лёва спит возле лавочки, голову уронив на грудь, а жена его Броня сидит у закрытого окна и вздыхает безостановочно, который уж год подряд, вздохами сожаления, безответной жалобы, умудренной печали, – можно позавидовать такому постоянству, можно, конечно, и пожалеть. Вздохи просачиваются наружу через оконные щели, наполняют мир надувной резиновой игрушкой, но где-то травит не приметно через игольчатый прокол, где-то непременно травит: крапивою зарастают могилы, бурьяном глушится память, вздохи растворяются без остатка в необогретых запредельных пространствах, легким инеем оседают на почве; со стороны кажется, что вздох – это уже не вздох, а обычный выдох – надобность организма. Вдох – выдох. Вдох – выдох. Для кого выдох, а для кого и вздох. Не вздохнешь – сердце разорвется воздушным шариком. Который ненароком взлетел в поднебесье. Внутри у которого нестерпимое давление, а вокруг бездушная пустота. «Крехцн, – шутил по поводу Лёва Блюм, когда было еще желание пошутить. – Ты у меня мадам Крехцн». «Крехцн» – в переводе на общее понимание – означает долгое «ох». Но может означать и иное.

Видит Броня, как ковыляет по мостовой крючком гнутая старуха на гнутых от старости ногах. Затертая кофта обвисает на плечах. Пузырятся панталоны до колен – голубые, в розовый цветочек, с драными кружевами понизу. Ноги перевиты вздутыми венами, глаза под опавшими веками глядят в землю, тяжеленные сумки оттягивают руки. Броня знает эту старуху, ее всякий знает: ходит по городу, ночует в подъездах. Бродяжка. Бездомница. Вещунья и драчливица, не признающая родства. Останавливает на улице прохожих, говорит треснувшим голосом: «Меня похитили. И просят за это выкуп». – «Велик ли выкуп?» – любопытствуют. «Два шекеля». Одни лезут в карман за деньгами, другие шарахаются в испуге, третьи веселятся: «Два шекеля? За такую умненькую, хорошенькую старушку? Это же даром!» Старуха входит в лавку, берет булку с баночкой простокваши, садится на стул рядом с Лёвой. Причмокивает с натугой, разжевывая тугую мякоть, потряхивает баночкой, высасывая содержимое, но Лёва ничего не слышит. Лёва спит. Покончив с едой, старуха задремывает. Ее руки держатся за сумки. Ее голова склоняется Лёве на плечо: она тоже спит.

А в квартире у Авивы звонит телефон. Умная машина отвечает доверительно грудным волнующим голосом, приберегаемым для заветного случая: «Сообщите всё, что у вас на душе, и я непременно откликнусь». Авива родилась и выросла в кибуце, работала в коровнике, и ходил рядом Йоси, большой, косматый, с буграми мужской силы, пропахший землей, навозом и травами. Он поднимал ее без усилий и вертел, укладывая на солому. Он брал ее без излишних игр, как бык берет себе подобную, и Авива обмякала от неизбывной бездумной мощи. Он завершал своё и отправлялся неспешно по очередным делам, оставляя Авиву в пустоте жела-

ний возле теплых, шумно вздыхающих созданий. Потом они сговорились, ушли в обнимку в город, полный неучтенных соблазнов и недостижимых красоток, среди которых затерялась деревенская Ави́ва. А когда обжилась, наконец, и свыклась, Йоси не оказалось рядом, Йоси ушел молча, без слов, — он всё делал молча, в коровнике и в доме, на соломе и в постели. Ави́ва надумала отравиться, приготовила ядовитое зелье, но пасмурно в горах в декабре, зно́бо в доме, зно́бо на душе — решила прежде обогреться. Свернулась калачиком, всласть наплакавшись. Задремала под пуховым одеялом. Провела в тепле ночь, заспав плохое. А наутро солнышко проглянуло над горами: «Здравствуй, Ави́ва!» — и полегчало. Через годы рассказала про то папе с мамой, и папа укорил неприметно: «Придешь на небо по собственной дурости, постучишь в ворота: здравствуйте, вот она я. А они в ответ: тебя кто звал? Нельзя так, Ави́ва. Ты же культурная женщина. Ты разве приходишь в гости незваной? Иди назад, жди приглашения...» А Ривка, лучшая ее подруга, призналась: «От меня тоже ушел друг. Я тоже хотела отравиться. Весь день думала об этом, а к вечеру закрутилась и забыла». Ави́ве звонят теперь женатые ловеласы, чтобы насытить вожделение, но она не поддается на уговоры. Ави́ве звонят одинокие мужчины в поисках тепла, наговаривают с напором записывающей машине: «Я по объявлению. Меня интересуют вы, ваша внешность и ваша профессия. Давайте повидаемся, чтобы взглянуть друг на друга и уточнить намерения». Ави́ва отправляется на встречу и смирно сидит на скамейке, уложив руки на коленях. Мужчина, наконец, появляется, очень даже неплохой мужчина, способный подарить отраду очень даже неплохой женщине, смехом наполнить ее уста, но Ави́ва не решается завести разговор, и он топчется вокруг той скамейки, с нетерпением крутит головой, а потом уходит, проборматывая ругательства, даже не догадываясь, что эта полная, солидная женщина могла напечатать такое объявление: «Оди́нокая. Образованная. Интересная. Сто шестьдесят пять, тридцать плюс. С чувством юмора и романтическими наклонностями. Намерения серьезные».

Бродит возле дома старик с томлением во взоре, неприметно взглядывает на вывеску: «Цви Сасон, врач-геронтолог». Геронтолог Сасон разгадал секрет скорого старения: выпадающие на пенсию, как выпадающие в осадок. Они чахнут и угасают, злятся и ворчат на нынешних, желая покомандовать напоследок, дать ценный совет, ибо не всякий подходит к могиле с обильной жатвой, в покое и довольстве души — от разумной работы и приметных жизненных возвышений. Пришел клиент с телефоном, сказал в разъяснение: «Вдруг позвонят, попросят помощи...» — «У вас?» — «У меня, конечно у меня, почему бы и нет? Вот, например: «Что нужно сделать для того, чтобы...» Я много думал над этим вопросом. Я думал, а никто не спрашивает». — «Им не надо», — сказал Сасон. «Мне надо, — сказал клиент. — И я отвечу. Я обязательно отвечу. Что нужно сделать для того, чтобы... Алло! Алло!» — «Вам позвонят, — пообещал геронтолог Сасон. — И попросят помощи». Он

приходил на прием. Ему звонили. С ним советовались: «Что нужно сделать для того, чтобы...» Он отвечал: кратко, разумно, убедительно. И молодец на глазах.

Выходит из подъезда Ципора: один ребенок в коляске, другой цепляется за подол. Ципора округлилась после родов, заглубили черты лица, проявилась уверенность – не в себе, нет – в налаженной семейной жизни. Первым родился Алон, и Ципора кормит его грудью по сей день – по неопытности жалостливого сердца. Алону три года, но он с удовольствием сосет маму, отпихивая младшую свою сестричку; Алон лезет к Ципоре за пазуху на улице, в гостях, в автобусе: «Дай сисю!» – отогнать невозможно. Поехали они в Эйлат, вышли на пляж, а там – сплошные сиси, без прикрытия. Увидел, с воплем помчался по берегу: «Дай сисю!..» Догнали и оттащили. Со вторым ребенком Ципора не повторяет ошибок, а с третьим будет совсем просто. Вот только Ицик разделается с заказами, и они полетят в Турцию, чартерным рейсом, со скидкой, без детей и телефона, и там, в отеле (а отель войдет в стоимость билета), после ужина с вином (а ужин войдет в стоимость отеля), они вернутся в свой номер и без помех сделают еще одного ребенка. Пусть это будет мальчик: нервный Ицик желает мальчика. Пусть будет девочка: Ципора на всё согласна, мягкогрудая и щедрообрядая, назначенная к неспешному зачатию и умелому опростанию. Но это, конечно, мечты; ребенка они опять сотворят мимоходом, в промежутке между телефонными звонками, ибо нервный Ицик никуда не поедет, ни в Турцию, ни в Грецию. Стоит отлучиться на пару дней, и упустил возможность, и перехватили сделку – мечту жизни, а безумный Шмулик, друг-конкурент, владелец прибыльного дела «Куплю всех и продам всех», в который уж раз жмурится от удовольствия и пристраивает к дому новый этаж, обкладывая мрамором изнутри и снаружи. Шмулик не платит налоги, ни единого шекеля, и платить не собирается. «Они мне еще должны», – уверяет безумный Шмулик, имея в виду банки, министерства, налоговое управление с таможней, службу социального страхования, муниципальный совет, электрическую компанию, почту и телефон, соседей ближних и соседей отдаленных, а также народ Израиля поодиночке и в совокупности, разбросанный по континентам и проживающий на этой земле. А нервный Ицик с утра до ночи гоняется за увилистой удачей, чтобы ухватить за хвост, но достаются ему малые перышки. И привкус во рту, вечный привкус на языке, будто лизнул клемму у батарейки. Ицик не застал те батарейки, Ицик не лизал их клеммы, а привкус устоялся надолго, кисло-сладко-горький привкус неудачи. «Ицик, – говаривал дед, праведный Менаше. – Радуйся, но не смейся. Заботься, но не грусти. Про всё, что ни случается, нужно сказать: и это к лучшему».

В квартире у Ньюмы покряхтывает кресло и поскрипывает перо. Ньюма Трахтенберг на работе, а за столом сидит Боря Кугель, водит пером по бумаге, мучаясь невысказанным словом: плохо написать так же трудно, как и написать хорошо. Стол привезен оттуда: за ним так удобно сидеть. Кресло оттуда. И книги. Порт-



рет над столом, голова к голове: папа Моисей с мамой Цилей, возле престарелой бабушки Муси, которая готовила фаршмак, гефилте кишке, струдель и цукер-леках, а также освященную традицией фаршированную рыбу, предмет неутомимых насмешек здешних лицедеев: эти ашкеназы – ха-ха! – едят скользкую, холодную, сладковатую рыбу под скользкой, холодной, краснойбурой дрожалкой – ихса! Стоит на столе новенький компьютер, но Боря им не пользуется. «Я из другого века, – говорит Кугель. – Мне многое не по времени. Компьютер не для меня. Факс не для меня. Об интернете и говорить нечего». Боря макает перо в чернильницу и вписывает добавления в «Лексикон современных понятий»: «безразмерная индивидуальность», «приватизированное Я», «человекоподобная жизнь» с «быстрорастворимой грустью», «обезжиренные чувства» с «грубошерстной нежностью», и напоследок – «горячие ласки холодного копчения». Боря укладывает листы в папку, почесывает лоб, шею, живот – признак нескрываемого удовольствия, мурлычет под нос от полноты чувств: «Мы на лодочке катались: Сырдарья, Амударья...» На папке написано категорически: «Уничтожить после моей смерти! Но можно не уничтожать». На стене висит самодельный плакат, на котором выведено тушью: «Всякий человек содержит в себе всю Вселенную». Это написал Ньюма, выяснив в подробностях у надежного человека. Ньюма Трахтенберг тоже содержит в себе Вселенную, но этого как-то не ощущает в одиночестве существования. Однажды в тоске он заявился на стариковский сбор, где бурлил и пыхтел, дребезжал и подсказывал крышкой на закипающем чайнике шумный активист-общественник, что провел прежнюю блаженную жизнь посреди отчетов-заседаний, прений-одобрений, которые напридумало человечество поколениями буйных бездельников. «Экологически чистая душа идиота», – определил бы по «Лексикону» Боря Кугель. «Гройсе гурништ», – определила бы бабушка Муся, что в переводе с полузабытого означает «большое ничтожество», однако «большое» здесь неприменимо, «большое» предполагает удаль, широту, размах, чего нельзя ожидать от ничтожества; точнее ему подходит – «неуёмное». И под указку неуёмного активиста пожилые и очень пожилые пришельцы выводили нестройными голосами: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке...» Глаза отпахнутые. Глаза сощуренные. Доверчивые и подозрительные. Мудрые, усталые и больные. Растерянные. Изумленные. Затененные болью и страданием. Открывшиеся напоследок и закрывающиеся навсегда. «Молитесь за старость свою, – говаривала бабушка Муся. – Чтобы глаза видели, ноги ходили, рот пищу принимал». По окончании пения активист возгласил: «Намечается мероприятие. Для одиноких выходцев», и Ньюма эти замечательные слова забрал себе. «Биньямин», – окликают его на работе. Мимоходом. Просто так. Но Биньямин – он же любимец Всевышнего. В уделе Биньямина располагался Храм и жертвенник Храма. Колено Биньямина превозмогало силы зла и отвращало пагубные пове-

ления. «Я не Биньямин, – отвечает он. – До Биньямина надо еще дожить. Я Ньюма, одинокий выходец».

На крыше, спиной привалившись к бойлеру, сидит зачарованный свидетель в согласии с собственными помыслами, глядя вдаль невидящими глазами. Что поднимается к нему из пустыни? Возвышение из пустыни. Разъединение из пустыни. Истребление и смерть. Видения, превышающие понимание. Потери и утраты в оцепенении духа. Пророчество – оно тоже из пустыни. Подарки Всевышнего. Знамения с чудесами, о которых не рассказать. А из окна повторяется в неисчислимый раз, с невозможной надеждой на удачу: «Сообщите всё, что у вас на душе, и я непременно откликнусь...»

## 6

Из сочинений Бори Кугеля, исследователя человеческой природы:

Ньюма Трахтенберг худ и неприметен до крайности, а потому не любит бывать у врача. Врач скажет: «Раздевайтесь», Ньюма снимет пиджак – и что? что останется от него? где и сколько? Не будет же врач ходить по комнате в поисках места, куда можно приложить ухо и сказать: «Дышите». Ньюма Трахтенберг так худ, что способен почесать позвоночник со стороны живота. Ньюма так неприметен, что на него не поглядывают женщины, даже разведенные: «Эльф. Эльф и только! А с эльфа какая корысть?» И лишь одинокие, внуками позабытые бабушки ценят Ньюму за насытную его прожорливость: не успел войти – пирог на столе. Ньюму Трахтенберга обожают мастерицы кухонного ремесла, которые в век диеты оказались не у дел.

У Ньюмы всё падает из рук, и он страдает от этого. В нем мечется неловкий человек, в отчаянии заламывая руки: «Не давайте мне. Споткнусь и уроню». Или: «Не просите: я позабуду. Не поручайте: ошибусь и перепутаю...» Человек втайне обижается на безобидные шутки, утешая самого себя: «Не хуже, чем у других», ибо и он некогда кричал от восторга, настигая на диване игривую и аппетитную Трахтенберг Е.П., в девичестве Собачонкину, по последнему выездному мужу мадам Еврейсон. «Как вы к себе относитесь?» – взглядом вопрошает человек. И ему отвечают без запинки – походкой, осанкой, разворотом плеч: «Серьезно отношусь. С уважением. Доверяю без оглядки. Надо будет – пойду с собой в разведку». – «А я... – вздыхает человек. – С опасением». И это примерно так. Однажды Ньюму пригласили на радио, включили микрофон, оставили один на один со Вселенной. Он сидел в студии за двойной дверью, будто в кабинете у большого начальника, и никакой звук не доносился оттуда, где вздыхало и шевелилось остальное человечество. Ньюма отвечал с опаской на нехитрые вопросы; всякое неосторожное слово срывалось с антенной вышки и уносилось прочь до Полярной

звезды, до Большой и Малой Медведицы, а невозможные на вид инопланетяне ловили это слово своими чувствительными антеннами, расшифровывали-растолковывали, по Нюминому случайному слову судили о земле-матушке. Он долго потом тревожился, размышляя о превратностях толкований, тревожится по сей час.

В один из дней на Нюму напрыгнул городской сумасшедший с блокнотом, завопил на всю улицу: «Трудности есть?» – «Трудности есть. Как нам без трудностей?» Тот бурно возрадовался: «Годится! Мне заказали трагедию! Разворот с фотографией! Рассказывайте – и покороче». – «Нет трагедии, – пояснил Нюма. – Есть сложности». – «Настроение чемоданное?» – спросил сумасшедший, на что-то еще надеясь. «Вовсе нет», – ответил Нюма Трахтенберг, ибо знал наверняка, тем чувством, которое дается не всякому: кто не сошел с поезда, тому и жить проездом. Общий вагон со скрипучими полками, перекипевшая вода с накипью из помятого бака, опостылевшая еда в промасленных кулечках, пыль на зубах, навечно волглые простыни, бездумный взгляд из окна на проплывающие мимо полустанки и колготные пересадочные станции. Сидя на чемоданах, не откроешься небу, и земля не откроется тебе. А оттого вечно будешь недобирать. Цвет этих пространств. Их воздух. Горы напротив, прочерченные по багрянцу заката. Руслы дождевых рек, где по февралю поспешает опуститься горьковатый розоватопенный миндаль – в немом изумлении от прелести своих совершенств. Кому он являет восторг в потаённых укрытиях гор, где некому на него глядеть? Небу являет, одному только небу, – вот пример для Нюмы Трахтенберга. «Я выбросил свои чемоданы. Приехал. Распаковал. И выбросил на помойку». Разворот с фотографией уплывал из-под рук, заодно уплывал некрупный заработок, но сумасшедший не желал сдаваться и, торжествуя, выпалил домашнюю заготовку: «В следующей! Жизни! Что бы вы пожелали?» Нюма сказал, слабо улыбаясь: «В следующей жизни я желал бы родиться здесь». – «Сумасшедший! – изумился сумасшедший. – Вы собираетесь снова стать евреем?» – «Кем же еще?» – «Я знаю?.. Шведом, к примеру». «Шведом» – это Нюму убило. «Шведом» – как косточкой по темечку. «Я не могу вообразить себя шведом. Что такое швед?» – «Швед – это хорошо, – сказал тот с придыханием. – Швед – это устойчиво». – «Откуда вы знаете? Можно вообразить себя в Швеции, но не шведом». Сумасшедший поскукнел на глазах: «Ваша история для газеты не годится. Им нужна трагедия. Желательно со смертельным исходом». И тогда в дело вмешался Боря Кугель, который всегда наготове: «Будет тебе трагедия. Записывай». И продиктовал с расстановкой, почесываясь от удовольствия: «Наилучшие решения жизненных проблем возникают после того, как становится невозможным их воплощение». – «Это трагедия?» – спросил тот ошарашенно. «Это трагедия, – сказал Боря. – И тебе за нее хорошо заплатят».

К вечеру заполняется дом от основания до крыши. Загораются огни за окнами: у кого с надеждой, у кого по привычке. Огни принимают усталые души, притомившиеся за день, квартиры принимают хозяев, которые ушли поутру и вернулись без ощутимых потерь. С облегчением потрескивает кровать: «Наконец-то...» С неодобрением бурчит холодильник: «Куда их носит? Ну, куда? Еды в доме – на месяц хватит...» С обидой низвергается вода в унитазе: «Стараяешься для них, стараешься...» Квартира принимает хозяина, будто жена принимает непутевого мужа, чтобы накормить, ублажить, уберечь до рассвета, когда он снова выпрыгнет из дома, как прыгают десантники из глубин обогретого самолета в обледенело опасный мир. Где падает кирпич с крыши. Сбивает грузовик на мостовой. Травит насмерть некачественная еда в кафе. Случайная связь заражает постыдной болезнью, чтобы погубить в мучениях. «Господи, – вздыхает Броня Блюм. – Своей смертью умереть не дадут. Послушаешь радио, согласишься телевизор, и квартиру убирать неохота...»

К вечеру Броня готовит мужу голубцы в соусе, фаршированную куриную шейку, чернослив с картофелем, но это не добавляет аппетита. За ужином Лёва Блюм без интереса сидит за столом, вилкой без охоты ковыряет в тарелке. К старости вся еда становится не горячей – подогретой, а оттого во рту пресно, на душе тошно, и невозможно поверить, что грыз с остервенением пареную брюкву, которую тайком приносила хозяйка: за ушами трещало. Лёва прятался в сарае под завалами соломы узником запоздавшей надежды, а к нему прокрадывался хозяин дома, неприметно склонял к своей вере: «Я тоже еврей. Только я духовный еврей...» В один из дней Лёва сказал так: «Разве это по совести? Разве по совести оказывать давление на того, кто зависит от тебя? Где вы были, когда убивали мою семью? Почему в ярости не разметали убийц и не пришли со словами утешения к тем, которых покинул весь мир? Сидели в своих домах, молились по нашей Книге, а в это время на ваших глазах уничтожали избранный народ». Он плакал. Он просил прощения. Он бормотал в смятении: «Ты прав. Ты прав...» Снится Лёве: бежит по городку, по Плацовой его улице, мимо красавицы-синагоги, обращенной в конюшню, мимо опустелого здания бывшего «Человеколюбивого общества», через княжеский парк с горбатыми мостиками, оранжереями, гротами любви и беседками наслаждений, а повсюду распахиваются окна-двери, высовываются соседи, пальцами указывают на невозможное: «Жид! Жид!...» Вся земля пребывает в покое – лишь Лёва мечется в страхе, истомлённый страданиями, прячется по лесам-оврагам, заползает в барсучьи норы, заваливает вход валежником, а за ним охотятся, его выслеживают и травят собаками несминаемые кожаные люди в скрипучих кожаных сапогах: пропадающий пусть пропадёт. Сколько лет прошло, а сны не меняются, во снах Лёве показывают то, чем наполнено его сердце. «Дорогой Лёва, – написали на тет-

радной бумаге в клеточку, – меня обличает совесть. Я мог сделать больше для твоего народа во дни бедствия...»

Броня сидит перед телевизором, перепрыгивая с канала на канал, но утешения это не приносит. Старики, как известно, множатся на свете. Земля полнится стариками, которые отстают заметно, как от набирающего скорость поезда, но события остаются вечно новыми, события молодеют и молодеют: интерес стариковский уменьшается. Забивают гол в чьи-то ворота. Скачут девочки с проступающими грудками на пороге соблазнительных объятий. Разыгрывают викторину с подарками. Заокеанская красотка наговаривает глупости под записанный заранее хохот. Три политика схватились намертво – не разнять, не угадать даже различия во мнениях, а Броня дремлет у телевизора, ожидая звонка от сына. Давид приезжал навестить стариков, и внуки разбежались по комнатам, осматривая и обнюхивая, ибо к приезду гостей Броня напекла грудку пирогов. Пироги с рисом. Пироги с капустой. Сладкие пироги с маком. Внуки бродили толпой по квартире в поисках развлечения; двое постарше таскали с кухни пироги и торопливо поседали в уголке, двое помельче держали малыша за ноги и легонько стучали головой об пол, чтобы не ябедничал, а Хана, жена Давида, сидела у стола, сложив руки, покойная и безмятежная, будто не она выродила эту компанию. Хана рождает каждый почти год; это для нее нормально, словно очередная беременность входит в круговорот природы, как смена дня и ночи, зимы и лета. У Ханы с Давидом подрастает Сарра, которую незамедлительно выдадут замуж, и они станут рожать наперегонки, мать с дочерью.

Давид возвращается домой по темной дороге – машина полна детей, а за деревом хоронится недруг его и ненавистник, готовый кинуть камень или выстрелить из автомата. Чтобы его закопали, этого недруга! Чтобы все мрачные сны, которые за жизнь повидала Броня, пали ему на голову! Броня выбрасывает из могил родных недруга до их седьмого колена, и каждому вослед ей есть что сказать, в чем обвинить и чем обесславить. Хорошо жить в стране, где от чужого горя и до тебя тысячи километров равнодушия. Здесь – всё близко. Все рядом. Броня беспокоится за сына с его семейством, а вместе с ней, того не ведая, беспокоятся многие, ибо на этой земле короткая цепочка до погибшего или пострадавшего. Убили на границе племянника сослуживца. Ранили на дороге мать сокурсника. Покалечили камнем жену сына двоюродного брата соседа. (Может, за дверью уже стоят с невозможным сообщением – офицер с санитаром, у которого заготовлено про запас для первой помощи, слушают голоса, смех детей, музыку из телевизора: сейчас они позвонят, и жизнь за дверью сломается навсегда.) «Господи! Чудесны деяния Твои! Ты подарил нам такой мир, в таком великолепии! Даже боль, Господи Милостивый – после нее Ты даёшь облегчение. Даже скорбь – просветляет и очищает. Даже муки – после них пронзительнее видение. Одно неправильно, Господи. Только одно! Родители не должны хоронить детей. Это неверно, Господи! Измени это – и мир возрадуется...» А Давид

едет по темной, опасной дороге, Давид размышляет: «Отчего нынешние решили: «С нас достаточно»? Почему этого не сделали предыдущие, замостившие костями наше обеспеченное настоящее?...» Нет ответа. «Беспечные! – взывает Давид. – Наивные из наивных! Мы расслабляемся, проживая нажитое. У нас не отбирают – мы отдаем. На нас не наступают – мы отступаем». – «Мы сильные, – возражают ему. – Никогда не были так сильны. Если надо, опять ударим». – «Ударяли уже, – говорит он. – Сила истощается попусту». Возможно, он прав, Давид Мендл Борух, отличный от прочих детей. Возможно, они правы. «Это наше, – говорит Давид, вглядываясь в темноту. – И это надо заселять». Он прав по-своему. «Это не наше, – возражают ему. – Это надо отдать и отгородиться навсегда». По-своему и они правы. «Как же мы отгородимся? – говорит Давид. – Где они возьмут работу? Кто их кормить будет?» Опять он прав. «Это не наша забота», – говорят они, но они неправы. А Броня прикорнула возле телевизора, видит мимолетный сон-утешитель. Снится Броне: звонит телефон. «Мама, – говорит Давид, – всё хорошо, мама. Они в нас стреляли, но они в нас не попали».

Возвращается с работы нервный Ицик, а на столе лежит повестка из армии, и Ципора уже развесила для просушки армейские его одежды. Ицика призывают на базу, на курсы подрывников. Установят взрывной заряд, выделяют шнур на шестьдесят секунд, офицер станет показывать, как следует поджигать. Подождёт – отрежет кусочек. Еще подождёт – еще отрежет, а нервный Ицик будет подсчитывать оставшиеся секунды: «Пятьдесят... Сорок пять... Сорок... Понял!» – завопит Ицик, а офицер-мучитель подождёт и отрежет, отрежет и подождёт заново, укорачивая надежду на благополучный исход, а потом они побегут сломя голову, чтобы не подорваться на том заряде, и офицер будет бежать сзади – так ему положено, подпихивая в спину: «Живее! Живей!..» Ицик спит, беспокойно вскидываясь на матрасе, а рядом посапывает верная его жена Ципора, готовая по первому требованию предоставить душу свою и тело. Рядом помалкивает верный телефон, готовый загукать через мгновение и поведать Ицику о заманчивой сделке, которая уплывает из-под рук. Спит Ципора, намаявшись за день, и не видит снов, никогда не видит. Спит Ицик и видит рынок: умытая морковь на прилавке, салат хаса, огурцы с гляцевитыми баклажанами, укроп с петрозилией, а под прилавком примостился он, маленький Ицик, держит деда за ногу. Это его постоянное место для игр и разговоров, сюда он не допускает никого, до криков и кровопусканий, и во сне нисходит на Ицика покой: возле деда всегда покой. Праведный Менаше очищает лук от шелухи, говорит между делом: «Кто знает, почему мы умоляем Всевышнего: «Господи, не внемли молитве путника?» Соседи-торговцы придвигаются поближе в ожидании очередной истории, Ицик под прилавком вострит уши, – рассчитавшись с парой покупателей, всласть помолчав, выпив стакан горячего сладкого чая, очистив от листьев кукурузные початки, дождавшись, пока торговцы распалятся от

нетерпения, праведный Менаше продолжает: «Потому что путники умоляют Господа: «Удержи дождь во время пути». Но как же так? Дождь нужен человеку и его посевам, дождь нужен и нам с вами, чтобы росли в изобилии овощи, а мы бы их продавали». Соседи-торговцы переглядываются в изумлении, готовые разорвать в клочья любого путника, который лишит их заработка, а праведный Менаше, срезая ботву со свеклы, ведет далее свой рассказ: «Жил на этой земле благочестивый рабби Ханина бен Доса, и каждому было известно, что к словам этого праведного человека прислушивались на Небесах, исполняя всякую его просьбу. Однажды рабби Ханина шел по дороге, держа в руке маленькую корзинку с солью. А соль – надо сказать – в те времена стоила недешево, и для нищего рабби Ханины это была ощутимая затрата. Шел он и шел, но вдруг начался дождь. Спрятаться негде, и рабби Ханина приуныл: «Все вокруг счастливы, потому что благодатный дождь оросит поля. Но Ханина печален: вода подмочит соль, и соль растворится». Не успел он это сказать, как дождь прекратился, и соль в корзинке осталась неподмоченной. Когда рабби Ханина добрался до дома, он тут же взмолился: «Обитающий на семи Небесах! Неужели весь мир должен быть печальным, а Ханина счастливым?» И опять пошел дождь...»

В пустой квартире над Ициком слышится по вечерам шевеление. Возможно, это ему чудится, а может, старики подобрали ключ к тому месту, где некогда помогали отчаявшимся и укрепляли ослабленных. Геронтолог Сасон разгадал причину стариковского беспокойства. Сасон завёл сейф, мощный, несгораемый, динамитом непрошибаемый, куда клиенты складывали свои богатства, накопленные за жизнь. Письма юности. Записочки от подруг. Фотографии сгинувших друзей. Поздравления к праздникам и благодарности за успешную работу. Всё то – памятное, дорогое, обласканное вниманием, что внуки выкинут потом за ненужностью. Пришел немощный старик на костыле, преодолев с натугой непокорные ступени, принес ордена, много орденов из разных стран и эпох, которые перебирал, радовался, дышал на них, протирал замшевой тряпочкой. Передохнув, сказал: «Их на рынке продают. За копейки...» И прослезился с благодарностью, когда дверь сейфа закрылась, упрятав надежно его боевое прошлое. «А что будет, если сейф переполнится?» – спрашивали недоверчивые. Сасон отвечал: «Когда сейф переполнится, мы отвезем его в горы и закопаем. Чтобы через сотни лет обнаружили этот сейф дотошные археологи, узнали про нас с вами». И старики почувствовали себя бессмертными. Снится пустой квартире, что она ковчег, а в нем спасаются потерпевшие крушение. Телефон на полу. Книги раскиданы. Ломаные стулья. Пыльно-мусорно, и на кухне – остатки еды.

Подкатывает на машине Авива, глушит мотор, а сил нет – вылезти и пошагать по лестнице. Были бои на подходе к ее столу. Были бои у стола. День закончился, но очередь еще стояла: инженеры, музыканты, учителя с врачами, бывший полковник КГБ, бывший следователь МВД, три преподавателя марксизма-

ленинизма. Седой, благообразный старец в блузе с бабочкой, с проработанным актерским лицом, возглашал в открытую дверь, задыхаясь от гнева и бессилия: «Знайте! Вы все! Меня смешат ваши гордые заявления: «Я – седьмое поколение на этой земле, а я – десятое!» Чем вы гордитесь? Вы же ничего не выбирали. Ваши родители не выбирали. Вы родились здесь по случаю, и это не заслуга. Заслуга – выбрать эту землю сознательно. А я ее выбрал...» – «Моя мама тоже выбрала, – ответила Авива. – В свой срок». Но ее не поняли без переводчика. Авива слышит возле дома резкие, пронзительные крики. Любимый ее попугай мечется в вышине от дерева к дереву, а голуби яростно гоняют его, перепуганное цветное создание. Завидев Авиву, Сумсум кидается к ней на грудь: хвост ободран, глаз выпучен, рот разодран в безумном крике. Авива ходит по комнате от стены к стене, кот Хумус сидит в кресле, будто не его проказы, а у Сумсума от страха прорезался голос, Сумсум жалобно кричит с жердочки: «Закрой клетку... Закрой клетку, дур-рак!...» Ветерок с гор надувает занавеску у окна, словно за ней кто-то стоит, большой, желанный, с буграми мужской силы. Авива говорит занавеске: «Моти мне больше не родственник. Хватит! Звонить не стану. Писать. Унижаться...» Занавеска нехотя опадает, и кто этот Моти, где этот Моти – неизвестно. Подступает ночь. Во сне к Авиве приходит отец, неслышно и неспешно. Берет дочку за руку, и они отправляются в путь. Всю ночь вместе. Всю ночь в пути. Куда-то идут, едут, торопятся. Их ждут. Их кто-то ждет. А они торопятся, идут, едут. Мама стоит возле дома: это они спешат к маме. Они шагают втроем, взявшись за руки, как ходили когда-то – Авива посередине, и заполнено одиночество; отец говорит, смущенно улыбаясь: «Это дерево посадил я». А дерево – под облака. «И это посадил я. И то». Они подходят к могиле отца. Саженец в руках у Авивы. Тут, на этой земле, быстро растут деревья.

Этажом выше затаился Нюма Трахтенберг, который тоскует по вечерам. Горы за окном, розоватые к закату. Монастырь на склоне с тяжелыми крепостными стенами. Небо обсыпано непривычными созвездиями. Большая Медведица завалилась к горизонту. Араб едет на осле по невидной тропке. Гонят неспеша овец – малое стадо. Орут ишаки в деревне. Архитектура домов непривычна до изумления, будто декорация на киностудии. Всё непривычно: в цвете-облике-запахе. И из этой декорации, под этими созвездиями, под аккомпанемент ишаков нездешние волны разносят по окрестностям: «Валенки, валенки, да не подшиты стареньки...» Или – плач ребенка, горький плач из окна: а дети везде плачут одинаково, на понятном каждому языке, – и голос ласковый, голос материнский: «Баю-баюшки-баю...» Не кажется ли это Нюме? Нюме кажется порой, что прежде жил не он. Не он на фото, не он в памяти, не он в мыслях и пространстве. Где те вопросы, что когда-то волновали? На них не стоит нынче искать ответа. Где те проблемы, что с трудом разрешались? Ему бы теперь те проблемы. Вот он пожил здесь, вот помолчал в одиночестве, и пришло к Нюме понимание: ты бежишь от несправедливости, пересекая границы с



государствами, а несправедливость поджидает на другой земле, в ином обличье. И если ты это понимаешь, если принимаешь, значит пришла к тебе мудрость. Временами Ньюма натягивает на ноги резиновые сапоги, берет в руки лукошко для грибов, ходит по квартире вдоль и поперек, но от этого она не становится его собственностью. Раз в год приходит хозяин, жалуется на тяжелые времена, повышает плату за помещение. Ньюма с ним не спорит. Ньюма ни с кем не спорит, потому что всех понимает и всякому готов улыбнуться. Кто же улыбнется ему, Ньюме Трахтенбергу?

Ньюме грустно, и Ньюме одиноко. Ньюма Трахтенберг не спит за полночь – голова на подушке, наушники на голове. Ночная программа: позвони и выговорись. Он бы и позвонил, он бы выговорился от души, но как это сделать – с невозможным акцентом и постыдными его ошибками? «Не спрашивайте меня... – нашептывают под музыку в тиши ночи. – Не спрашивайте, почему я не пою для вас... Всё, что было мне дорого, осталось в прежнем моем доме. Скрипки остались в прошлом. Слова любви в прошлом. Даже те песни, которые поют люди, когда пьют вино и хмелеют, – они в прошлом...» У Ньюмы нет слуха, нет у него и голоса, но петь хочется, очень хочется – до щекотания в горле, и он подпевает с опаской, почти беззвучно. Для Ньюмы было открытием, что жители этой земли поют много, громко и с удовольствием. В прежней жизни он сталкивался с такими единоверцами, которые пели не часто, во всяком случае, не слишком громко. Причины этого ему не вполне ясны, и дотошный ученый мог бы заняться подобной темой: в каких условиях люди поют, когда, где и сколько. Про птиц, к примеру, всё известно: кто поет на воле, а кто молчит в клетке, – с людьми тоже можно разобраться.

Ньюма слушает с провалами, задрёмывая и вновь пробуждаясь, а ему говорят негромко, в самое ухо: «Мой дед знал, как утолять жажду в пустыне, когда нет воды, как определять по полету орла, сколько людей на тропе, в какую сторону они идут, на каком от тебя расстоянии. Мой отец многого уже не умел, но он хотя бы знал, чего он не знает, и печалился оттого со смыслом. А я даже не знаю, чего я не знаю; печаль моя пуста и нелепа. Мне не разглядеть складку на стебле травинки, не услышать голос цветка и шепот дерева, не угадать, что говорит камень о человеке, который прошел мимо него, и что он делал, этот человек, прошедший мимо, и почему, и как». – «Поясни», – просит ведущий. Он поясняет: «Если посторонний пройдет по песку и поднимет камень, плюнет на него и положит на место, житель пустыни распознает это через двести лет. Он увидит на камне след того плева, пойдет за человеком, найдет его могилу, ударит по гробнице и скажет: «Зачем ты плюнул на камень, скотина?...»

Ньюма задремывает на мгновение, видит мимолетный сон, а в наушниках новый теперь голос. Глуховатый. Тревожащий. Неясно-различимый. Как прорывающийся с натугой через незнакомый язык: «Там, в Африке, все вокруг были черными, и я полагал, что Мессия, которого мы ожидаем, будет чернокожим. Каким же ему еще быть?»

Но здесь я увидел белых людей; целая страна белых людей, и я решил, что Мессия будет, наверное, белокожим. Прошло время. Я освоился. И думаю теперь так: какая, в конце концов, разница? Белый или черный: пусть он поскорее придет. Пусть придет избавитель...» Ньюма радуется каждому его слову, повторяет с расстановкой, словно вывешивает для обозрения, знатоком отходит на пару шагов, смакуя детали, их речевую окраску, а в наушниках женский теперь голос. С поставленной речью. Без акцента, который сам по себе акцент: «Вот моя гитара. Вот чехол для нее. А на чехле оборваны пуговицы. Может, нет у меня времени, чтобы пришить, а может, оборваны они специально, чтобы побыстрее достать гитару, когда очень хочется петь, и не возиться же с этими тугими, неподатливыми пуговицами...» Перебор гитарный, на пробу строка: «Элогим шели, Элога, зеленоглазый мой...» – «Иногда хочется петь, чтобы показать: видали, вот она я какая! А иногда – как поплакать. Женщине нужно порой посидеть и поплакать. Я сижу одна и пою, пою. Кончила петь, как выплакалась... «Элогим шели, Элога, зеленоглазый мой! Пока земля еще вертится, и это ей странно самой...»

Ньюма понимает: теперь не заснуть. Но вслед за певицей – звонок в студию, кто-то говорит негромко, на всю страну: «Мне не спится». Ведущий отвечает, тоже негромко: «Я тебе помогу». Они разговаривают вполголоса, как два приятеля на кухне, за полночь, чтобы не разбудить детей, а Ньюма слушает, и те, кому не спится, слушают тоже. Ведущий начинает: «Закрой глаза и представь себе: идет потихоньку овца. Самая обыкновенная овца. Пришла, посмотрела на тебя и ушла. Идет вторая овца. Тоже пришла, посмотрела на тебя, ушла. Идет третья овца. Четвертая. Идет пятая: посмотрела на тебя и ушла...» Ведущий говорит, не спеша, заволакивая, а они слушают – те, кому не спится. «Идет шестая овца. Седьмая. Двенадцатая... Но вот, – говорит он, – пришла шестнадцатая овца, посмотрела на тебя и не ушла. Что это значит? Это значит, что ты уже спишь...»

## 8

Спит Ньюма с наушниками на голове, спят многие, а по дороге катит маршрутное такси. Шофер – бандитская рожа, остролицый и горбоносый, крючком провисший над рулем, гонит машину на недозволенной скорости, будто спешит на свидание или уходит от погони. Притулились в тесноте и во мраке: грустный старик с устойчивым запахом немытого тела, две шустрые девочки с подведенными глазками, пожилая степенная пара, некто неразличимый во мраке и Боря Кугель. Что-то бормочут по радио, тихое и ненавязчивое, а затем вступает голос, почти на басах. Они ввинчиваются в небо по горной дороге: Бейт-Меир, Абу-Гош, Кирьят-Анавим, Мевасерет-Цион, а голос поет посреди Иудейских гор: «Элогим шели, Элога, зеленоглазый мой...» Голос поет в машине, а они слушают, притихшие и печальные: грустный старик, две шустрые девочки с подведенными глазками, пожилая пара, некто во

мраке и Боря Кугель. И еще шофер – бандитская рожа. «Дай же Ты всем понемногу и не забудь про меня...».

Боря возвращается из Тель-Авива, со встречи томительной и невеселой. Приехал Витя. Друг детства. Счастливчик на всю жизнь. И утянул за собой в обжитые их годы. Обнялись. Посидели в кафе. Поговорили. Поудивлялись переменам за годы разлуки. «У нас с тобой разное прошлое, – сказал Боря. – Твоя боль – уже не моя боль. И наоборот». Витя не согласился. Витя запротестовал. Учились же вместе. Гуляли вместе. Любили девушку Машу, страдая от ревности и неразделенных чувств. Маша досталась счастливчику Вите, и Боря вздыхает порой на исходе лет. «Вздыхаешь?» – «Вздыхаю», – признаётся Боря: колодец влечений – не вычерпать. Вышли к морю, сели на лавочку, притихли. Солнце на исходе, утомившееся за долгий день, волны без счета, кипение у берега, облака до пенных гребешков, подступание зыбких сумерек. И оттуда, из низких облаков, вывалилось неохватное чудище, провисло над морем, над волнами, над Борей с Витей, почти недвижимое пошло на посадку. Обвальнй рёв моторов. Дома, задравшие головы, как просевшие от испуга. Мрак, надвигающийся неумолимо. И счастливчик Витя заплакал вдруг, будто пробил запруду: «Кто мы? Крохотные песчинки в потоке зла. И крутит нас, и мотает, не выбраться, кажется, никогда...» Боря не стал его утешать. Боря Кугель никого не утешает, только ждет терпеливо, пока выговорятся ему в жилетку. И ему выговариваются до конца. «Если у человека болит сердце, – говорит Боря, – он идет к врачу. Если у человека болит душа, он идет ко мне. Я – приемный покой для страдальцев, наказанных горечью и печалью». И Витя, отплакавшись, сказал с тоской: «Боря, Маша больна. Маша уходит, Боря. Гоню мысли от себя, как пудовые камни... Помолись за Машу. Спроси у других, как это делается. Там, в твоём обитании, ближе к Небесам...» Боря вкручивается в спирали Иудейских гор и вспоминает светлокудрую Машу – глаза-малахит. Боря ввинчивается в небо, которое становится ближе, и слезы льёт в темноте. «Господи, отведи беду от дома! Человек надеется до последней минуты. И я надеюсь. Помолись за Машу, Боря...» А голос бережит во мраке, низкий, густой, осязаемый, будто разливают по душам тягучий, полный сладости и желаний, хмельной дурман цвета кармин: «Дай же Ты всем понемногу и не забудь про меня...»

Назавтра выходит из дома диковинный мужчина на тощих ногах, по-журавлиному шагает через дорогу. В дверях синагоги стоит Лёва Блюм, молча, одним взглядом зазывает на молитву прохожих мужчин старше тринадцати лет.

– Научите меня, – говорит Боря по-русски, но Лёва его понимает и пропускает внутрь.

Боря оказывается десятым в той синагоге. Боря заполняет миньян: девять стариков и он, и молитва начинается. «Пусть возблагодарят Тебя, Господи, все сотворенные Тобой...»

– Я же ничего не знаю, – думает Боря Кугель. – Но без меня не обойтись...

*Рина Левинзон*  
*ВОЗДУХ СУДЬБЫ*

\* \* \*

*Begin and cease  
and then again begin*  
M. Arnold

Начнется и закончится, и снова  
начнется, но в реальности другой  
на грани улетающего слова  
за облаком, за радугой-дугой.  
Закончится, забудется, очнется,  
Как спящая принцесса в царстве лет...  
Начнется, прекратится, вновь начнется.  
Как Бог нам обещал,  
как пел поэт.

\* \* \*

По другую сторону часов  
время запредельно и лениво,  
отдыхает вечное огниво,  
замкнут мир на солнечный засов.

По другую сторону любви  
мы с тобой в зеркальном отражении.  
Подожди – скажу я – позови  
сквозь века, сквозь век моих смеженье.

Боже мой, пусть будет жизнь светла,  
Боже мой, пусть повторится снова –  
холодом скрепленная основа  
по другую сторону тепла.

\* \* \*

До первых звезд в моем окне  
растает горести в огне  
свечей и псалмов позабытых.  
И есть в субботней тишине  
послание Господа ко мне –  
прямая речь небес открытых!

\* \* \*

Боже, как перемешались звуки...  
Шин и Ша – как счастлива душа!  
Азбуки сложились и науки,  
Музыки сошлись – судьбой дыша.

Звон двойной развеял все ненастья,  
Тайна в сочетанье голосов.  
И печаль помножена на счастье...  
Альфа-Алеф – точный знак Весов.

### УЛИЦА БЕН-ИЕГУДА

*Яше и Фиме Шапиро*

Ни жара не бойся, ни студа,  
ни ветра, слепящего нас.  
На улице Бен-Иегуда  
таинственный ангел – откуда? –  
чего только нам не припас.  
Колдуя над корочкой хлебной,  
вздыхая над жизнью земной,  
зажег он фонарик волшебный,  
раскрыл он словарик целебный,  
с тобой говоря и со мной.  
И мне среди этого чуда,  
которого не отнять,  
на улице Бен-Иегуда,  
среди шепота, гула и гуда,  
счастливый конец сочинять!

\* \* \*

*Александр Вововику*

А после... после жизнь начнется снова,  
Совсем другая – легкая, как дым,  
Как тень крыла и отзвук сна земного,  
Дарованная только нам двоим.

Смотри же в эти дали, не печалься,  
Там вечность расставляет невода,  
Все для того, чтоб мы не разлучались  
При жизни, после жизни – никогда.

\* \* \*

Да вот и вся она – росой мелькнула,  
и закатилась за вороний скат,  
как не бывало, так, рукой махнула,  
моя смешная жизнь –  
восход-закат.

Так коротко, так невозможно мало,  
ни счастья не оставила, ни слез.  
Да вот и вся – по травам пробежала,  
отряхивая дождь с густых волос.

\* \* \*

Касаюсь далекой материи,  
Читаю магический код.  
В эпоху безумия верю я  
В счастливый и добрый исход.

На краешке облака белого –  
Небесных стихов волшебство...  
Всё то, что из воздуха сделано,  
Наверное, крепче всего.

\* \* \*

*Памяти Эльзы Ласкер-Шюлер<sup>1</sup>*

Волшебница ручьев и леса,  
потоков беспощадных вод,  
пророчица и поэтесса,  
Жила и, может быть, живет.

Иначе музыка – откуда? –  
на ненавистном языке!..  
О, мастерица сна и чуда  
С кулечком сладостей в руке.

---

<sup>1</sup> Эльза Ласкер-Шюлер – немецкая поэтесса, еврейка, писала на немецком языке. От преследований нацистов уехала в Палестину. Умерла в Иерусалиме в 1945 году.

\* \* \*

Как за соломинку держусь  
за певчую строку.  
Я не про музыку – про грусть,  
про птицу на току.  
Про слов спасительный запас,  
про рифмы колдовство...  
Я не про музыку – про нас,  
про горе и вдовство.  
Про то, где силы зачерпнуть,  
про сон, про Третий храм...  
Я не про музыку – про суть,  
неведомую нам.

\* \* \*

Толпа стоит у черного перрона –  
над ней огонь и пепел, кровь и дым...  
Наш путь –  
в Освенцим  
от холмов Хеврона,  
и нынче снова возвращенье к ним.  
Но Бог не оставляет нас одних,  
какая бы ни выпала планида.  
Мы – сироты освенцимских портных,  
и мы – навеки – правнуки Давида!

\* \* \*

*Валентине Синкевич*

А война пришлась на детство,  
на потухшие дворы –  
не укрыться, не согреться,  
не уйти от той поры.  
А война пришлась на голод,  
на побег, на птичий лёт,  
на дрожащий зимний провод,  
на хрустящий синий лёд.  
Похоронки в небе кружат,  
детский плач и вдовий час.  
А война пришлась на ужас  
и по всем сердцам прошлась.

\* \* \*

Испания,  
холмы твои, сады,  
воспетые поэзией Галеви...  
Земле, и королю, и королеве  
служили мы до черной той беды...  
Испания, горьки твои плоды.  
Германия,  
добры твои леса,  
волшебные, как музыка ночная...  
Мы верили в тебя, и в чудеса,  
твоих поэтов знали голоса,  
своей судьбы трагической не зная.  
О, Украина,  
свет твоих озер,  
твоих лугов, и слов славянских  
милость.  
Как верилось, как пелось,  
как любилось...  
Ну, а потом погром, резня, позор...  
Прощай и ты, чтоб всё не повторилось  
Как мы любили силу стран чужих.  
Как верно им служили. Воевали.  
На языках заемных воспевали.  
А нас потом соседи убивали,  
Закапывали в ров детей живых.  
Израиль мой,  
земля твоя суха,  
но к нам твоя любовь неизмерима.  
И наша жизнь навек тобой хранима!  
А нас опять волнует призрак Рима,  
чужой надел и рабская соха...

\* \* \*

И вдруг с печальями моими  
Начать счастливую главу...  
Нет моря в Иерусалиме,  
Но я над городом плыву.  
На белых облаках воздушных,  
На медленном потоке дня  
От новостей, от комнат душных  
В простор небесного огня.



\* \* \*

Время собирать и собираться,  
нет, не уходить, а оставаться,  
даже если ангелы скупы.  
Слов не оставлять, не расставаться,  
нет, не остывать и не сдаваться.  
Нет, не умирать, а растворяться  
в драгоценном воздухе судьбы.

### ИЕРУСАЛИМУ

Над городом белым моим – луна,  
Горят золотые следы,  
И Божий ветер, и ночь длинна,  
И шесть шагов до звезды.

\* \* \*

Нам выжить, перезимовать –  
Лихие ветры не впервые!  
Все наши казни – вековые, –  
и снова бед не занимать.

Нам выстоять и перенести  
плавильный жар и холод смертный,  
и наших сил запас несметный  
и Богу самому не счесть.

Нам выдержать.

Колокола  
поют о близких в час прощанья,  
но мы не оставляем тцанья,  
и снова света обещанье  
сквозь боль, что на сердце легла.

## *Дан ОРБЯН*

### *СОРЕВНОВАНИЯ, КОНКУРСЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ*

Разрядке тяжелой атмосферы 1976 года способствовали трое: Артур Рубинштейн, Мария-Антуанетта и Дитятин. В плане государственном это был очень непростой год. Как и прежде, нас осуждали в ООН. Требовали отступления со всех занятых территорий. В плане личном тропы 1976 года тоже были достаточно крутыми и трудно проходимыми. Мгновения счастья оказывались кратки и недолговечны. Добрую память по себе от этого мрачного периода оставило лишь выступление Бельгии.

\* \* \*

В ту пору я начинал учиться игре на фортепьяно. Я усаживался возле инструмента и приступал к организации соревнований – не только с самим собой, но и с весьма престижной сборной, которую взялся представлять. Это правда, что Яша Хейфец не значится среди пианистов, однако поскольку Артур Рубинштейн, в сущности, являлся единственным пианистом, имя которого мне было известно в 1976 году, все остальные члены команды набирались из смежных областей. Я мог, разумеется, разузнать кое-что об этом предмете у родителей, но предпочитал не посвящать их в свои дела.

Зубин Мета, Иоганн Себастьян и Мария-Антуанетта, имя которой звучало столь восхитительно, когда о ней объявляли судьи, хотя и не входили в число пианистов, однако были двигателями мирового культурного процесса. Мария-Антуанетта в общем-то совсем не принадлежала к миру музыки, однако это не мешало ей занимать призовые места. И удостаиваться восторгов публики.

Конкурс включал в себя цикл исполнения одного-единственного произведения. По прихоти судьбы в данном случае это оказалось сочинение Бетховена «Элизе». Тотчас после очередного выступления уважаемое жюри, имевшее в своем составе, как и полагается на настоящих конкурсах, трех членов, приступало к обсуждению. От жюри требовалось присуждать очки честно, без малейшего поползновения следовать личным пристрастиям. В качестве председателя жюри, также как и в качестве остальных его членов, я строжайшим образом следил, чтобы судили по правде. Я придирчиво экзаменовал членов жюри и почитал своим долгом лишний раз убедиться, что все знакомы с правилами конкурса и в самом деле обладают теми высокими моральными качествами, которые требуются от беспристрастных судей.

Перед каждым из ценителей лежал список участников, возле каждого имени делались пометки. Под конец объявлялась оценка. В силу того уважения, которое я питал к участникам конкурса и членам жюри, сам я всегда поднимался на сцену последним. После того, как Рубинштейн (я), и Иоганн (я), и все прочие (я) покидали подмостки, я (я!) поражал публику (которую также представлял по совместительству) виртуозным исполнением «Элизы». Так что даже Артур Рубинштейн (я) капельку завидовал. Самую капельку.

Я надеюсь, что ни одно из выше упомянутых лиц не держит на меня зла. Смею думать, что Мария-Антуанетта и Артур Рубинштейн, сидя сейчас в своей почетной ложе где-то там, на недостижимой высоте, не ворчат раздраженно, услышав, что их принудили вместе с Иоганном Себастьяном соревноваться в исполнении «Элизы» в гостиной моих родителей в Иерусалиме. Потому что если уж у них имеются основания дуться и сердиться, то что говорить о бедных спортсменах, которых я не менее своевольно зачислил в ряды сражающихся за почетный приз. Их претензии могут оказаться куда более вескими.

Надя Команечи и Нелли Ким, Дитятин и Дуби Лопи выступали у меня на ковре в товарищеских встречах, целиком состоявших из стойки на руках. Победитель определялся в соответствии с таблицей показанного времени. Участники (все тот же я) должны были сделать стойку на руках и продержаться в таком положении как можно дольше – мысленно я вел отсчет. Оценка зависела также и от стиля исполнения, и от общей представительности и продемонстрированного коллективом высокого спортивного духа. Следует отметить, что в моих соревнованиях не проводилось деления между мужскими и женскими командами. Все были равны перед неподкупными судьями.

Вместе с тем, я тут же хочу внести ясность: даже при такой образцовой организации имеется, или вернее сказать, имелась, некоторая лазейка для злоупотреблений и недочетов. Возможно, в известной мере, как это будет разъяснено ниже, они действительно случались. Сейчас, пожалуй, следует остановиться на правилах состязаний, чтобы читатель имел удовольствие следить с пониманием за дальнейшими разъяснениями и не задавал лишних вопросов, способных помешать ведению соревнований.

После выступлений одиночек следовали командные игры. В них, как правило, побеждала Бельгия. У меня нет сколько-нибудь разумного объяснения или оправдания этому факту. В спорте я был гораздо меньшим патриотом, чем в других областях жизни. Я признаю: команда Израиля, так же как и сборная его большого друга (США), вызывали у меня особые симпатии, и, тем не менее, первое место снова и снова занимала Бельгия, оставляя Израиль и его большого друга (верного союзника) далеко позади.

Во время этих самых соревнований мне посчастливилось использовать спортивные подмостки, или, вернее, ковер в родительской гостиной, для оказания помощи и поддержки дружественным державам. Голландия, например, которой почему-то не удавалось

удержать стойку даже до счета «два» (чтобы получить восемь очков требовалось продержаться до счета «четыре») не имела никаких шансов достигнуть следующего тура соревнований. Однако непостижимым образом именно Голландия избиралась местом проведения очередных игр на кубок СНР (стойка на руках), так что ее участие было обеспечено.

Другой пример: присуждение очков странам, которые голосовали в ООН против Израиля и которых, кстати, в тот период имелось более чем достаточно. Результаты таких государств, как Сирия и Тунис, были плачевно низкими и вызывали подлинное сочувствие.

Советский представитель (я), окончивший соревнования на предпоследнем месте, возмущался фактами нарушения регламента и грубым жульничеством со стороны жюри и даже подал официальную письменную жалобу в контрольную комиссию спортивной ассоциации СНР (стойка на руках). Жалоба была рассмотрена компетентными органами и признана не заслуживающей внимания.

Но не только проблемы Ближнего Востока влияли на ход соревнований. Весь мир клеймил Южно-Африканскую республику, и ассоциация СНР, естественно, присоединилась к этому дружному осуждению. Ассоциация СНР сочла необходимым отметить минутой молчания злодейское убийство израильских спортсменов на Мюнхенской олимпиаде, не посчитавшись с протестом команды Сирии.

Как это случается в большом спорте, с течением времени уровень требований возрос. Организационная комиссия ассоциации СНР, собравшаяся на заседание летом 1976 года, постановила разнообразить игры. Так возник новый вид состязаний, объединивших музыкальное исполнение (МИ) с СНР (стойкой на руках) – МИСНР. Основной проблемой смелого начинания стал тот факт, что мне теперь без конца приходилось заниматься подсчетами. Необходимо было переводить оценки за МИ в такую форму, которая позволила бы сопоставить их с оценкой за СНР, с тем чтобы определить затем суммарное число очков.

Бельгия, как я установил, заглянув в старые отчеты судейской коллегии, летом 1976 года обошла команду, занявшую второе место, на тридцать один и четыре десятых очка. Индонезия не имела на этих играх ни малейшего шанса, и ее отставание в обеих категориях вызывало, без сомнения, естественное беспокойство в индонезийской столице. Сирия полностью провалилась в обоих видах, и судейская коллегия сочла разумным вообще не привлекать ее больше к играм до тех пор, пока все сирийские евреи не будут незамедлительно отпущены на свободу.

Родительские пианино и ковер являлись, не подозревая о том, двумя международными форумами, занявшими в 1976 году наиболее благожелательную позицию по отношению к Израилю. Поддержка Израиля западными странами не была в МИСНР нерешительной и путанной, как в разных там известных организациях, – у нас она всегда оставалась ясной и однозначной. У нас было общее дело и прочные соглашения не только с Европой, но и с Аме-

риканским и Африканским континентом и с большинством стран советского блока. У нас из-под железного занавеса дули совершенно иные ветры, чем те, которые леденили и бросали в дрожь прочие почетные форумы.

Во время одного из смешанных состязаний МИСНР (музыкальное исполнение плюс стойка на руках), на котором я исполнял «Танец часов» Понкиэли, произошла непредвиденная задержка – соревнование затянулось против запланированного и захватило поздние ночные часы. Дело в том, что подсчеты оказались почему-то сложнее обычного, и беспристрастные и неподкупные судьи затруднялись определить результаты.

Сосед снизу принялся стучать палкой от половой щетки в потолок своей комнаты в попытке смешать и аннулировать результаты конкурса. Председатель жюри поспешил разъяснить участникам игр, что сосед, являющийся, по-видимому, отпрыском насильственно крещенных евреев Испании, выражает таким образом свой протест против участия в соревнованиях команды этой дикой страны, допустившей у себя инквизицию и, более того, изгнавшей евреев из своих пределов. Формальное требование, с которым мне пришлось столкнуться позднее, – в данном случае представители насильственно крещенных получили поддержку со стороны прочих соседей, – заключалось в том, что после 23:30 следует прекращать игру на пианино, а также стуки, сопутствующие гимнастическим упражнениям.

В тот день церемония присуждения медалей не состоялась. Председатель жюри сделал краткое заявление: «Сегодня мы убедились, что Рубинштейн в ладах с Понкиэли и «Танцем часов», а также с соседями, но и ему есть еще чему поучиться». Делегация Испании поспешила выразить протест.

Родители, не ведавшие об истинной причине соседского гнева, попросили меня прекратить игру. Я, не желавший стать причиной международного скандала, удалился в свою комнату, чтобы там без помех подвести итоги дня. Я снова отдал пальму первенства Бельгии. Израиль и его лучший друг (верный союзник) наступали ей на пятки.

К концу 1976 года моя стойка на руках усовершенствовалась до невозможности, и «Танец часов» я исполнял более чем великолепно. Два эти обстоятельства наряду с умножившимися жалобами соседей, привели, в конечном счете, к концу той прекрасной эры, когда израильский спорт и изящные искусства удостаивались мощной поддержки великих держав.

Хотя с тех пор минуло много времени, иногда, делая стойку на руках, я вдруг ловлю себя на том, что беззвучно веду отсчет секундам и мысленно проставляю цифры в соответствующей таблице. А если по радио звучит «Танец часов» или бетховенское «Элизе», я невольно вздыхаю о горькой судьбе Сирии, Туниса и Индонезии и втайне радуюсь успехам Бельгии, а также Израиля и его большого друга – Соединенных Штатов Америки.

*Перевела с иврита Светлана Шенбрунн*

*Елена Игнатова*

## *«НОВЫЙ ГОГОЛЬ НАРОДИЛСЯ...»*

Публикуемый текст – глава из моей второй книги «Записки о Петербурге», посвященной жизни Ленинграда 20-30-х годов XX века. Первая книга «Записок» вышла в Санкт-Петербурге в 1997 году, вторая почти закончена.

Завершился XX век, и с ним завершилась целая эпоха, поэтому теперь можно яснее различить ее черты, определить ее место в историческом потоке. История Петрограда-Ленинграда – точный сколок истории России тех времен, и задача моих «Записок» – попытаться воссоздать объем прошлого, образ мышления современников, событийный фон, рассказать о «болевых точках» эпохи. Одной из таких «болевых точек», несомненно, является судьба великого писателя Михаила Зощенко.

Весной 1845 года петербургские литераторы Некрасов и Григорович прочли рукопись Достоевского «Бедные люди» и поспешили к Белинскому: «Новый Гоголь родился!» «Эк у вас Гоголи-то как грибы растут», – иронически отозвался критик. Верно, Гоголи не растут, как грибы, хорошо, если такой писатель появляется раз в столетие, но о Михаиле Зощенко можно сказать «новый Гоголь родился». Его при жизни нередко сравнивали с великим предшественником, сходство этих писателей несомненно, только эпохи и судьбы у них разные: Гоголь в двадцать один год писал «Вечера на хуторе близ Диканьки», Зощенко в двадцать один год воевал на германском фронте, попал на передовой под газовую атаку. «Теперь видно, как идут газы... Это клуб дыма шириной в десять сажень. Он медленно надвигается на нас, подгоняемый тихим ветром... Уже кое-где я слышу смех и шутки. Это гренадеры толкают друг друга в клубы газа. Хохот. Возня. Я в бинокль гляжу в сторону немцев. Теперь я вижу, как они из баллонов выпускают газ... Гренадеры стреляют вяло. И стрелков немного. Я вдруг вижу, что многие солдаты лежат мертвые... Я вижу пожелтевшую траву и сотню дохлых воробьев, упавших на дорогу». Как это отличается от цветущего, поющего мира «Вечеров на хуторе близ Диканьки»? «Новый Гоголь» вступал в жизнь во времена отравленной земли, мертвых птиц, изуродованных ненавистью людей.

В 1919 году он появился в литературной студии петроградского Дома искусств, которой руководил Чуковский. «Это был один из самых красивых людей, каких я когда-либо видел, – вспоминал К. И. Чуковский. – Ему едва исполнилось двадцать четыре года. Смуглый, чернобровый, невысокого роста, с артистическими пальцами маленьких рук, он был элегантен даже в потертом своем пиджачке и в изношенных, заплатанных штиблетах». Замкнутого, молчаливого Зощенко не сразу приняли в кружке студийцев,

которые были веселы, открыты и многое обещали в будущем. Вскоре молодые литераторы объединились в группу «Серапионовы братья»<sup>1</sup>, о которой прозаик Николай Чуковский писал: «Это, кажется, единственный в мировой истории литературный кружок, все члены которого стали известными писателями». Верно, почти все они стали известными советскими писателями, которых сейчас едва ли кто читает. Для нас «Серапионовы братья» связаны в первую очередь с именем Зощенко, и память об этом «братстве» горчит: некоторые из них участвовали в травле Зощенко, а после его смерти ни один из «серапионов» не захотел сказать прощального слова на панихиде. Но это в будущем, а тогда, в начале 20-х годов «талантливые юноши, люди высоких душевных запросов, приняли его радушно в свой круг. Он повеселел, стал общительнее... он давал своему юмору полную волю», – вспоминал К. И. Чуковский. В веселье Зощенко трудно поверить, в жизни он был не слишком веселым человеком, и чем громче смеялись слушатели его рассказов, тем печальнее становился автор. Он как будто прислушивался к чему-то – возможно, это зовется голосом судьбы? Зощенко всю жизнь помнил предсказание некоего гипнотизера и прорицателя, услышанное им в юности, на войне: «Вы, молодой человек, имеете недюжинные способности в области искусства. Не отрекайтесь от них. В скором времени вы станете знамениты на всю Россию. Но кончите, впрочем, плохо». Смысл трагического предчувствия Зощенко можно понять из описания встречи с Александром Блоком в его повести «Перед восходом солнца»: «Я никогда не видел таких пустых, мертвых глаз. Я никогда не думал, что на лице могут отражаться такая тоска и такое безразличие... Теперь я почти вижу свою судьбу. Я вижу финал своей жизни. Я вижу тоску, которая меня непременно задушит». Творчество способно сжечь душу творца, в мертвых глазах Александра Блока он видел ту же тоску, что свела в могилу Гоголя. «Литература, – заметил Зощенко, – производство опасное, равное по вредности лишь изготовлению свинцовых белил».

Своенравная судьба сатирика имела склонность к трагикомическим ситуациям, что выяснилось при издании его первой книги «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова». В типографии наборщики читали рассказы Зощенко вслух, все работники хохотали до упаду и, видимо, со смеху перепутали обложки – часть тиража «Рассказов Назара Ильича господина Синебрюхова» вышла в обложке книги Константина Державина «О трагическом». Может, оно и верно, какой тут смех, это беда-бедишка, как говаривал Назар Ильич Синебрюхов, повествовавший о горьких и страшных вещах: о германской войне и газовой атаке, о возвращении домой, где его не ждали; о том, как его едва не порешили

---

<sup>1</sup> В группу «Серапионовы братья» входили Илья Груздев, Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Вениамин Каверин, Лев Лунц, Николай Никитин, Владимир Познер, Елизавета Полонская, Михаил Слонимский, Николай Тихонов, Константин Федин; к «серапионам» примыкал Виктор Шкловский.

лихие «босячки», а комиссары уехали в тюрьму. Современность, с войнами, революциями и началом советской жизни, оказывалась в несомненном родстве с волшебным миром Гоголя: в рассказах Назара Ильича есть прекрасная полячка и «голова» сельсовета Рюха, гиблое место и страшная ночь, нечистая сила, прикинувшаяся собакой, и мертвецы с отросшими когтями. Но главным чудом книги Зощенко стал новый, небывалый в литературе народный язык эпохи, он-то и заставлял людей смеяться, читая о совсем не смешных вещах. Наверное, так повествовал бы герой «Вечеров на хуторе близ Диканьки» пасечник Рудый Панько, доведись ему родиться в новые времена. Вспоминая о веселье в типографии, царившем при наборе «Рассказов Назара Ильича господина Синеврюхова», Елизавета Полонская писала: «Кто-то вспомнил о том, что такой же успех имели у наборщиков «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Рассказы 20-х годов принесли Зощенко всенародную славу, такая слава выпадала немногим русским писателям. Собратья по перу пытались объяснить славу Зощенко тем, что он высмеивал мещанство, но вся советская литература с первых шагов обличала и высмеивала мещанство, почему же вся слава ему одному? Оказывается, Зощенко принадлежало открытие нового социального типа: «Вот в литературе существует так называемый «социальный заказ», – писал он Горькому. – Мне хочется передать нужный мне тип, тип, который почти не фигурировал раньше в русской литературе. Я взял подряд на этот заказ. Я предполагаю, что не ошибся». Что же это за неведомый тип, не замеченный прежней литературой и современными писателями? Этот тип<sup>1</sup> заполнял городские улицы, когда сотни тысяч усталых, замызганных, косноязычных людей возвращались после работы в свои углы. Большинство исполнителей «социального заказа» видели в них однородную, безликую массу и брезгливо отводили взгляд. Характерна дневниковая запись К. И. Чуковского в 1924 году: «В Сестрорецке. ...В курорте лечатся 500 рабочих – для них оборудованы ванны, прекрасная столовая... порядок идеальный, всюду в саду ящики «для окурков», больные в полосатых казенных костюмах – сердце радуется... Спустя некоторое время радость остывает: лица у большинства – тупые, злые... Им не нравится, что «пищи мало» ...окурки они бросают не в ящики, а наземь и норовят удрать в пивную, куда им запрещено». А как ужасны общежития и коммуналки, где они уплотнены до потери человеческого облика! Рассказы Зощенко осветили этот пласт угрюмой человеческой глины, и он ожил, обернулся сотнями лиц и характеров, десятками типажей. Жизнь узнавала себя, как в зеркале, и смеялась вместе с автором рассказов, читатели вдруг обнаружили, что окружены персонажами: «Да это прямо из Зощенко!» И скоро стало непонятно,

<sup>1</sup> «У нас есть библия труда, но мы ее не ценим. Это рассказы Зощенко. Единственного человека, который рассказал нам трудящегося, мы втоптали в грязь». О. Мандельштам, «Четвертая проза».



то ли писатель заимствует сюжеты из жизни, то ли она сама стилизуется под Зощенко. В жестком колорите его рассказов, в корявом языке персонажей открылся целый мир, и в отношении писателя к этому миру было, по его словам, «меньше иронии, чем настоящей, сердечной любви и нежной привязанности к людям».

Рассказы Зощенко пришлись по душе не всем, критики и некоторые читатели видели в них очернение, злостное искажение жизни. «Где он встречал таких уродов, этих Васек и Мишек Бочковых, Конопатовых, Боковых? – возмущались они. – Все это скверные выдумки злопыхателя!» Но, как говорится в пословице, нечего на зеркало пенять... Хроника городской жизни тех лет изобиловала сюжетами сатирика, почти в каждом номере ленинградских газет можно найти что-нибудь «из Зощенко». В 1925 году «Красная газета» сообщала о происшествии в бане: рабочий Бобров пришел мыться, сдал одежду на хранение, «а когда помывшись вышел, вместо роскошных брюк-галифе и кожаной куртки банщики выдали на его билет какие-то лохмотья. «Не иначе как билетик ему подменили», – говорят банщики. «Да кто подменил, коли я его в руке хранил?» – кричит Бобров. «Я помню, что Бобров в руке билет держал! – говорит приятель Боброва инвалид Марцевич. – Я лично к ступне привязал, а он в руке хранил. Которые умственные посетители – те всегда к ноге билетик привязывают». Все как в рассказе «Баня»<sup>1</sup>, а инвалид Марцевич почти Гаврилыч из «Нервных людей». Жизнь копировала и множила его сюжеты. К. И. Чуковский описал другое происшествие: однажды, когда они с Зощенко шли по Литейному проспекту, к ним подошел незнакомый человек и стал упрекать сатирика в клевете: «Где вы видели такой омерзительный быт? Теперь, когда моральный уровень...». В этот момент к их ногам упала ошипанная курица, а «из форточки самой верхней квартиры высунулся кто-то лохматый, с безумными от ужаса глазами и выкрикнул отчаянным голосом: «Не трожьте мою кури! Моя!»». Через минуту из парадной выбежал человек, схватил курицу, вскочил на подножку проходившего трамвая и укатил. «Не успели мы догадаться, что *схвативший курицу вовсе не тот человек, который кричал из окна*, как этот человек налетел на нас ястребом, непоколебимо уверенный... что мазурик, так ловко надувший и нас, и его, на самом-то деле наш сообщник». Тут же собралась толпа и на писателей посыпались обвинения; особенно горячились те, кто сами были не прочь прихватить чужую курицу. «Зощенко усмехнулся своей медленной, томной, усталой улыбкой и тихо сказал обличителю: «Теперь, я думаю, вы сами увидели...»

Гоголь в поэме «Мертвые души» размышлял о судьбе сатирика: счастливы творцы, изображающие светлые стороны жизни и возвышенные характеры, они награждены любовью читателей. «Но не таков удел, и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят рав-

<sup>1</sup> Рассказ Зощенко «Баня» был написан за год до того, в 1924 году.

нодушные очи, – всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь», суд современников «отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев». Все это будет в судьбе Михаила Зощенко, но пока он окружен народной любовью: его рассказы звучат со всех эстрад, огромные тиражи книг мгновенно раскупаются, в 1929 – 1931 годах вышло в свет шеститомное собрание его сочинений. Тогда же на вопрос «Красной газеты» о том, кто самый известный человек в городе, ленинградцы ответили «Зощенко», а кондукторы объявляли название остановки «Улица Зощенко Росси» вместо «Зодчего Росси». У литературной славы была и обратная сторона: объявилось множество самозванцев, выдававших себя за Зощенко, писатель получал письма с упреками и жалобами обманутых ими женщин, приходилось объясняться, посылать свою фотографию, чтобы жертвы убедились в обмане. В 1933 году, во время знаменитой поездки писателей по Беломорканалу, на всем пути парохода их сопровождали крики с берегов: «Зощенко! Зощенко!» Ему казалось, что эти люди зовут его к себе, что его место среди них, но остальные 119 писателей различали в этих криках совсем другое: как же так, они воспевали современность (как говорил персонаж «Нервных людей», «я... ну, ровно слон, работаю за тридцать два рубля с копейками в кооперации, улыбаюсь, говорит, покупателям»), а тут даже подконвойные зеки орут одно имя – «Зощенко»! Конечно, их можно понять, но на то они были и писатели, чтобы скрывать подлинное чувство за словесной мишурой. Близкий друг Зощенко Михаил Слонимский утверждал, что тот «весь свой советский язык почерпнул (кроме фронта) в коммунальной квартире Дома Искусств, где Слоним[ский] и Зощенко остались жить, после того как Дом Искусств был ликвидирован. И вот он так впитал в себя этот язык, что никаким другим писать уже не может», – записал Чуковский. И сам Корней Иванович сделал открытие: он навестил Зощенко в Сестрорецке и услышал, что там все «изъясняются между собою позощенковски. Писатель жил в окружении своих персонажей». Вот, оказывается, в чем секрет успеха: стоит пожить в коммуналке или снять дачу в Сестрорецке, и станешь знаменитым! Друзья прикрывали зависть лицемерным недоумением: Зощенко обличает мещанство, а сам живет в мещанской роскоши; Шкловский, этот Ноздрев тогдашней литературной элиты, не умел сдерживаться – увидев пальму в квартире Зощенко, он злорадно вскричал: «Пальма! Миша, ведь это как в твоих рассказах!» Если бы знаменитый сатирик ходил в лохмотьях и жил в чулане, ему, может быть, простили бы успех. В 1943 году, когда Зощенко клеймили за повесть «Перед восходом солнца», одним из самых злобных хулителей оказался старый приятель Шкловский. «Потрясенный Зощенко сказал: «Витя, что с тобой? Ведь ты совсем другое говорил мне в Средней Азии. Опомнись, Витя!» На что Шкловский ответил без всякого смущения, лыбясь своей бабьей улыбкой: «Я не попугай, чтобы повторять одно и то же», – вспоминал Ю. М. Нагибин.

Непонимание и зависть были и будут во все времена, но можно ли сравнивать судьбы Гоголя и Зощенко? Гоголь жил в эпоху, когда не были утрачены духовные критерии, существовали твердые понятия о чести и бесчестии, о нравственности и низости. С первых шагов в литературе он встретил дружеское сочувствие Пушкина и Жуковского, среди его друзей и почитателей были Аксаковы, М. Н. Погодин, Н. М. Языков, С. П. Шевырев – всё славные имена в русской литературе. Во времена Зощенко прежние представления и ценности отменены и отвергнуты, в литературе воцарились совсем другие правила и понятия. В этом перевернутом мире трудно было найти сочувственный отклик и понимание, и Зощенко оставался одиноким и чужеродным в литературной среде. Характерна запись К. И. Чуковского: в 1927 году он встретил Зощенко на Невском и был поражен его угнетенным, потерянным видом. Как же Корней Иванович ободрил его? «Недавно я думал о вас, что вы – самый счастливый человек в СССР. У вас *молодость, слава, талант, красота – и деньги*. Все 150 000 000 остального населения страны *должны жадно завидовать вам*» [курсив мой – Е. И.] Время неузнаваемо меняло людей, разве он сказал бы что-нибудь подобное Александру Блоку? «А у меня такая тоска, что я уже третью неделю не прикасаюсь к перу, – ответил Зощенко. – Лежу в постели и читаю письма Гоголя – и никого из людей видеть не могу». Одни считали «странности» Зощенко позой, другие – капризами баловня судьбы, третьи обвиняли его в высокомерии. Здесь стоит вспомнить об отношении коллег к другой ленинградской знаменитости – Дмитрию Шостаковичу. Сравнение не случайно, Зощенко и Шостаковича связывали не только дружеские отношения, но и сходство судеб. По свидетельству Евгения Шварца, при каждой встрече композиторов «беседа их роковым образом приводит к Шостаковичу. Обсуждается его отношение к женщинам, походка, брюки, носки. О музыке его и не говорят – настолько им ясно, что никуда она не годится». Особенно негодовали жены композиторов: «Это выродок, выродок!». В литературных кругах предметом постоянных пересудов была семейная жизнь, странности, «офицерские» любовные романы Зощенко. Жена переводчика Валентина Стенича «рассказывает, – записал в 1934 году К. И. Чуковский, – что Зощенко уверен, что перед ним не устоит ни одна женщина. И вообще о нем рассказывают анекдоты и посмеиваются над ним». В Зощенко раздражало все: он не умеет добиваться положенного, раздает деньги просителям, значит, щеголяет бескорыстием. Он отказался вступить в партию, объяснив, что недостойн, поскольку «очень развратный» – ну не выродок ли! От этого человека можно ждать любой выходки: например, в 1931 году он услышал об аресте Стенича и уговорил его жену пойти к тюрьме, чтобы передать ему папиросы. «Подшли к часовому, – вспоминала Марина Чуковская. – «Вот что, голубчик, – сказал Зощенко, – тут у вас один мой друг, сегодня привезли. Так нельзя ли ему папиросы передать, ведь он без курева, а? Пожалуйста». Часовой посмотрел на него как на бе-

зумца». А как он обошелся со Стеничем, когда того арестовали в 1938 году и вдруг неожиданно выпустили? Этот эпизод сохранился в записи К. И. Чуковского: «Зощенко стоял с Радищевым и другими литераторами, когда подошел Стенич. Поздоровавшись со всеми, он протянул руку Зощенке. Тот спрятал руку за спину и сказал: – Валя, все говорят, что вы провокатор, а провокаторам руки не подают». Это давно забытое, «старорежимное» правило показалось писателям дикостью.

По словам Д. Д. Шостаковича, Зощенко «любил производить впечатление человека мягкого, любил притворяться робким»<sup>1</sup>, а на деле обладал редкостной твердостью. Недаром в германскую войну он был награжден за храбрость пятью орденами, среди них – два георгиевских креста. Вся его дальнейшая жизнь требовала не меньшего мужества. Зощенко наотрез отказался от предложения стать осведомителем ОГПУ – на такой отказ решались единицы. Н. Я. Мандельштам вспоминала, как в 1938 году «газета «Правда» заказала ему рассказ, и он написал про жену поэта Корнилова, как она ищет работу и ее отовсюду гонят как жену арестованного. Рассказ, разумеется, не напечатали, но в те годы один Зощенко мог решиться на такую демонстрацию». В 1937 году он взял на себя заботу о детях арестованного секретаря Петроградского райкома Авдашева: старший сын Авдашевых жил у Зощенко, а дочери, отправленные в детские дома, получали посылки и деньги из Ленинграда. В 1939 году одна из них вернулась в Ленинград и тоже нашла приют в семье Зощенко. В те годы помощь детям «врага народа» требовала невероятной смелости, ведь «каждый поступок противодействия власти требовал мужества, не соразмерного с величиной поступка. Безопаснее было при Александре II хранить динамит, чем при Сталине приютить сироту врага народа», – писал А. И. Солженицын. Зощенко постоянно нарушал круговую поруку трусости, и ему никогда этого не простили. Жена М. Л. Слонимского Ида, с которой Зощенко был дружен со времен «Серапионовых братьев», в воспоминаниях обвиняла его в гордыне и эгоизме. В 1946 году писатели избегали Зощенко, как зачумленного, а он «в своей униженной гордыне» посмел спросить Слонимского, почему тот не здоровается. Пришлось сказать напрямик: «Миша, у меня дети». Тогда семья Зощенко жестоко голодала, «как же они жили? Зощенко, по-моему, ни к кому не обращался за помощью. Он был слишком самолюбив и горд», – писала Ида Слонимская. Она вспоминала его последние дни: «Он лежал на большой постели, одетый, маленький, очень худой, похожий на тряпичную куклу с большой головой, которую надевают на пальцы, на игрушку бибабо». В этом «бибабо» так и слышится – выродок, выродок!

---

<sup>1</sup> Зощенко почти в тех же словах писал о Шостаковиче: «Казалось, что он – «хрупкий, ломкий, уходящий в себя, бесконечно непосредственный и чистый ребенок»... Но если бы это было только так, то огромного искусства (как у него) не получилось бы. Он жесткий, едкий, чрезвычайно умный, пожалуй, сильный».

Неприязнь коллег к Зощенко и Шостаковичу была вызвана не только завистью; Евгений Шварц запомнил замечание одного из музыкантов: «Чего же вы хотите? Эти композиторы чувствуют, что мыслить, как Шостакович, для них смерть». То же можно сказать о Михаиле Зощенко. «Неблагозвучная» музыка Шостаковича, искаженная речь персонажей сатирика свидетельствовали о трагической дисгармонии, неблагополучии жизни, и Зощенко обвиняли в клевете на современность, а Шостаковича в глумлении над традицией. В 1936 году, во время ожесточенной травли, Шостакович был готов к самоубийству. «И в это трудное время, – вспоминал он, – мне очень помогло знакомство с идеями Зощенко. Он говорил, что самоубийство не странный, а чисто инфантильный поступок, восстание низшего уровня психики против высшего».

Вопрос о контроле над «низшим уровнем психики», о преодолении страха был для Зощенко жизненно важным, он с юности страдал тяжелой депрессией; тоска, апатия, приступы отчаяния сопровождали его жизнь в самые благополучные времена. Когда болезнь обострялась, он переставал есть, избегал людей и надолго исчезал из дома. Никакое лечение не помогало, в 1927 году он был близок к смерти (тогда-то Чуковский и говорил ему, что он «самый счастливый человек в СССР»). Зощенко открыл собственный путь к исцелению, позднее он рассказал о нем в повести «Перед восходом солнца». Страх, отчаяние, уныние можно победить с помощью разума, нужно найти причину душевной травмы, которая привела к болезни. «Я часто видел нищих во сне. Грязных. Оборванных. В лохмотьях... В страхе, а иногда и в ужасе я просыпался». В чем смысл этого многолетнего повторяющегося кошмара? Разгадка пришла к Зощенко, когда нищий из его снов неожиданно материализовался.

С середины 20-х годов на Литейном проспекте каждый день появлялся человек, на груди которого висела картонка с надписью «Поэт», он просил милостыню. Зощенко узнал его – это был поэт Александр Тиняков, до революции имевший некоторую известность и скверную репутацию. Тиняков был даровит, но настоящей славы не добился и восполнял ее недостатком скандалами и эпатажем: в 1914 году прославлял в стихах кайзера Вильгельма, потом опубликовал «Исповедь антисемита», но ему не везло – всякий раз находились скандалисты похлеще. В первой половине 20-х годов Тиняков сотрудничал в «Красной газете», писал статьи о литературе, которые даже по тем временам выделялись хамски пренебрежительным тоном, а в 1926 году вышел на Литейный просить подаяния. Его выгнала на улицу не нужда, а все та же потребность в вызове, выверте. «Работаете? – спрашивал он у знакомых писателей. – А по мне лучше торговать своим телом, чем работать», и похвалялся, что набирает за день до пяти рублей («это куда лучше литературы») и каждый вечер ужинает в ресторане. Живописный нищий на Литейном был хорошо известен в городе, плакатики с надписями «Писа-

тель», «Поэт», «Подайте бывшему поэту» вызывали интерес и сочувствие. Тиняков продолжал сочинять стихи и декламировал их в пивных<sup>1</sup>. В 1930 году его осудили за антисоветские стихи и нищенство на три года заключения в концлагере, в 1934 году он вернулся в Ленинград больным, на костылях, и через несколько месяцев умер. Тиняков поразил Зощенко, он разгадал в этом образе смысл пугавшей его «нищеты», заключавшейся в нравственной гибели, в бездне падения талантливого человека. В повести «Перед восходом солнца» Зощенко цитировал стихи Тинякова:

*Пищи сладкой, пищи вкусной  
Даруй мне, судьба моя, –  
И любой поступок гнусный  
Совершу за пищу я.  
В сердце чистое нагажу,  
Крылья мыслям остригу,  
Совершу грабеж и кражу,  
Пятки вылижу врагу!*

Страшное видение «бывшего поэта» напоминало Зощенко гоголевского Плюшкина – живого мертвеца, «прореху на человечестве». В разговорах с Шостаковичем он не раз возвращался к Тинякову, смысл этих бесед можно восстановить по воспоминаниям композитора: «Тиняков – крайность, но не исключение. Многие думали так, как он делал, просто иные культурные люди не говорили об этом вслух... Психология современного мне интеллигента совершенно изменилась. Судьба заставила его бороться за существование, и он вкладывал в эту борьбу весь пыл интеллигента прежнего... Важным было – есть, урвать, пока еще жив, ломать жизни послаще». Их окружало множество тиняковых, талантливых и бездарных, но «все они действовали сообща. Они трудились, чтобы сделать наш век циничным, и преуспели в этом».

Тиняков – реальный человек и персонаж повести Зощенко «Перед восходом солнца». Осенью 1943 года первая часть повести вышла в журнале «Октябрь» и сразу стала литературным событием. Зощенко сообщал в письме: «Интерес к работе такой, что в редакции разводят руками, говорят, что такого случая у них не было – журнал исчезает, его крадут, и редакция не может мне дать лишнего экземпляра... В общем, шум исключительный». В следующем номере появилась вторая часть – и тотчас последовал запрет на продолжение публикации. Повесть Зощенко привела Сталина в ярость; «он полагал, что в военное время мы должны кричать только «Ура!», «Долой!» и «Да здравствует!», а тут люди публикуют Бог знает что. Так Зощенко был объявлен гнусным, похотливым животным, у которого нет ни стыда, ни совести», –

<sup>1</sup> Это не считалось зазорным, пивные были своего рода мужскими клубами. Зощенко вспоминал, как Есенин читал в ленинградской пивной поэму «Черный человек»; излюбленным местом встреч Заболоцкого, Хармса, Олейникова была пивная на углу канала Грибоедова и Невского проспекта.

вспоминал Шостакович. Дело не только в этом, Сталин почувствовал главное – перед ним была исповедь свободного человека, размышление о победе разума над страхом. Такого с избытком хватало для опалы, после этого писателю полагалось покаяться и смиренно ждать решения своей участи. Вместо этого Зощенко обратился к Сталину с просьбой снять запрет с публикации: «Я не посмел бы тревожить Вас, если бы не имел глубокого убеждения, что книга моя, доказывающая могущество разума и его торжество над низшими силами, нужна в наши дни». Этот писака посмел обращаться к вождю на равных, убеждать и перечить! Сталин не ответил, вместо этого на Зощенко обрушился поток газетной брани, его обвиняли в невежестве и пособничестве врагу. И поделом ему, решили литераторы, он в который раз нарушил рабские правила, а трусость чувствительна к обиде. Особенно гневались писатели с репутацией смелых людей: «он получил по заслугам», – говорил Константин Симонов, Шкловский публично обличал, а старый приятель Катаев потребовал исключить Зощенко из редколлегии журнала «Крокодил». «Ну, Миша, ты рухнул!» – повторял он, не скрывая злорадства. Однако запрет повести был только репетицией, первым знаком грядущей расправы. Зощенко вернулся в Ленинград, его дела постепенно налаживались, его снова стали публиковать, переиздавать, театры ставили его пьесы. «Я теперь вроде начинающего, – писал он редактору Лидии Чаловой. – Мне-то это безразлично, даже легко... по мне, все равно, чем заниматься. Хоть куплетами. Работать буду, а что именно – это уж не такой значительный вопрос... Однако трудности будут дьявольские».

Предчувствие дьявольских трудностей не обмануло Зощенко – после победы народа в войне Сталин опять занялся вопросами литературы. В августе 1946 года редакторов ленинградских журналов «Звезда» и «Ленинград» неожиданно вызвали в ЦК. Узнав, что в Москву вызван и секретарь ленинградского горкома П. С. Попков, литераторы всполошились и всю ночь гадали в вагоне «Красной стрелы», в чем они провинились. В здании ЦК их провели в зал, рассадили поодиночке, а происходившее потом, при всем ужасе, было «прямо из Зощенко». Редактор «Звезды» П. Л. Капица вспоминал, как в президиуме «появились трое солидных мужчин. Андрея Александровича Жданова мы, конечно, сразу узнали... Он занял председательское место. Двое усачей уселись по бокам». Капице очень хотелось узнать, кто эти усачи. «За соседним столиком, слева от меня, сидел сотрудник аппарата ЦК. Я пригнулся к нему и шепотом спросил: «А кто тот седой справа?». Сосед в ужасе отшатнулся – Капица не узнал Сталина! Портреты величавого, благообразного вождя были повсюду, но «у этого старика сквозь редкие седые волосы просвечивала лысина, лицо было рябоватым и бледным... одет он был как-то по-домашнему: просторный темно-серый костюм полувоенного-полупижамного покроя». Все шло как в безумном сне-перевертыше: Сталин сидел в пижаме, зато драматург Вишневский был в мундире «при всех орденах,

медалях и даже при царских георгиевских крестах»; ленинградцы выходили к президиуму, что-то лепетали и на ватных ногах возвращались на место. «Говорите зубастей!» – прикрикивал на них Сталин. Разбирательство было выдержано в военно-пикарескентном стиле: «Зачем вытаскивали старуху? – спрашивал вождь об Ахматовой. – Она, что ли, будет воспитывать молодежь?» «Ее не переделаешь», – уныло отвечал поэт Прокофьев. С особым ожесточением Сталин обрушился на Зощенко: «Хулиган ваш Зощенко! Балаганщик писака... Мы хотим отдохнуть, смеяться. Он это улавливает, но его смех – рвотный порошок». Грубая брань и мутная ненависть вождя произвели на писателей глубокое впечатление: «Вот она – гениальная простота! Такой занятой, а почти все журналы читает и фильмы смотрит... А как четко и ясно формулирует!» – восторгались они по пути в гостиницу. Через день Жданов прочел им проект постановления ЦК, и когда они осмелились попросить слегка смягчить стиль, рыкнул: «Подрессорить хотите? Не выйдет!». В Ленинград они возвращались вместе с Ждановым, им было так тошно, что они отказались даже от коньяка, который разносили в вагоне. В день приезда Жданова в Смольном собрали партийный актив и творческую интеллигенцию Ленинграда. Постановление ЦК и доклад Жданова, который особо остановился на «пошляке и подонке» Зощенко и «полумонахине-полублуднице» Ахматовой, был для слушателей как гром с ясного неба. Почему для разгрома выбрали именно эти имена? И действительно, почему? «Мне кажется, – говорил Шостакович, – что главной причиной нападков как на Зощенко, так и на меня стали союзники. В результате войны популярность Зощенко на Западе значительно выросла. Его часто публиковали и охотно обсуждали... Сталин пристально следил за зарубежной печатью... заботливо взвешивал славу других людей и, если она казалась слишком весомой, сбрасывал их с чашки весов... Во время войны каждый слышал об Ахматовой, даже те люди, которые никогда в жизни не читали стихов. Тогда как Зощенко читали все и всегда». Имя Ахматовой тогда было окружено поклонением, незнакомые люди приносили в ее дом цветы; во время выступления в Москве весной 1946 года зал встал, когда она появилась на сцене. «Кто организовал вставание?» – раздраженно допытывался Сталин. Шостакович прав, вождь мучила зависть.

После постановления ЦК и выступления Жданова Ахматову и Зощенко исключили из Союза писателей, лишили продовольственных карточек. Друзья старались помочь Ахматовой, приносили продукты, «они покупали мне апельсины и шоколад, как больной, а я была просто голодная», – вспоминала Анна Андреевна. Зощенко, независимому, гордому и одинокому в своей среде человеку, пришлось еще труднее, его семья голодала. Хлеб можно было купить на рынке, но он стоил невероятно дорого, и приходилось продавать мебель, вещи; за доплату Зощенко обменял свою квартиру в писательском доме на меньшую. От голода у него опухали ноги, он ходил с трудом, соседи-писатели при встрече отводили



глаза или шарахались в сторону. Актриса Елена Юнгер подошла к нему на Невском, поздоровалась, взяла под руку. «Разве вы не знаете, Леночка, что нельзя ко мне подходить? Почему вы, увидев меня, не перешли на другую сторону?» – спросил Зощенко. Газетная травля не утихала, и опять материализовались персонажи его рассказов, они жаловались и обличали Зощенко. Жительница города Черкассы писала, что он разбил ей жизнь: «Будучи вдовой, я второй раз вышла замуж за начальника почты. Мой муж был красивый парень. И вот появился ваш глупый рассказ о вдове, которая купила на время у скаредной молочницы мужа за пять червонцев», и им с мужем не стало житья от насмешек. Ночами Зощенко выходил из квартиры и до рассвета сидел на подоконнике лестницы с собранной для тюрьмы котомкой, ему не хотелось, чтобы его арестовали дома. Но время шло, его не трогали, и вокруг засуетились тиняковы, которые желали воспользоваться его талантом. Московская поэтесса пришла с предложением: «Михаил Михайлович, так как вас теперь вообще не будут печатать, а я хочу славы, то вы напишите оперетту, песенки к ней я могу написать сама. Все это, конечно, пойдет под моим именем, а часть гонорара я дам вам». Зощенко отказался. Объявился еще один персонаж, Валентин Катаев, он много раз предавал Зощенко, а после каялся, лстыл – тиняковы хорошо различали, где поддельное, а где настоящее золото. Зощенко простил ему предательство в 1943 году, но в 1946 году выступления старого приятеля отличались особой подлостью. Катаев приехал в Ленинград и позвонил ему: «Миша, друг, я приехал, и у меня есть свободные семь тысяч, которые мы с тобой должны пропить. Как хочешь, сейчас я заеду за тобой». Жена переводчика Гитовича Сильва вспоминала об этой встрече: «В открытой машине, кроме него самого, сидели две веселые раскрашенные красотки в цветастых платьях, с яркими воздушными шариками в руках... – Миша, друг, – возбужденно говорил Катаев, – не думай, я не боюсь. Ты меня не компрометируешь». «Дурак, это ты меня компрометируешь», – ответил Зощенко и медленно пошел прочь... «Без разделенья, без ответа, без участия, как бессемейный путник, останется он один посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество», – писал Гоголь о судьбе писателя-сатирика. А что же читатели, неужели они забыли Зощенко? Нет, он по-прежнему оставался любимым народным писателем, ему приписывали авторство ходивших в стране анекдотов. Обнаруживались новые, неожиданные для властей почитатели Зощенко: в 1951 году в СССР эмигрировал поэт Назым Хикмет, который 17 лет провел в турецких тюрьмах. Имя Хикмета было символом преследования коммунистов в буржуазных странах, и в Москве его встретили с почетом. Хикмета спросили, с кем он хотел бы увидеться в первую очередь, он ответил – с Мейерхольдом и Зощенко. Видимо, в турецкие тюрьмы давно не доходили вести из страны Советов. Незвестно, как ему объяснили отсутствие Мейерхольда, а про Зощенко сказали, что он очень болен и врачи запрещают с ним видаться.

(К этому времени Зощенко начал «выздоровливать», его приняли в группком драматургов и стали изредка публиковать). Да зачем товарищу Хикмету Зощенко, вокруг столько замечательных писателей! Но он ответил, что Зощенко, Мольер и Гоголь его любимые классики, что рассказы Зощенко поддерживали его в тюрьме, что юмор этого писателя вызывает симпатию к советским людям. Ах, вот как? Странно... Ладно, увидитесь, когда выздоровеет.

Но Зощенко не дали «выздороветь» – новая волна травли поднялась после встречи писателей с английскими студентами в мае 1954 года, когда на свете уже не было ни Сталина, ни Жданова. Мемуаристы не пожалели бранных слов для этих юнцов, но справедливо ли их винить? Один из них, Ричард Дж. Кук вспоминал, как перед поездкой в СССР «эксперт по русским вопросам» рассказывал нам, что русская литература после смерти Сталина находится в преддверии больших перемен. Происходит нечто вроде бархатной революции». Мальчишки чувствовали себя первооткрывателями коммунистических джунглей и на встречах с советскими людьми пытались затеять дискуссию о Троцком, о расстрелянном Бери и прочих интересных вещах. В Ленинграде им предложили встретиться с писателями – почему бы и нет? Видимо, для иллюстрации плодотворной работы партии с литераторами на встречу призвали Ахматову и Зощенко, и один из студентов задал вопрос, как они относятся к постановлению 1946 года. «Зощенко встал и шагнул вперед. Мы сразу почувствовали, что может произойти нечто важное. Аскетические черты его лица были искажены нервным напряжением, – вспоминал Кук. – Зощенко говорил, что не согласился с постановлением ЦК и написал об этом Сталину, что он не мог принять обвинений Жданова, потому что всегда работал с чистой совестью». Но со временем многое в постановлении показалось ему справедливым. «На сегодняшний день я не могу сказать, прав я или нет, и насколько. История покажет». Ахматова ответила коротко и холодно – с постановлением партии согласна. Ее ответ и сам ее облик разочаровал студентов, Ахматова показалась им заурядной буржуазной дамой. По свидетельству Кука, для них «героем дня был Зощенко, и я думаю, что мы были слишком уставшими и чересчур несведущими в тех проблемах, которые возникли во время нашего разговора, чтобы требовать чего-то большего, чем то замечательное зрелище, каким была попытка его искреннего выступления» [курсив мой – Е. И.]. Юнцы не поняли, что стали статистами пролога трагедии, что в этот момент они вошли в историю русской литературы. После встречи с писателями их пригласили смотреть мультфильмы, что бы им мультиками и ограничиться! О студентах вспоминали с гневом, мемуаристы недоумевали, зачем Зощенко что-то объяснял мальчишкам, и объясняли это наивностью и доверчивостью писателя. «Бедный Михаил Михайлович, – с горечью писал Шостакович, – благородство сослужило ему плохую службу». Но искренность и серьезность была отличительной чертой Зощенко, и его слова не раз повергали писателей в шок; в 1943 году, когда его

поносили за повесть «Перед восходом солнца», он сказал им: «Какие вы злые и нехорошие люди». Искренность Зощенко вызывала неловкость у прохоженных негодяев, а у пришибленных страхом пробуждала мучительное чувство стыда; Зощенко, по словам Иды Слонимской, был «мучительный человек». Через месяц после встречи со студентами в ленинградском Доме писателя состоялось собрание, его в который раз судили тиняковы. Зощенко обвинялся в том, что посмел публично заявить о своем несогласии с постановлением ЦК. Из Москвы прибыло начальство, писатели Симонов и Кочетов, они уговаривали его покаяться – «покло니шься – не переломишься», скажи, что виноват, и все уладится. Они помнили, что Зощенко не каялся ни в 1943, ни в 1946 году, но не понимали причины его твердости: то, что окружающие считали упрямством, высокомерием, гордыней, была верность кодексу человеческой чести, всегда диктовавшая позицию Зощенко. Собрание катилось по привычной колее, выступали безликие обличители, временами они двоились, как бесы, – то Друзин, то Друц... (В стенограмме не все записано дословно, стенографистка плакала, слезы мешали писать, и кое-что она восстановила по памяти.) Последним говорил Зощенко. «М. М. выходит на трибуну, маленький, сухонький, прямой, изжелта-бледный, – вспоминала художница Ирина Кичанова. – «Чего вы от меня хотите? Чтобы я сказал, что согласен с тем, что я подонок, хулиган, трус? А я русский офицер, награжден георгиевскими крестами. Моя литературная жизнь окончена. Дайте мне спокойно умереть». Сошел с трибуны, направился к выходу». В мертвой тишине раздались одинокие хлопки, аплодировали Кичанова и писатель Израиль Меттер. Странно аплодировать человеку, зовущему смерть, но как иначе выразить сочувствие? Многие участники собрания любили и высоко ценили Зощенко, но за него не вступился никто. Они рассуждали просто: перечить начальству нельзя, и обвиняемому не поможешь, и себя погубишь. Меттер запомнил разговор двух писателей после собрания (в мемуарах о Зощенко поражает огромное число замолчанных имен, анонимов вроде «писатель N»): «Для меня сейчас самое главное – говорил один из них, – чтобы меня оставили в покое, дали мне возможность писать... А все остальное: эти собрания, все эти массовые дружные поднятия рук... гневные письма, которые иногда, когда нет выхода, нет возможности уклониться, подписывают, – все это труха, и она забудется.... И судить будут о нас по тем рукописям, что мы оставим в столе». Но оставленное в столах до лучших времен в основном оказалось трухой, и мы судим об этих людях по подписям под позорными письмами и по мертвой тишине того зала.

Судьба Зощенко опять вернулась на прежний круг: нищета, невозможность публиковаться; жене предложили на службе сменить фамилию или уволиться, сам он пытался наняться куда-то мыть пробирки – не взяли. «Я тот человек, который растянул свою жизнь. Она должна была кончиться куда раньше... Умирать надо вовремя», – говорил Михаил Зощенко. Если Москва чувствовала

приближение перемен, то в Ленинграде сохранялась свинцовая неподвижность. Осенью 1954 года актеры Миронова и Менакер прервали гастроли в городе, потому что Ленсовет потребовал убрать с афиш имя Зощенко: «Мы... не хотим, чтобы имя этого подонка оскверняло стены нашего города-героя!» В былые времена актеры не решились бы на такое фрондерство, но теперь все менялось. Симонов увидел Зощенко в московском ЦДЛ, фамильярно приобнял: «О, Михал Михалыч! Идемте ко мне!», Зощенко молча отвел его руку. Соседи по писательскому дому приветствовали его рукопожатием, сочувственно молчали, но все же старались обойти стороной: больной, изможденный, с потемневшим лицом Зощенко вызывал чувство неловкости и вины. Ему пора было все забыть, жить сегодняшним днем, в 1956 вышли его «Избранные повести и рассказы», но «ему нужна была полная и почетная реабилитация. Он говорил в том духе, что, мол, обвинили и опорочили его публично и печатно на весь мир, а вот нигде не сказано, что он оскорблен напрасно<sup>1</sup>», — вспоминала И. Слонимская. К Зощенко вернулась депрессия, он писал с трудом, выносил присутствие лишь самых близких, в последние месяцы почти не мог есть. Его медленное угасание очень напоминало обстоятельства смерти Гоголя. Михаил Михайлович Зощенко умер 22 июля 1958 года. Городские власти не разрешили хоронить его на Литераторских мостках Волковского кладбища, и Зощенко был похоронен в Сестрорецке.

Я помню юбилейный вечер памяти Зощенко, кажется, в честь его 80-летия. Вечер проходил в том зале Дома писателя, где его не раз обличали и судили, и был разительно не похож на другие юбилейные вечера. Обычно в таких собраниях возникала особая атмосфера, словно протягивалась невидимая связь между сидящими в зале и тем, ради кого они собрались. А здесь была физически ощутимая пустота, хотя все происходило, как на других юбилеях: были речи и воспоминания, в первых рядах сидели старики-писатели с растроганными лицами, в президиуме — сын Зощенко, на сцене был огромный портрет юбиляра. Но все речи гасли в вакуумной пустоте, воспоминания о веселье «серапионов» не веселили, и поверх всех, поверх всего смотрели печальные глаза юбиляра. Зощенко н е б ы л о в тот вечер в зале, его не было с людьми, запоздало окликавшими его вдогонку. Он пребывал в ином измерении, в незримом кругу одиночества и мог бы повторить вслед за Гоголем: «И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озираять всю громадно-несущуюся жизнь, озираять ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!»

---

<sup>1</sup> Постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» было отменено решением ЦК КПСС в октябре 1988 года, до того времени оно формально оставалось в силе.

## *Марк Богославский* *ЗВУК НА ВЫДОХЕ*

### ОДЕССА-ХАЙФА

Когда в душе всё с места стронута  
И сердце подступает к горлу,  
Как с мачехой, прощаясь с родиной,  
На помощь позови иронию.

А чайки плачут и смеются,  
А море ходит ходуном...  
Там, в мареве, осталась юность,  
Вся жизнь твоя и отчий дом.

Ты был и будешь отщепенцем! –  
Но бросит якорь теплоход,  
И станут музыкой блаженства  
Печаль, и старость, и исход.

Тогда в судьбе твоей опальной,  
Суля гостеприимный кров,  
Возникнут улицы и пальмы  
При свете ста прожекторов.

И всё, что струны сердца трогает,  
Начнётся сызнова, с нуля:  
Дыхание и шёпот родины,  
Деревья, воздух и земля.

### ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

Где Юлик Даниэль? Где Леня Тёмин?  
Я свёл их. И они сидят и пьют.  
Свет не включали. Но совсем не тёмно  
Высоким трёпом созданный уют.

Кто даст нам персональное бессмертье?  
Каприз судьбы? Нет, верные друзья!  
Те, что любовью вечной нас отметят  
И прокричат забвению: «Нельзя!»

Нельзя, чтоб меркли голоса и лица!  
Чтоб, сдерживая огорченный вздох,

Искала с вдовой нежностью столица  
Живые тени канувших эпох!

И ты, чья лира из воловьих жил –  
Как скрипка нежный, буйный, словно бубен  
Куда ты канул, Боря Чичибабин,  
С которым я воинственно дружил?

Я жив. И вы живите! Пейте водку,  
Рубите правду весело и зло!  
Бессмертны ваши жесты и повадки –  
Не вам, а мне безумно повезло.

Я принят был в ваш неподкупный круг,  
Где Лёха Пугачев бывал в ударе,  
Где песня, вырываясь из-под рук,  
Сулила гибель старенькой гитаре.

За пять минут до вечного причала,  
Забыв сказать прощальные слова,  
Кого из вас вчера поцеловала  
История – печальная вдова?

Сегодня трепачи и выпивохи,  
Вы завтра вступите в разряд мессий  
И станете лицом своей эпохи  
И гордостью России...

## ПОЭЗИЯ

И храбрость! Роясь в требухе  
Кривыми пальцами авгура,  
В сладчайшем пребывать грехе  
Полупророческого гула.

То не в сенате восседать  
И не вино варить в реторте, –  
То в горле у меня расторгли  
Велеречивые восторги

Серебряную благодать.  
В ушах расширились сосуды –  
И залит кровью нежный слух.  
Но звук, дорвавшийся до сути,  
Он не звучание, он – дух.

Два мира – полных два ведра –  
Качаясь, хлещут мне на брюки.  
В мозгу кровавая дыра,

Ближе к экватору  
люди имеют три времени года.  
Нищенку осень  
гонит в три шеи весна.  
Срам свой осенний  
прикрыла ладошкой природа,  
Перед нечаянным зрителем  
полуобнажена.

Эхом русской зимы  
из-под юбки проглянет колено,  
И в прозрачную блузку  
упрутся упруго соски.  
Розоватый позор их  
да будет благословенным –  
Всем грядущим изменам  
и злым языкам вопреки!

Мне б на этом базаре  
избитых, затюканных истин  
Отыскать молодые,  
как зимнее небо, глаза –  
Эти синие очи,  
что писаны Божеской кистью:  
Приглядитесь: в углу  
собралась и вот капнет слеза.

Мы, случилось, бледнели  
и бешеных слёз не стыдились.  
Но потом отходили  
и души свои берегли  
И, как учит нас алгебра,  
плюс поменявши на минус,  
Объясняли друг другу,  
что время сдаваться на милость  
Не небесному свету,  
а грешным подсказкам земли.

А хотелось иного!..  
войти, просочиться в глубины  
Не телесности женской –  
в туманные недра души,  
Прикоснуться к невнятице,  
к тайне твоей соловьиной.  
И никто мне не в праве  
указывать: мол, не греши!

Ананас землянике  
вручает и запах и вкус.  
А тебя подарил мне  
счастливый дурак Боттичелли.  
Он не ведал, что я  
так картиной его увлекусь,  
Что однажды рискну  
раскачать мировые качели.



**НАТЮРМОРТ У РАСПАХНУТОГО В СТОРОНУ ОКЕАНА ОКНА  
(ОСКАР УАЙЛД В ГОСТЯХ У УОЛТА УИТМЕНА)**

Стол без скатерти,  
ломтик лимона на блюде.  
И степная полынь  
в узкогорлой греческой вазе.  
Океанический ветер —  
как метафора революции  
С её трагедийным величием и фарсовым безобразием.  
Туфли сиротствуют.  
Пиджак пожимает плечами,  
Спрашивая у галстука:  
«Где наш хозяин? Ну где он?»  
Боже, как нужен  
божественный привкус печали  
Нашим жалким житейским идеям!  
Слово купца  
измеряется банковским счётом?  
Слово поэта  
не знает ни мер, ни границ, ни причин!  
Лучше заполнить печалью  
пчелиные соты,  
Чем разгонять коньяком холод внезапных кончин.  
Боренька в камере ждал, когда его уведут конвоиры.  
А ты в Хиросиме спала,  
коленями мужа обняв.  
На а прочих других,  
как клопов-тараканов, травили:  
и её, и его, и меня...  
Раз разрезан арбуз —  
выбирай свой ломоть, упивайся!  
Корку бросишь свинье, —  
ибо сраму не имут скоты.  
Повернувшись к коту,  
Вопроси доверительно: «Вася,  
Не пора ль перейти нам на ты?»  
Распахнувши окно,  
улыбнись океану и солнцу, —  
Как учил нас Уитмен...  
холодным запей молоком  
Океанское утро,  
что нам лишь однажды даётся:  
В остальное же время  
по яйцам нас бьют молотком.

\* \* \*

Драматургия тишины,  
Тепла и солнечного света  
Построена вокруг сосны  
И умирающего лета.

Я все обдумал. Я люблю  
Кристаллы тишины и боли  
И небо, – павшее в бою  
С земной бессмертной любовью

Я плачу и готовлюсь к битве  
С друзьями, старостью, судьбой,  
Ошеломленный изобильной  
И безнадежной суетой.

Я плачу. И со мной деревья,  
Трава и скользкая тропа,  
Творцы и твари, и творенья  
Рыдают: их душа слепа!

Я плачу над самим собой –  
Еще живым, уже убитым.  
Над бытием, что стало бытом,  
Над жизнью, – что была судьбой

Смирение есть акт свободы.  
Я сам себе хозяин. Я  
Хочу, творя свою природу,  
Менять обличье бытия.

Мной будут править не обиды,  
Не самолюбие, не мой  
Всезнающий, издавший виды  
Тщеславный разум бытовой,

А свет, – спокойный и упрямый.  
Свет без названия. Тот свет,  
Который знать не хочет драмы  
Житейской суеты сует.

## *Биньямин Таммуз*

### *САХТУТ* \*

Бнайя Рахманинов был в Тель-Авиве первым вором. До него в нашем городе не было воров, а те, кто появились после, были просто мошенниками. Бнайя был первым, до всякой традиции, и все, что бы он ни делал, было впервые. Даже и нерелигиозные люди вынуждены признать, что отсутствие традиций составляло одну из самых серьезных проблем в жизни Тель-Авива. Все было внове. Городу от силы исполнилось два-три года, когда Бнайя Рахманинов прибыл из России в Палестину. Его родители хотели дать ему настоящее еврейское образование в гимназии «Герцлия», да только гимназия сбежала от него прежде, чем он успел завершить учебу. В 1917 году, когда турки выселили жителей Тель-Авива из города, гимназия временно перекочевала в небольшую деревню у горы Кармель, а когда это учебное заведение вновь возвратилось в Тель-Авив, Бнайи там уже не было. Он оскорбился, – таково было его объяснение много лет спустя, когда он рассказывал журналистам о событиях своей жизни, – и отправился совершать набеги с отрядом бедуинов. О том периоде у нас имеются сведения, полученные исключительно от самого Бнайи, и мы бы не советовали им особенно доверять, да простится нам такое замечание. И нет тут ни малейшего желания умалить его достоинства; только как совместить несовместимое? Ведь Бнайя был почти слеп, у него на носу сидели очки со стеклами толщиной в палец, а тут его рассказы о турецком ружье, из которого он, якобы, стрелял по цели и ни разу не промахнулся. С расстояния в триста шагов попадал в веревки, которыми были связаны верблюды, следуя один за другим в караване, избранном Бнайей для набега вместе с его бедуинами. А разорвать веревки выстрелом надо было для того, чтобы испуганные верблюды разбежались в разные стороны и рассеялись по пустыне. Тогда уж Бнайя подбирал их вместе с поклажей, как брошенные насадкой яйца, по его образному выражению. Так было напечатано в газете, и нет смысла оспаривать эти слова.

В 1924 году, зимой, Бнайя возвратился в Тель-Авив, никого о том предварительно не уведомив. О его возвращении стало известно благодаря следующему случаю: какой-то лавочник заметил, что у него пропали две банки сметаны. Он подал жалобу в полицию, и офицер Иехезкель, который яростно ненавидел всякое преступление, застиг Бнайю на морском берегу, когда рядом с ним стояли две совершенно пустые банки, а сам он выводил носом рулады, недвусмысленно опознаваемые как храп.

---

\* *Сахтут* (турецк.) – мелкая монетка, в переносном смысле – сущая малость.

Судья Изааксон внимательно выслушал показания Бнайи, который, по его словам, был вынужден красть, поскольку был голоден. Изааксон был ученым евреем и до того, как стал судьей, получил звание раввина. Он отнесся к делу о сметане со всей серьезностью и, очнувшись от своих глубоких мыслей, постановил так:

– Что ж, если голодный человек, не про нас будь сказано, крадет каравай хлеба, добро. Но где это видано, чтобы голодающий крал сметану – пищу богачей, деликатес и излишество, как ни погляди?

И он определил Бнайе шесть недель тюремного заключения.

– И из-за этого *сахтута* господин судья назначает мне такой срок? – изумился юный Рахманинов.

В те дни Бнайя был не только первым вором в Тель-Авиве, но почти новичком, вроде начинающего службу солдата еще не созданной армии, и все его изумление перед решением судьи шло от чистого сердца, можно даже сказать, из глубины его совестливого сознания, когда он понял, что с ним поступают в высшей степени несправедливо. Однако судья был неумолим и лишь одно занимало его:

– Что это такое – *сахтут*?

– *Сахтут* – это десятая часть *ишравие*, – пояснил Бнайя.

– А *ишравие*? – вновь спросил Изааксон. Как это вообще свойственно еврейским мудрецам, Изааксон отличался неуголимой любознательностью и был готов учиться даже у вора. – Как говорили наши раввины и учителя, у всех, обучающихся меня, я учился, и более всего – у моих учеников. А в нашем случае, «у моих учеников» – считай, у самых отпетых во Израиле, не про нас будь сказано, – заметил Изааксон.

– *Ишравие* – это турецкий грош, – вежливо разъяснил Бнайя. Он надеялся, что за вежливое обращение Изааксон сбавит ему срок.

Изааксон сказал:

– Спасибо. Кто следующий?

И Бнайя пошел отсидживать свои шесть недель.

Большинству читателей наверняка знакомы тюрьмы нынешнего Тель-Авива, но тюрьма тех далеких дней памятна лишь его основателям и первым строителям. То была небольшая комнатка, расположенная под водонапорной башней на бульваре Ротшильда, в здании, где расположились два учреждения, без которых не обходится ни один уважающий себя город, – полиция и пожарная станция.

До того, как пришел Бнайя, не много евреев побывало в той комнатке. Там сидели в основном арабы и пьяный армянин, которого приводили, чтобы проспался. И если раз-другой случалось и нашим посидеть в тюрьме, они сидели там, чтобы уберечься от мести разъяренной жены, или скрывались от негодующего кредитора, грозившего убить должника. Говоря «убить», кредитор имел в виду стереть в порошок проклятьями, но полиция предпочитала не рисковать.

Там-то сидел Бнайя и там повидал всех знаменитых людей нашего города: начальника полиции, трех опасных полицейских из семи, бывших у нас тогда, и пожарника Сулку, который каждую ночь проводил на станции, за что получал жалованье, хотя команда называлась «добровольная пожарная дружина».

Выйдя из тюрьмы, Бнайя поклялся отомстить судье Изаксону и еще поклялся, что с этих пор станет действовать с большей осторожностью.

От мести судье он отказался в первый же день, поскольку едва вышел на улицу, как встретил Изакона, и тот велел ему непременно приходиться к ним домой обедать в течение недели, пока не подыщется какая-нибудь работа. («Способная прокормить», – сказал Изакон. А Бнайя подумал: что может прокормить лучше, чем *сахтут*, который плывет к тебе в руки без всякой работы?)

Из-за этого происшествия он вычеркнул Изакона из списка своих врагов, а за ту неделю, что обедал за кошерным столом судьи, Бнайя набрался силенок и вновь был готов к свершениям. А раз был готов к свершениям, то и исполнил второй пункт своего обета. Он решил иметь дело только с арабами. Евреи для него слишком умны. Он и в самом деле поймал на берегу Менасие двух арабов, которые гнали перед собой трех груженных арбузами верблюдов. Для арабов Бнайя не пожалел тумачков и не спускал им до тех пор, пока они не свалились полумертвые на песок; а верблюдов он погнал к альма-матер своей юности, о которой сохранил теплые и светлые воспоминания, то бишь к гимназии «Герцлия». Приближаясь к зданию, он сообразил, что если припрячет верблюдов и арбузы в гимнастическом зале, они будут обнаружены учащимися, поэтому пошел к домику школьного сторожа и спрятал верблюдов у него во дворе, между стеблями тростника и кустами олеандра, которые росли у фонтана. Бнайя, как уже отмечалось, был близорук, и не увидел, что верблюды высоко возносят свои головы на длинных шеях и озираются печальными глазами поверх кустов и тростника, ожидая хозяев и спасения. И в самом деле, два араба воспряли, встали на ноги, отряхнули с одежды песок и бегом направились в город, топя и оглашая окрестности своими арабскими криками, пока не добрались до улицы Ахад-а-Ама и не увидели верблюжьих головы, гордо возвышающиеся над зелеными стеблями.

Бнайя тем временем вошел в сторожку и сказал:

– Смотри, Аарон, я предлагаю тебе сделку. Я привел к тебе трех верблюдов с арбузами, а ты иди, продай товар, и поделим выручку пополам.

Сторож взял в руки метлу, которой частенько созывал учеников в классы, стоило им замешкаться во дворе после звона колокольчика, и сказал Бнайе так:

– Видишь эту метлу, *йа-асаїат бейт аль-мой*<sup>2</sup>? Сейчас я опущу ее на твою голову, не сойти мне с этого места. Иди, осел, возврати верблюдов их владельцам, пока не явилась полиция.

В это мгновение во дворе послышались вопли пострадавших.

Аарон и Бнайя вышли из домика, и Аарон сказал арабам:

– Берите свое добро и убирайтесь поскорее.

Но Бнайя, чувствительный и обидчивый по природе, преисполнился горечи от того, что Аарон не принял его предложения о партнерстве, и оттого влепил арабам по паре затрещин и проклял

<sup>2</sup> *Йа-асаїат бейт аль-мой* (арабск.) – палка для чистки сортира.

их, и их отцов, и отцов их отцов – до десятого рода, как выучился в свое время у бедуинов, по его же словам.

Офицер Иехезкель узнал о происшествии с верблюдами и о разговоре в сторожке от верного человека, но тогда Бнайя был ему уже чем-то вроде старого приятеля, потому что в те дни, когда сидел в тюрьме, они играли с Иехезкилем в карты. А с приятелями по мелочам сче­ты не сводят. Ладно, сказал Иехезкель, все равно этим не кончится. Еще попадет­ся мне в руки.

Изрек – и сам не знал, что пророчит.

Мы не ставим себе целью рассказать обо всех деяниях нашего первого вора, хотим лишь обозначить основные вехи на его пути. На то есть две причины: во-первых, зачем радовать наших врагов? А во-вторых, из педагогических соображений: наша молодежь читает запоем, и это еще как-то можно понять. Но если мы поведаем обо всех деяниях Бнайи, нас могут счесть подстрекателями к преступлениям. И следуя правилу «не будите, не тревожьте»<sup>3</sup>, мы решили ограничиться малым.

Однако расплатиться с долгом, не истратив ни гроша, невозможно, и если мы не расскажем о последних днях Бнайи, то найдутся такие, кто подумает, будто он и теперь среди нас и сеет в народе страх и тревогу. А это не так. Бнайя умер несколько лет назад, умер от недуга, от пьянства, и так исполнилось о нем то, о чем говорит пословица: конец вора – виселица.

Но прежде, чем умереть, а он уже и тогда был серьезно болен и почти совершенно слеп, Бнайя нашел себе свой собственный, ни на что не похожий род воровства и им-то и занимался. Бедняга более не был способен на подвиги, если позволительно так выразиться, но желудок требовал свое, и всяк во Израиле обязан добывать себе пропитание, даже если он вор. И вот Бнайя нашел себе пару, предназначенную ему на небесах, отпрыска почтенного семейства из жителей нашего города, чье имя я не стану называть из уважения к отцу мальчика и двум его дядьям. И этот достославный отрок единожды в неделю, в пятницу вечером, по наступлении субботы, отправлялся вместе с Бнайей на поиски добычи. Этот достойный юнец не запятнал себя воровством, Боже избави. Для этого он был слишком благородного происхождения, и со стороны отца, и особенно со стороны матери. Он просто пособлял Бнайе. Вы спросите, как?

Слепой Бнайя имел обыкновение обследовать кладовые, в которых хозяйки Тель-Авива хранили продукты и готовые блюда, чтобы не испортились в летнюю жару. Эти кладовые прозывались тогда в народе «люфт-шапкес»; их задние стенки делали из мелкой металлической сетки, чтобы воздух мог беспрепятственно проходить внутрь. Бнайя взрезал эти решетки в пятницу вечером, когда полки ломились от субботних кушаний. Тут и фаршированная рыба, и куриные пупки, и цимес, и прочие лакомства. Ими он насыщал свою поганую утробу целых семь дней, вплоть до следующего набега. Но когда Бнайя окончательно ослеп, пришлось ему действовать сообща, вместе с тем достославным отпрыском

<sup>3</sup> «Не будите, не тревожьте [любви, доколе не созреет]» (Песнь Песней, 3:5).

(который с тех пор совершенно возвратился в лоно религии и служит в должности, правда, не в самом Тель-Авиве, но все же среди евреев; он теперь женат и имеет детей). И вот тот-то отрок был у Бнайи поводом, вел Бнайю под покровом ночи и субботнего покоя и тянул его преступную руку вплоть до самой кладовой. А уж стоило Бнайе дотронуться до решетки, он знал, что делать. Тут благородный юнец покидал Бнайю и улепетывал во все лопатки, а наш герой принимался резать, и отгибать, и доставать, и нагружать, и волочить, избави нас Господи от такой напасти. Он сносил свой трофей на морской берег, складывал его между шезлонгами, где обретался круглый год, и лишь затем приступал к трапезе.

К вящей славе Израиля, народа жалостливого и милосердного, следует сказать, что тель-авивские хозяйки имели в те времена истинно еврейское сердце и не заявляли на непрошеного гостя в полицию. Я лично знаком с одним семейством, где для Бнайи специально оставляли небольшой ящик с едой и бутылкой вина для субботнего благословения. Но нашлись среди нас и такие, в особенности это касается литваков, для которых нет ничего дороже суда и справедливости. Эти-то, да простится мне неласковое слово, тотчас бежали в полицию заявить о постигшем их несчастье. Но только офицер Иехезкель был тогда уже шефом полиции, он покачивал себе головою и слушал, однако до дела никогда не доводил. И только если случалось ему встретить Бнайю на улице, он увещевал его, и укорял его, и зывал к его совести во исполнение своего полицейского долга. А Бнайя слушал и говорил в ответ:

– Иехезкель, ну честное слово, и из-за этого *сахтута* ты обижаешь меня средь бела дня?

Тем не менее, случилось, что Бнайя снова оказался на две недели в тюрьме. А дело было вот как. Он вторгся, не без помощи славного отпрыска, в кладовую госпожи Вайнштейн, супруги всем известного адвоката. А тот оказался литваком; он не только подал жалобу на налетчика, но и самолично явился в суд в качестве свидетеля. И поскольку он был адвокатом, Иехезкелю пришлось таки дать делу ход.

Литваки – люди разумные, как правило, и порой встречаются среди них такие, у кого сердце доброе с юности их, как у прочих людей. Все ж, несмотря на это, трудно с ними. Только на эту тему мы не станем особенно рассуждать, дабы не впасть в грех злословия.

Тот, пред Кем все сердца открыты, рассудит содеянное, а мы – кто мы такие, чтоб судить?

На надгробии Бнайи Рахманинова значится его имя, и имя его отца, и день его рождения, и день кончины. Только это и больше ничего. Лишние слова ни к чему, ибо всяк, кто добавит, убавит.

А что касается литовских евреев, о них не раз было писано и говорено, и мы не намереваемся присоединять свой голос к злопыхателям. Вот только сердце болит. А я, я русский еврей, и по отцу, родителю моему и наставнику, да почует с миром, и по матери, да будет земля ей пухом, и вот я говорю себе иногда: доколе?

*Перевела с иврита Зоя Копельман*

*Аркадий Ф. Коган*

## *В СТЕПЯХ ПОД ХЕРСОНОМ*

*Моей бабушке, а также всем,  
чья искра жизни теплится во мне*

А случилось это осенью года 1906 в Таврических степях неподалеку от славного, вероятно, города Херсона. Об ту пору не велись еще дискуссии о принадлежности этих земель, поскольку всем было известно, что бескрайняя равнина, раскинувшаяся от Дона до низовьев Дуная, от стен Киева до Черного моря, со времен Екатерины Великой мирно покоится в тени Российской короны.

— По какому такому праву?! — возмутится пылкий романтик. — По какому такому праву перекресток цивилизаций, где земля черна от крови сарматов, скифов, остготов, гуннов, славян, печенегов, хазар, половцев, монгол, татар, турок, так черна, что, кажется, черней и быть не может, по какому такому праву область эта пылится на задворках Империи, как старый рваный башмак в кладовке какой-нибудь Бабы Яги?

— По естественному, — ответит Мудрый автор, — ибо нет ничего естественней права сильного. Сильный, он ведь как поступает? Придет, увидит, победит — и вся недолга, он свою работу сделал, теперь можно и отдохнуть. И вот сидит Сильный на горе, жрет человечинку, девок лапает, балдеет. И тут со всех сторон сползаются к Сильному опарыши, могильные черви и прочие поедатели трупов. Вот они-то все оформят чин-чинарем и напишут законы, чтобы Сильный, не дай Бог, не выглядел в глазах потомков заурядным рэкетиром с базара, и объяснят Сильному, что он не столько даже Сильный, как Умный, да и вообще, реки крови пролиты им по доброте душевной, чтобы хуже не было.

Так ответит Мудрый автор.

Автор же Лирический не преминет заметить, что между Чернобылем и Черным морем ничего, кроме чернозема, и быть не может.

Что же касается меня, то я считаю, что пора авторам вернуться к нашим Херсонам.

Населял Таврию народ простой и разноплеменный: и русские, и украинцы, и немцы, и евреи, и татары, и еще, Бог весть, кто. Жили, в основном, крестьянским трудом, ремесленничеством да торговлей. Говорили каждый на свой манер, но в массе своей на терпком и тягучем южнорусском диалекте. Никого интересного места те не породили, разве, что Троцкого, батьку Махно, да в какой-то степени меня. Меня в той степени, что жила там моя бабушка Соня, но была она тогда совсем не бабушка, а десятилетняя шалунья, проказница и умница, и жила она, как и положено, в большой еврейской семье, которая кормилась от сельской мельницы.



«Ага! Кулачье жидовское!» – может подумать читатель. И будет, вероятно, прав. Во всяком случае, так мыслили себе и тогда, в давящем большинстве своем, обычные, но, надо полагать, добрые люди.

Да, любезные, может быть, это покажется вам странным, но евреев в Херсонской губернии не любили. Не любили Акселя-мельника, моего прадеда, не любили портных Хайма, Залмана и Лейба, не любили Элю-сапожника и даже нищего Мотла тоже не любили. А и то сказать, чего нас любить, что мы – девки какие, что ли? Мало того, что живем в чужой стране, так еще кичимся как бы благородным своим происхождением: мол, мы – богоизбранные. Тут не то, что холопу – помазаннику обидно станет. Ведь что в тяжкую минуту утешит душу? Что перед Богом-то хоть все равны. Так ведь нет, вылазят тут евреи во всей красе своей непохожести и давай объяснять иноверцам: «Равны-то равны, но мы всех равнее, всех пригожей и умнее». Как тут ни воскипеть гневом праведным человеку обычному, не обремененному печатью таланта или воли?

Ротмистр Баланчин был хам и жуткий антисемит. Он любил выпить водки, испытать судьбу картами и приударить за дамами. Когда мы говорим «выпить водки», то имеем в виду, если кому не ясно, нажраться до полнейшего оупения. Нажравшись, ротмистр имел обыкновение пройтись по местному Невскому строевым с шашкой наголо. Надо ли говорить, что евреи, бабы и куры при этом бросались вроссыпь, а местный мужик уважал ротмистра чрезвычайно?

Карты... О них разговор особый. Все, кто играет во что-нибудь, – неважно, в футбол ли, в секу ли, домино или преферанс – делятся на две категории в зависимости от отношения к игре. Для одних важен процесс сам по себе, для других существенен лишь результат. Баланчин относился ко вторым, а потому любил игры быстрые и шальные, любимейшей из которых была, разумеется, гусарская рулетка. Но с кем, скажите на милость, в этой херсонской дыре можно учинить сию забаву? С околоточным? С попом? С, – пардон, не при офицерах будь сказано, – купечеством? Кто из них, скажите на милость, способен был поставить на карту жизнь? Никто. А вот Баланчин был способен. По слухам, именно за причастность к какой-то темной истории, связанной с гусарской рулеткой, и был направлен ротмистр в эти степи надзирать за призывом.

Что же касается «приударить за дамами», то это надо понимать так: ежели ротмистру нравилась какая-нибудь селянка, в том смысле, что приглянулась, то он тут же сгребал ее в охапку, тащил в ближайший закуток, задирает ей все юбки и делал свое кобеляцкое дело молча, не обращая внимания на возражения партнерши, возможно, потому, что считал их надуманными. Исторгнув зачинающее, а потому находясь в состоянии мужского пресыщения, граничащем с отвращением к объекту его сексуальной активности, укладывая поникшее гвардейское достоинство, согласно Уставу, в левую штанину галифе, ротмистр вопрошал девицу: «Как звать?» – и, не выслушав ответа, так как не было в нем для ротмистра интереса

ну никакого, кивал головой в знак то ли понимания, то ли прощания, выполнял команду «Кругом!» и величественно удалялся в сторону шинка. Девушка же, непривычная к такого рода обращению, забывала рыдать и минут пять хлопала глазами, пытаясь постигнуть, что это было: жуткое наваждение или сладкий сон. Потом тяжко вздыхала, оправляла юбки, и следовала по жизни далее согласно маршрутному листу.

За эти штучки мужики неоднократно пытались ротмистра наказать, однако, все как-то не получалось, видно, время еще не пришло. И дело было даже не в том, что в драке Баланчин был жутко – мужики тоже были не подарки, – но робела еще крестьянская оглобля перед офицерским мундиром.

Вот только евреек ротмистр не трогал. Но на это у него была веская причина, которую он излагал примерно так:

– Для меня, боевого офицера, в чьих жилах течет княжеская кровь, – в этом месте Баланчин делал паузу и обводил слушателей строгим взором: не ухмыльнется ли кто (обычно не ухмылялись), – для меня пролить свое семя в жидовское брюхо – что для жида на Судный день свинину жрать. А если семя это взойдет? Это что же, сын мой в ермолке на базаре торговать будет?

Кто знает, может, и прав был ротмистр в этом своем предубеждении?

Квартировал Баланчин через несколько домов от моего прадеда и каждый раз, проходя мимо, харкал своим командирским голосом что-нибудь вроде:

– У-у, суки, жида пархатые...

Ну, а если видел кого-нибудь из детей, то незлобливо добавлял:

– Выблядки ясноглазые, шомполами бы вам пейсы подкрутить...

...Хата Панаса Стеценко стояла тоже неподалеку от прадедовых хоромов, хотя и совсем в другой стороне, чем дом, где снимал свои апартаменты Баланчин. По сути, географическая близость к моему пращуру была тем единственным, чем были схожи эти два человека. Во всем остальном Панас являл собой полную противоположность ротмистру, поскольку был мужик справный и, что называется, положительный: когда положено, работал; сколько положено, пил по праздникам горилку; за всегда знал, куды и шополжил. Хозяйство у Панаса было добротное, и, вообще, жил он правильной сельской жизнью. А еще был он добр. На Пасху не забывал дарить куличи даже евреям.

– А все ж жива душа, хоча и иродова, – как бы извинялся перед односельчанами Панас.

И все же был у Панаса один пункт, который мешал ему совсем погрузиться в обыкновенность: наказан был Панас талантом живописца. Вся округа знала, что лучше Панаса никто ряженных под Рождество не распишет. А уж как хату свою разрисовал, так просто умора! Видать, где-то когда-то породичались предки Панасовы и Микельанджеловы. Хотя нет, вру, скорее, Гогеновы, если судить по пристрастию П. Стеценко к композиции неперегруженной, к тонам

глубоким и насыщенным. И вовсе я не ерничаю этим сравнением, потому что еще неизвестно, кто был более известен: Гоген в Париже или Панас в Херсонских степях. А то, что не издавались в этих местах толстые журналы по искусству, так в том нет на мне вины.

...1906 год. Революционное цунами уже шло на спад. Растекались причудливыми барашками на огромном теле этой страшной волны погромы. Погром всепроникающ. Он, подобно щупальцам гигантского спрута, достает тех, кто предназначен ему в пищу, в любой щели, в любой глухомани, в любой столице. Сейчас мерзость эта катит по Херсонщине. Пришел наш черед, моей бабушки, а, значит, и мой.

Погром в селе начался весело и задорно – с ярмарки. На ярмарке какие-то хлопцы говорили, что жидаы хотели царя убить. Мало того, что Христа распяли, так им и царя-батюшку подавай! Хлопцы были свои в доску, горилку ставили всем, рубахи на себе рвали, и, когда раздался крик: «Гей жидив быты!» – Панас, доверчивая душа, поперся с толпой.

Сперва был он как бы отдельно, но разве может щепка противиться водовороту? Толпа всасывала Панаса подобно тому, как всасывает в себя удав кролика, чтобы переварить свою жертву, и вот оно заветное мгновение, когда кролик становится частью удава, и в этом новом качестве он сам уже ищет жертву, бывшего своего собрата, чтобы слиться с ним воедино в монолите удавьего тела. В толпе было тепло и уютно, как в материнской утробе. Чувство единой семьи пьянило пополам с горилкой. Вон Васька Хлыстунов саданул старого Мотла по зубам, а у Панаса в кулаке отдалось, а вот Федька Плисько ахнул того Мотла с носка, и у Панаса аж пальцы на ногах свело от сладкого наваждения: так сладко стало, как в бабу кончаешь. Эх, хапанул Панас еще стакан горилки, схватил дрын, что валялся подле, да вперед с хлопцами рыцарей иерусалимских лупцювать!

Смерчем несся погром по селу. Вот уже летят стекла из окон хаты Хайма-портного, вот уже дочек его поволокли на сеновал, а хозяйку Гаврила расстелил прямо на столе: подходи-налетай – на всех хватит. Ты смотри, что вытворяет, кобеляка, от бесовское отродье, шо выдумал, га-га! А Хайм, ты ба, вырвался из рук хлопцев и кулаком норовит Гаврилу достать, от жидяра! Схватил эту гнилу природу Панас своей натруженной рукой за горло, а второй, той, что с дрыном, – по лбу: эх, осел сучара сразу – знай силу нашу хрестьянскую! Что-то жуткое поднималось внутри у Панаса: выволок он обмякшее тело Хайма и давай его дрыном, дрыном, с носка, еще дрыном... Поднял голову Панас, огляделся, и проснулся в нем художник: разбитый терракотовый глечик с молоком, а поряд башка Хайма с навсегда выпученными порачьи глазами, из которой так аппетитно вывалились нежно-розовые мозги со сгустками уже запекшейся крови. От так от! Знай наших! Хорошо, красиво!

Когда начался погром, прадеда дома не было: он по делам поехал в Херсон. От того, что не было жоака, отца, мужчины, было вдвойне страшно. Ужас сковал волю, никто не знал, что делать. Одна надежда, что погром пройдет по соседней улице, так ведь, где напасешься улиц в селе на всех? И вот чьи-то шаги, дверь нараспашку, и на пороге, заслоняя весь дверной проем, слегка покачивающаяся от выпитого, фигура ротмистра. «Вот, кажется и все...», — только и подумала девочка Соня, которая потом станет моей бабушкой.

Баланчин прислонился к косяку, достал из портсигара папиросу, постучал ею об палец, не торопясь размял ее, закурил и процедил сквозь зубы, выпуская дым нехотя и лениво:

— Что, жида, дождались Мессию? Господи, как же я вас ненавижу! — и тяжело вздохнул. — Вот только быдло совсем терпеть не могу. Муравьи безмозглые, падла. — Выплюнул папиросу, растер ее сапогом и вдруг рывкнул: — А ну, быстро, за мной!

И, не оглядываясь, идут ли за ним, вышел. Всю, казавшуюся бесконечной, дорогу ротмистр что-то зло бормотал себе под нос. Когда пришли к нему в квартиру, он откинул ляду, что открывала лаз в подполье:

— Сыптесь вниз, а то сам поубиваю. — Щека у него подергивалась, а глаза блестели весело и страшно.

Крышка погреба, который был вырыт под сенями, захлопнулась, и семья оказалась окутанной темнотой и запахами плесени, квашеной капусты и соленых огурцов. Было слышно, как Баланчин вышагивал там, наверху. Остановился... Что-то налил, выпил, крикнул. Опять тишина... И вот оно! Стук в дверь, пьяные голоса, рев толпы. И вдруг над всем этим тот самый командирский сип:

— Чтэ? Быдло! К офицеру в дом вваливаться?! Да я вас в капусту!!!

— Дак ведь, барин, кажут, шо жида в вас сховались...

— Ах ты, мразь, без приказа, сука! — и звук кулака по морде, как молотка по гвоздю. — А пшли вон к такой-то матери, слева и справа по одному вперед марш!!!

...Глубокой ночью, когда над селом простерла крыла ночная благодать, когда пот, кровь, сперма, молоко, моча, горилка, излитые днем, уже начали превращаться в чернозем, уцелевшие евреи возвращались в свои разбитые жилища. История еще раз (в который уж!) подтвердила, что ее цель — это все-таки, не взирая ни на что, прийти к факту моего рождения.

...А на следующий день ротмистр, проходя мимо дома прадеда, опять брякнет:

— У-у, жидовское отродье!

А на Пасху Панас придет дарить куличи...

# ШХЕМСКИЕ ВОРОТА

---

*Эли Бар-Яалом*

## *ПОКАЯННАЯ СЕРЕНАДА*

### ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Я родился и до сих пор не вырос.  
Телу не грозит, полагаю, вынос.  
Переехал рано. Уже не сдвинусь.

Поиграл в учебу. Потом в работу.  
Брал гитароглоткой дурную ноту.  
Не имел покоя, бо ждал кого-то.

Склеив с половиной себя, стал целым.  
Объяснял науки, рисуя мелом.  
Научился серое делать белым.

Приобрел друзей, подобрел с собою.  
Стал подозревать, что готовлюсь к бою.  
Начал видеть сны, хвост держу трубою.

Ничего полезного не умея,  
приглашен в Эдем, но на должность змея;  
на работу эту роптать не смею.

Натолкав в карман векселей без даты,  
паруса раздув на манер фрегата,  
кто-то безмятежно плывет куда-то.

19 июня 1999

\* \* \*

лохматую бороду намотав на рукав  
поправляя нимб на лысом затылке  
пожилой серафим тащится по облакам  
поминутно прикладываясь к бутылке

с донжуаном столичным и дуэлянтом  
он калякал в питере на перепутье  
мрачному донкихоту с лицом россинанта  
помогал добираться до самой сути

пятый пункт сомнительный свой прикрыв  
полою хитона некогда белой  
он не помнит даже как был шестикрыл  
и ему был соперник Исая Берлин

он уже не свяжет и пары строк  
он торжественно катится по наклонной  
и слепой как котенок пьяный как Блок  
падает спотыкаясь о глаз циклона

и встает

6 февраля 1993

## COMBINATORICA

...А вот тебе истинный секс, что по теории паросочетаний мы вытекаем из теоремы Холла  
как следствие, или как жидкость жизни из фаллоса,  
а, может быть, пена из банки от кока-колы  
При этом не обязательно спать  
а, скажем, чтобы ты перевела меня на русский язык  
а потом я тебя и так далее пока не кончим  
после чего навесим друг на друга ярлык  
где написано, что ты беспутна и я порочен  
И так до скончания лет разнообразить быт  
великолепием глупостей и бравад

этому не быть

этого не миновать

16 мая 1991

## ПОКАЯННАЯ СЕРЕНАДА

*Я в последнее время перехожу на прозу...*

Марианна Орлова (Ассиди)

Я в последнее время перехожу на приём.  
На приёмчик нечестный: тот, который доступен  
Только нам вдвоем, солнце мое, только нам вдвоем,  
нам с тобою вдвоем, солнце мое, и чертенку в ступе.

Как мы умеем приказывать снам и львам,  
городам и дорогам, лотерейным билетам –  
так я низко пал, солнце мое, что велю словам  
становиться в ряды, солнце мое, и хожу поэтом.

За стремление это – высокий дар колдовской  
оскорблять применением в недостойных целях –  
мне однажды влетит. И тогда нарушать покой  
лишь тебе одной,

солнце мое,

и ветрам в ущельях.

21-22 февраля 2000

## РИМ, УВИДЕННЫЙ ВО СНЕ – 2

*...Если надоели гомон, гам и дым,  
мы, как в старом фильме «Римские каникулы»,  
убежим от мира и поведем в Рим.*

Э., сентябрь 1986, Лондон

Дом на Пьяцца дель Кто-то, Пьяцца дель Что-то, дель Где-то  
ожидает по счету четырнадцатое лето  
с той поры, как, в Лондоне (станция Тутинг Бек)  
я во сне увидел Рим, Которого Нету  
что ни год пройдет – опять я туда не еду:  
приземленный, класса «земля-земля», человек,

класса «дом-работа», класса «жена-ребенок» –  
я себя совсем не чувствую погребенным  
(все пути ведут – не в иной ли Рим, что незрим?).  
Да не в Риме дело, дело даже не в рифме –  
до седьмого неба можно взлететь и в лифте,  
Папа Римский – и тот собрался в Иерусалим.

Чтобы встретиться с папой, незачем рваться к трапу.  
Я с рождения дочки в зеркале вижу папу.  
Двойнику своему отвесив поклон земной  
и с грехами простившись, я выхожу прогуляться:  
в двух шагах – площадка. Детская. Чем не Пьяцца?

...Эй, прохожие! Подходите, смейтесь со мной.

9 марта 2000, Нижняя Галилея, автострада

## ДВОЙСТВЕННОСТЬ

*Алексею Свиридову*

Любая страна на земле – добро,  
а государство любое – скверна:  
то, что народ понимает верно,  
власть воплощает зло и хитро.

Хоть в анархисты иди. И я  
шел бы, мечтая о вечном счастье,  
если б не знал, что народ без власти –  
как без террариума змея.

Двойственность, острая, как топор,  
между сосудом и содержимым  
нас поражает с древнейших пор  
и применима к любым режимам.

23 августа 2000

\* \* \*

Плач по десяткам ярких миров – тех, что исчезли вместе со мной.  
По сотням неугасимых костров, навеки подернутых пеленой.  
По мириадам древних волшебств, необратимо скрывшихся с глаз.  
По миллиардам разумных существ, похожих – и непохожих на вас.  
Я отступаю на задний план, преображаюсь в Почти Ничто.  
Кто-то заменит меня. Туман уже порождает его. Но кто?  
Тысячеликое божество со всемогущим ключом-мечом,  
Не понимающее ничего, и не жалеющее ни о чем.

13 июля 1999

## ЕДИНИЦЫ (ДОЛГИЙ СОНЕТ)

Алексею Егорову

*Я, побывавший там, где вы не бывали...  
Я говорю вам: жизнь все равно прекрасна!*

Юрий Левитанский

Пером без чернил по бумаге, словно слепец Месроп,  
напиши, и летопись будет для глаза любого безлика,  
кроме тех единиц, что даже парашют читают меж строп,  
обитателей мест с красивыми именами, скажем, «Треблинка»,

кроме тех единиц, у которых, будь их миллион или шесть,  
или то на другое помножить, всегда сохраняются лица;  
из-за этого, собственно, имя не легион им, а единицы,  
и они не бессчётны – скорее, их очень трудно не счесть:

тот, кто так говорит, не пытался, либо плохой арифметик.  
Ему надо пройти стажировку, к примеру, у ангела смерти.  
Задание первое: восстановить родовое древо из столбика дыма.

Задание следующее: понять, что случившееся – необходимо,  
и кому, а, главное – для чего; а когда это станет ясно,  
осознать, что жизнь,

для тех, у кого она есть,

в самом деле, прекрасна.

1 мая 2000 (27 нисана 5760)



*Игорь Коган*  
*ДУРНОЙ ТЛАЗ*

**СЕНИЛЬНАЯ ПТИЦА**

*К 90-летию Д. Хармса*

В пасмурный осенний день Женя Ахимизер зашел в скверик по малой нужде. На скамейке под пальмой сидела усатая бабка в кофте и вязаных погонах с тремя желтыми звездами.

– Товарищ генерал-полковник, разрешите обратиться! – выпалил Ахимизер, опуская руки по швам.

– Обращайтесь, – сухо ответила бабка.

– Отстал от своих, – доложил Ахимизер. – Какие будут указания?

– В какой части?

– В части покупки жилья и зарплаты.

– Ну, пиши рапорт, сынок, – нахмурилась бабка. – Так, мол, и так, виднейший бухгалтер своей эпохи, прибыл для улучшения породы ценных народов, хочу быть в первых рядах умноженцев Израиля и так далее. Подпись и дата.

– Есть! А на чье имя рапорт?

– На мое, – приказала бабка, – Цирульник Софью Наумовну.

Женя быстро написал рапорт на краю скамейки и подал, щелкнув каблуками.

– Ты в сквер по нужде зашел или как?

– Так точно, товарищ генерал-полковник! По малой.

– Пипу держать умеешь? – строго спросила Цирульник. – Ну, иди, иди, – и сунула бумагу в кошелку.

Вечером Женя Ахимизер купил в уличном автомате банку «Кока-колы», в которой вместо лимонада болталась пожелтевшая записка о крушении.

– Все мы немного дети капитана Гранта, – мечтательно сказал на это Рома Есабончик, когда Женя показал ему записку. – Подписана кем?

– Розенфельдом каким-то.

– Значит, надо искать Розенфельда Гранта.

– А записки всегда бывают в бутылках, – сказал Ахимизер.

– Вот поплывем на корабле по указанным координатам и увидим, кто там такие записки в банки бросает, – пообещал Есабончик, – будем карабкаться по вантам и жить в каютах.

– Я не люблю ванты, – заявил Женя. – Я люблю форшмак и материальную помощь.

– Смотри, – сказал Рома. – Для посторонних – благородная цель, плывешь спасти еврея Розенфельда Гранта, а на самом деле своих догоняешь! Оставь форшмак.

– А эта генерал-полковник Цирульник тоже поедет?

– Давай без чинов, – сказал Рома. – Баба Соня, и все. Я поговорю, она другую кофту наденет. Представляешь, боб-брамсели, стеньги, грот-мачты...

– Не боб-брамсели, а бом-брамсели, – поправил Женя. – А грот-мачта на корабле одна.

– Ну какой из тебя, к черту, романтик, – расстроился Есабончик. – У меня вот хозяин тоже цаца хорошая. Повесил в туалете новую люстру, красивая такая, на длинной цепи. Так теперь какать мешает!

– Да ладно тебе... – смутился Ахимизер. – Значит, корабль снаряжать придется?

– Завтра с утра!

Утром Ахимизер проспал, а когда проснулся, Рома Есабончик стоял у него в ногах и курил трубку.

– Корабля нет, но есть рояль, – огорченно сказал Рома. – Сколько можно дрыхнуть?

– Рояль – инструмент сухопутный, потонет, – заметил Ахимизер.

– Да, дека железная, – подтвердил Рома. – Зато есть колесики и две педали! Добавим еще педаль сцепления, коробку скоростей и руль. Ты же хотел штурвал – вот.

– Я не хотел штурвал, – сказал Ахимизер. – Стань в сторону, надо похрустеть коленками.

Женя присел возле кровати с вытянутыми руками, а потом стал делать физические упражнения.

– У Цирульник внучка есть, – сообщил между тем Есабончик. – Только консерваторию окончила. Бэтула... в смысле, девственность по-здешнему.

– Значит, тоже от своих отстала. Почему же она родной бабке рапорт не напишет?

– У нее права на управление фортепиано с оркестром, – подмигнул Рома. – Соображаешь?

– Соображаю, – ответил Ахимизер. – Что я – дурак? Будет шофером на рояле.

– Маршрут поиска надо согласовать в инстанциях! – горячо заговорил Рома. – Я тут договорился в совете мудрецов городского отделения ветеранов.

– Проблема! – важно сказали мудрецы, после того, как Женя показал записку. – Надо созвать международный Розенфельдум...

– Да не буду я с этим возиться! – заулыбался Женя. – Умные какие...

– Ты что!.. Раз надо, значит надо, – зашипел Есабончик. – Да пусть Розенфельдум, только б своих догнать! Обещай концерт на открытие...

– Обещаю вам концерт на открытие, – вяло побожился Ахимизер. – «Песня о Родине» и Пятая симфония Чайковского...

На организацию Розенфельдума Есабончик одолжил деньги у своей любовницы Ципоры Фукс, которая дала сорок тысяч.

– Ее маму звали Нехамка, – с уважением сказал Рома. – Видишь, выросла очень воспитанная, обеспеченная женщина. Только ходит уже плохо.

– Почему – плохо?

– Потому что восемьдесят стукнуло. Лечится в психбольнице. Это моя птица счастья завтрашнего дня, понял?

По дороге от ветеранов Ахимизер с Есабончиком завернули в сквер и увидели, что усатая бабка Цирульник сидит на прежнем месте в кофте с вязаными погонями, а рядом стоит толстая девушка и курит.

– Здравия желаю, товарищ генерал-полковник! – опустив руки по швам, сказал Ахимизер.

– Вольно! – скомандовала бабка. – Можно оправиться.

Есабончик сейчас же высморкался в сторону, а Ахимизер заправил выбившуюся рубашку.

– Внучка Маша, – кивнула Цирульник. – Нестроевая.

– Очень приятно, – сказал Ахимизер, пожимая девушке руку.

– А с этим не буду, – надулась на Рому внучка. – У него ладонь в соплях.

– Да мы с вами и так знакомы, – светски улыбнулся Есабончик. – Ваша бабушка с Ципорой в одной палате лежали. Вы еще не разрешали смотреть, как клизму ставят...

– Разговорчики!.. – прикрикнула Цирульник. – А ну, как идет выдвижение в первые ряды умноженцев Израиля?

– Разработан маршрут, – доложил Женя. – По линии поиска потерпевшего Гранта – международный Розенфельдум и концерт, потом погоня за своими на фортепиано с оркестром...

– Вы тоже поедете, Софья Наумовна? – подхалимски спросил Рома. – Чтобы командовать.

– Это, смотря как буду себя чувствовать. Вот, Машку берите.

– А я надена короткое красное платье с аксельбантами и орденами, – сказала внучка. – Буду изображать капитана первого ранга, ладно?

– И еще надо бы «Песню о Родине» и Чайковского, – помявшись, попросил Ахимизер.

– Ну, это ей, что зрелому человеку в бороду плюнуть, – гордо ответила старуха.

На международный Розенфельдум арендовали русский ресторан «Люкс» и дешевый оркестр Яшки Аптекаря.

– Ты, когда будешь выступать соло, не газуй сильно, – предупреждал перед концертом Ахимизер. – Тут коробка старая. Инструмент антикварный, на нем еще тысячу километров сделать надо...

– А где локатор? – капризно спрашивала Маша, подворачивая выше колен красное платье. – Этого требуют навигационные правила.

– Радара нету, есть отечественный фаллоискатель для умноженцев, – втолковывал Есабончик. – Смотришь в прицел – и вся навигация!

Для участия в Розенфельдуме собралось много старых евреев из Киева, Гомеля и Кишинева. Пришел даже пожилой эфиоп Гольдберг, троюродный брат одной голливудской киноартистки.

– Ну, все, начинаем!.. – шепотом сказал пьяный Яшка Аптекарь. – Кто, бля, берет слово?..

– Я, бля, беру, – сказал вдруг эфиоп, и, оттолкнув Ахимизера, вышел к микрофону.

– У меня короткая информация, – сообщил он, обводя зал дурным взглядом. – Со следующего месяца будет новый закон для репатриантов из Африки. Во всех магазинах и за свет можно будет платить визитной карточкой. Ясно?

– А для гомельских?! – стали орать сразу из нескольких рядов. – А для инвалидов труда?!.

– А вот вам... – сказал Гольдберг, и удалился со сцены.

Начался страшный скандал, стали бить посуду и ломать стулья, а Есабончику дали в глаз и порвали выходной пиджак.

– Ша!.. – кричал Яшка Аптекарь, размахивая дирижерской палочкой. – Я ж его знаю! Это старый карбонарий, не слушайте революционную пропаганду!

– Заводи рояль! – пробиваясь в кофте с погонами через толпу, зычно приказала Цирульник.

Ахимизер крутанул сбоку стартер, Маша вцепилась в руль, а Есабончик, держась одной рукой за глаз, сорвал с ветрового стекла ноты.

– Куда?! – гаркнул председатель совета мудрецов. – А «Песню о Родине»?!

– Родина-а!.. – красиво запела Маша, выжимая сцепление. – Тебе я славу пою-у-у!..

Воня соляркой, рояль выкатился в коридор и, выбив дверь, развернулся на тротуаре.

– Давай! Давай!.. – замахал свободной рукой Есабончик и запрыгал вслед за инструментом.

...На границе Израиля Маша резко затормозила, потому что впереди выстроились в каре угрюмые дядьки в форменных пиджаках. Перед ними ходила, опираясь на костыль, сенильная бабка в ночной рубашке.

– Ципорочка! – ахнул Есабончик. – Вы же у меня в больнице лежали!

– Я ушла из клиники и вывела с собой верных мне сумасшедших, – сурово ответила бабка. – Это мои паранойвойска!

– Госпожа Фукс! Пропустите нас, пожалуйста, в Америку, – взволнованно попросил Женя Ахимизер. – Мы ищем Розенфельда Гранта.

– Это какая-то нееврейская фамилия, – отрезала бабка. – Черт с ним. Пусть гои сами выкручиваются. А Америка – говно!

– Возвращайтесь назад! – стали недовольно галдеть построенные в каре сумасшедшие и показывать пальцем.

Тут подъехало такси, и из него выбралась старуха Цирульник.

– Ну что, не испортил девку? – требовательно спросила она Ахимизера. – Смотри мне, бухгалтер!.. А-а, Ципорочка, здравствуйте, что слышно?

– Ой, не спрашивайте, у меня такое давление... – ответила сенильная бабка. – Есабон мне уже совершенно не уделяет внимания, даже руками не лазит.

– Гнать его в три шеи из наследников! – сказала Цирульник. – Нехай теперь, как простой умноженец, на Машке женится.

– В таком случае разрешите сделать вам предложение, – учтиво обратился к Ципоре Ахимизер. – Буду уделять вам всяческое внимание и каждый день руками лазить.

– Женька! А Розенфельд Грант?! – чуть не плача закричал Есабончик. – А своих догнать?!.

– Зачем? Теперь это моя птица счастья завтрашнего дня, – спокойно ответил Ахимизер. – Сделай нам «мазаль тов» и отваливай отсюда.

– Отваливай! Отваливай! – закричали угрюмые дядьки в пижамах и стали толкать на Есабончика роаль.

А Цирульник схватила Рому за шиворот и коротко спросила:

– В чем дело, сволочь!

– Просто некоторые женихи, страдающие запорами, – кося подбитым глазом, злобно заявил Есабончик, – женятся на старухах, потому что они сморщенные и по своему виду напоминают чернослив...

## О ПОРЯДКЕ НА ТРАНСПОРТЕ

Виточка Шац не ездила в Хайфе на метро, так как боялась сесть на станции «Кикар Парис», а выйти в Харькове на станции «Пролетарская».

– Чего ты боишься, дура? – спрашивала подруга Марина. – Мы с мужем уже десять раз ездили, и все мимо – на Кармеле выходили. Ты что, особенная?

Виточка однако опасалась.

– Понимаешь, – говорила она, – мало ли что. В метро бывают аварии... – и предпочитала эгедовские автобусы.

Однажды в нижнем городе американский самосвал повалил фонарный столб, о который разбились японская «Мазда» и мотоцикл «Ява» с курьером. Никто не погиб, но дело дошло до драки, получилась пробка, и полиция перекрыла дороги. Виточка опаздывала на курсы секретарш, и ей пришлось воспользоваться метро. Она выбила в кассе билет и, пройдя через турникет, с тяжелым сердцем села в вагон.

«Осторожно, двери закрываются, – казенным голосом по-русски сказал машинист. – Следующая станция «Пролетарская».

Виточка бросилась к двери, но было уже поздно, поезд тронулся.

Напротив сидел лысый мужчина с потертым портфелем, который читал «Нашу страну».

– Вы слышали, что он сказал? – обратилась к нему Виточка.

– А что он сказал?

– Следующая – «Пролетарская»!..

– Ну так что?

Виточка беспомощно оглянулась по сторонам.

– Но ведь это же советская... то есть, украинская станция...

– Так я не выйду, – пожал плечами мужчина и стал читать статью Ривки Рабинович о проблемах культурной абсорбции.

Виточка села на краешек сидения и поставила на колени сумку с конспектами.

...Поезд замедлил ход, за окном показался полузабытый перрон «Пролетарской», броско украшенный рекламами «Купат-холим а-Клалит<sup>1</sup>», мебельной фабрики «Шапиро, хабиби и сыновья» и столовых ножей Харьковского турбинного завода. Из вагона вышли два араба и направились к эскалатору.

– Вот где эти сволочи ножи покупают, – зло сказала полная женщина в ситцевом сарафане. – У них на это валюта есть, а мы вот вчетвером на один теудат-оле<sup>2</sup> живем.

– А вы куда едете? – осторожно спросила Виточка.

– На базар, – ответила женщина. – На предпоследней станции есть колхозный рынок, милочка, там на десять шекелей можно купить два ведра картошки, целую индейку, шесть кило яблок, банку меда и польский лифчик. Пора бы знать.

Вошел милиционер. Он покосился на бородатого милуимника<sup>3</sup>, дремлющего в конце вагона с винтовкой М-16 на коленях, но ничего не сказал, потом вошли две теткы в платочках и профессорского вида человек со щегольским кульком «Мальборо». Двери захлопнулись.

«Следующая станция «Кикар Солель Боне», – объявил на иврите машинист, поезд тронулся.

– Ой, Виктория Марковна! – вдруг сказал человек с кульком, застенчиво улыбаясь.

– Борис Семенович? – широко раскрыла глаза Виточка. – А мне писали, что вы в Америку уехали.

– Нет, я все еще в институте работаю. Меня сделали главным специалистом, и я уже побывал в командировке в Болгарии.

– Слива, ма шаа<sup>4</sup>? – спросил сзади небритый марокканец в шортах и с серьгой в ухе, который развалился у окна, положив ноги на соседнее сидение.

– Тейша ва рева<sup>5</sup>, – блеснул знанием иврита Борис Семенович. – Мы язык в ДК Строителя учим.

– А я вот на курсах секретарш, – сказала Виточка. – Мне после них обещали работу в одном олимовском мисраде<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Одна из больничных касс.

<sup>2</sup> Теудат-оле – удостоверение репатрианта.

<sup>3</sup> Милуим – воинские сборы; милуимник – военнослужащий запаса, призванный на сборы.

<sup>4</sup> Простите, который час?

<sup>5</sup> Девять с четвертью.

<sup>6</sup> В одном репатриантском офисе

– Если не получится, можете к нам в институт возвращаться, – доброжелательно сказал Борис Семенович. – У нас Сильвочка Гомонящая в декрет ушла, кому-то надо документы подшивать.

– Нет уж, спасибо, – ответила Виточка. – Я махшев<sup>7</sup> целый год учила. И потом, у меня же «пятая графа».

– Так у нас новый начальник отдела кадров, – подмигнул Борис Семенович. – Анархосиндикалист, ему никто не указ.

– Женщина, дэ вы такие джинсы брали? – спросила вдруг одна из теток в платке.

– На рынке Тальпиот, по мивце<sup>8</sup>...

– В Израиле?

– Да.

– То-то я дывлюсь. Бачишь, Дуся, яки гарнэньки... А вы не можете мэни уступить? Вы соби ще купытэ, а в менэ дочка одиннадцатый класс заканчуе.

– Как? Прямо здесь?

– А шо такое? – удивилась тетка и достала из хозяйственной сумки «наган». – Да вы не хвылюйтэся, дама, я вам купонами заплачу.

Борис Семенович покраснел и деликатно отвернулся. Виточка растеряно посмотрела на спящего милуимника и на милиционера.

– Ой, швыдче, – попросила тетка, – а то через одну выходить.

Ватными руками Виточка расстегнула пояс и, едва удерживая равновесие, сняла джинсы. Тетка насыпала ей полную сумку каких-то разноцветных талонов и, встряхнув джинсы, показала товарке.

– От моя дытына обрадуется! Дывысь, и зовсим недорого...

Марокканец с серьгой в ухе мутным взглядом, не отрываясь, смотрел на Виточкины голые ноги.

– А как там ваша жена Зина? – дрожащим голосом спросила Виточка, прижимая к бедрам сумку с конспектами.

– Спасибо... Знаете, ничего, – Борис Семенович подчеркнуто интеллигентно вытер очки носовым платком. – Недавно грыжу вырезали и еще из старших бухгалтеров перевели в экономисты.

– Ужас... – клацая зубами, тихо произнесла Виточка.

Поезд замедлил ход и вкатился на станцию «Кикар Солель Боне». Вторая тетка в платочке сунулась к выходу, но милиционер погрозил ей кулаком. Вошли трое молодых людей, по виду студенты Техниона.

«Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Индустриальная», – сказал по-русски машинист.

– Черт, какая «Индустриальная»? – возмутился один из студентов и стукнул ладонью по закрытой двери.

– А я тебе говорил, Ицик, надо было тремпом<sup>9</sup> ехать, – отозвался другой и положил в рот жевательную резинку.

<sup>7</sup> Махшев – компьютер.

<sup>8</sup> Мивца – операция, кампания; здесь – уценка.

<sup>9</sup> Тремп – попутная машина

– Ну, будьте здоровы, Виктория Марковна, – сердечно начал прощаться Борис Семенович. – В Хайфе живет Хмыкман из шестого отдела. Увидите, передавайте привет от Глузманов.

– А вы еще не решили ехать? – шепотом спросила Виточка.

– У нас анкеты на Австралию. Будем прорываться...

– Да что они там, с ума сошли? – недовольно сказала едущая на базар женщина в сарафане. – То по-русски объявят, то на иврите. Так и остановку проехать недолго.

– Потому что поездные бригады меняют часто, – желчно объяснил лысый мужчина, складывая газету. – Такая новая правительственная программа создания рабочих мест.

Марокканец закурил «Тайм» и бросил на пол горелую спичку, однако милиционер тут же заставил ее подобрать и потушить сигарету.

– Смотри, гои будут меня воспитывать, – удивился марокканец, но спичку поднял, окурок спрятал в пачку и с независимым видом уставился в окно.

Поезд въехал на станцию «Индустриальная». Двери открылись, Борис Семенович, тетки в платочках, милиционер и женщина в сарафане вышли. Милуимник с винтовкой проснулся и тоже хотел выйти, но не успел.

«Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Ган а-Эм», – сообщил на иврите машинист.

– Ой, я болван, ой, я идиот! – забормотал по-русски милуимник. – Проспал!..

– А разве вам здесь выходить? – робко спросила Виточка.

– Я же должен был сестру взять к себе. Она самолетом боится, так я на метро хотел... Сегодня за меня специально Абрамович дежурит... Слушайте, почему вы голая?

– Я джинсы продала какой-то противной тетке из деревни, – чуть не плача, сказала Виточка.

Подняв брови, милуимник достал из обширного ранца вафельное полотенце со штампом «МПС».

– Вот, обмотайтесь и можете не возвращать. У меня этого полный багаж пришел, но никто и за пятьдесят агорот не берет. Дикари.

На «Ган а-Эм» Виточка вышла из метро завернутая в вафельное полотенце, с раздувшейся от купонов сумкой, но никто не обратил внимания.

За полчаса она пешком спустилась в нижний город и в этот день на курсы не пошла.

Так как Виточка Шац уже хорошо владела ивритом, она написала жалобу в полицию, а в качестве вещественного доказательства приложила украинские купоны и вафельное полотенце со штампом «МПС».

В полиции жалобу до сих пор бы рассматривали, не попадись она на глаза общественнику из «Группы проверки предвыборных обещаний». Он тут же пошел на прием к депутату Кнессета от оппозиции и показал полотенце.



– Мамаш<sup>10</sup>, поездка на этом метро – для человека с крепкими нервами, – сурово сказал депутат. – Государственные средства израсходованы впустую!

Получился скандал, и метро закрыли на профилактику.

– Ни хрена они не умеют, – сделал вывод Виточкин свекор, ветеран войны и труда. – Вот раньше в Советском Союзе существовали «особые отделы» на транспорте. Так местные поезда за границу не ходили.

Железный порядок был!

## ЛЮБИМЫЙ ЕВРЕЙ МАРШАЛА УСТИНОВА

Действительно, достаточно уже писали о летающих тарелках, астральных связях, полтергейсте и воскресших мертвых. На разные лады обговорены способности экстрасенсов, колдунов, индийских факиров и мануальных терапевтов из украинских местечек. Передались из уст в уста и забылись легенды о неожиданных завещаниях, крупных выигрышах, сенсационных благах и ссудах без гарантов под три процента...

А о замечательных изобретателях писали? Еще как писали, и даже недавно. Однако, для полноты картины, хорошо упомянуть и Леву Воентруба, который, работая на оборону в Союзе, был засекречен, а, вырвавшись в Израиль, честно попытался продать свои секреты капиталистам за деньги. Но не тут-то было, не те времена. Ни за деньги, ни без денег капиталисты Леву слушать не хотели, а хотели ведрами хлебать свой кофе, лапать секретарш и ходить в милуим со старыми винтовками «эм-шеш-эсрэ».

– И это цивилизованные предприниматели? – горячо возмущался Воентруб, ностальгически вспоминая свой подполковничий китель с лауреатским значком и зарплату среднего директора гастронома. – Что они видят дальше собственного носа?

Лева был крупный изобретатель, светлая голова, золотые руки, любимый еврей маршала Устинова и лауреат секретной Чапаевской премии.

Изобретал Воентруб для Советской Армии растворимые мины замедленного действия, мастерил сверхмощный насос для откачки личного состава противника из траншей передовой линии укреплений прямо в лагеря военнопленных, проектировал орбитальный постановщик телепатических помех, чтобы на заседаниях Комитета начальников штабов в Пентагоне все были идиотами, и многое другое.

А в плане конверсии у Левы была заготовлена документация на усовершенствованный рояль концертного типа, оснащенный дополнительно к клавиатуре рулем, педалью сцепления и двумя ведущими мостами, а также на машину времени в виде сортир-

<sup>10</sup> Мамаш (иврит) – действительно.

ной кабинки с циферблатом, креслом и кольцом для катапультирования.

Со всем этим бумажным добром гоняла нужда Воентруба от одного балабайта<sup>11</sup> к другому по тридцатиградусной жаре, на которой у хамоватых уличных торговцев бутылочка местного лимонада стоит четыре шекеля.

— Ну, не хотите брать рояль и растворимые мины, возьмите хоть машину времени, — убеждал краснорожих дельцов Лева, вызывая своим растерзанным видом желание подать пять шекелей на водку. — Что вы на меня так смотрите? Я доктор военнотехнических наук и заслуженный изобретатель!

— Хорошо, мы можем тебе дать работу по уборке помещений и мест общего пользования, — соглашались некоторые мягкотелые хозяева. — Только принеси открепительную справку из лишкатаводы<sup>12</sup> и подпиши бумагу, что согласен на шесть шекелей в час.

— Не-ет!.. — орал Воентруб, размахивая папками, — сначала постройте для меня завод в Галилее и полигон в Негеве, а тогда уже поговорим о зарплате!

Однажды, на пороге одного офиса Леву чуть не побил бородатый, весь в медалях, швейцар, в котором Лева вдруг с ужасом узнал бывшего референта Устинова по артиллерийским вопросам.

— Вы же были со мной в одной партийной организации! — сверкая очками, кинулся на него Воентруб. — Еще выпел вручали на активе за победу в социалистическом соревновании!

— Ниче не знаем. Велено шизобретателей не пускать, — важно отвечал на иврите бородатый швейцар. — Идите отсюда, товарищ подполковник, а то недолго и миштару<sup>13</sup> кликнуть.

Совершенно убитый, Лева очередного балабайта прямо с порога бросился душить, забыв даже для порядка показать проекты.

— Ух, какой вы энергичный, — хрипя и отпихиваясь от него ногами, выдавил балабайт, — ладно, возьму чертежником на стипендию Шапиро, проверим, чему вас там научили.

Воентруб решил уже не спорить с этим дураком и согласился, но только потому, что из-за нервов и голодной диеты желудок все чаще заставлял его становиться по стойке «смирно» в самой неподходящей обстановке.

Сначала, отъевшись, а затем и начертившись до одурения двутавровых балок и болтов с левой резьбой, Воентруб тихо предложил хозяину сделку — бросить к чертовой матери железные конструкции и перейти к выпуску гуманного и дешевого оружия против бесчинствующих хулиганов на территориях — маленьких крылатых ракет с фекальной боеголовкой и пружинным двигателем.

— Ей-Богу, ключиком завел — и готово, — клялся он. — Если в полиции и ЦАХАЛе не дураки — закажут тысяч пять. А материал для зарядов добровольцы накакают, я организую людей.

<sup>11</sup> Балабайт — хозяин.

<sup>12</sup> Лишкат-авода — государственное бюро трудоустройства.

<sup>13</sup> Миштара — полиция.

– Это что же, нэшек<sup>14</sup> делать? – откидываясь в кресле, спросил хозяин.

– Ну, нэшек, нэшек, – нетерпеливо пританцовывая, сказал Воентруб.

– Нет, – ответил хозяин. – Тогда у меня на фирме «особый отдел» сделают.

– Ну и что?

– Вот, только «особого отдела» мне не хватало, – ответил хозяин, глядя на Леву болотными глазами.

– Тогда давайте делать машину времени, – бесцеремонно предложил Воентруб. – Это мирная вещь, а археологи с историками нас озолотят, вот увидите!

– А она железная? – зачем-то спросил балабайт, бросая любовный взгляд на стеклянный шкаф с образцами двутавровых балок, болтов и металлических уголков.

– Из композитных материалов, – свысока объяснил Лева. – По технологии нужен клей казеиновый, кубометр доски «тридцатка», платиновые катоды, кресло пилота и кило алмазного порошка в сыромятном мешке.

– А бензин? – спросил хозяин.

– Бензин не нужен. Машина работает на мускульной энергии. Экологически, между прочим, абсолютно чистый продукт.

Хозяин пожал плечами и отправился вместе слевой к своему престарелому тестю, чьи деньги, оказывается, были вложены в дело.

– Кос кафе<sup>15</sup>? – гостеприимно спросил пожилой тесть в кипе и старомодных очках и, шаркая тапочками по греческой мозаике, заковылял на кухню.

– Оле хадаш? Ничего, леат-леат, савланут, ихье бэсэдэр<sup>16</sup>... Будете работать у нашего Шломи, без куска хлеба не останетесь... Вот когда я приехал в Эрец-Исраэль, мы жили в землянке, а моя Двора ходила мыть посуду в портовый трактир.

– Папа, а разве вы не приехали из Нью-Йорка на «крайслере» с пятьюдесятью тысячами в кармане и целый год не прожили с мамой в отеле «Царь Давид»? – искренне удивился Шломи, закуривая сигарету. – Израиль до сих пор отказывается выдать вас американским властям.

– Вейзмир<sup>17</sup>, память, память... – безмятежно покачал головой тесть, размешивая сукразит в чашке. – Так что там у вас за майсы<sup>18</sup>? Какая машина, а?

– Времени, – нервно сказал Лева. – Хронотрон. Можно узнать, что делалось тысячу лет назад, или даже две.

– А зачем? – подслеповато щурясь, удивился тесть.

<sup>14</sup> Нэшек – оружие.

<sup>15</sup> Кос кафе? – чашечку кофе?

<sup>16</sup> Новый репатриант? Ничего, потихоньку, терпение, будет хорошо.

<sup>17</sup> Вейзмир (идиш) – боже мой.

<sup>18</sup> Майсы (идиш, иврит) – сказки.

– То есть, как это? Можно уточнить даты иудейских войн, фамилии ответственных за разрушение Второго Храма, встретиться с авторами Талмуда и даже спросить кое о чем Авраама...

– Вы с ума сошли, – перебил тесть. – О чем нам говорить с Авраамом? У нас будут крупные неприятности с иешивами, раввинатом, партией ШАС и еще Бог знает с кем!.. Кроме того, вашей машиной может воспользоваться налоговая инспекция и что-то проверить, скажем, у меня в бумагах за восьмидесятый год. Так лично мне это совсем не подходит.

– Ну, тогда можно предсказать дату высадки человека на Марс, или кто победит на президентских выборах в Америке, чтобы Израиль уже сейчас мог подготовиться, или, например, когда случится землетрясение на Ближнем Востоке...

– Слушайте, какое землетрясение? – глядя поверх очков на Леву, спросил тесть. – Что вы мне голову морочите? А номера «плото» узнать можно?

– Мож-ж-но, – медленно ответил Лева, и тоже поглядел поверх очков на тестя...

Как нетрудно догадаться, Лева уже держит собственный офис, где каждое утро выпивает литр черного кофе, пристаёт к своим секретаршам и раз в год, забросив дела, ходит в милуим со старой винтовкой «эм-шеш-эсрэ<sup>19</sup>».

Вот только бесит, что в Израиле с выигрыша принято делать кучу пожертвований, а в том же Советском Союзе кабак сняли, все пропили – и привет...

Эх, были же, ей-богу, времена!

## СВИНИНА НА КОСТОЧКЕ

Во вторник утром внезапно начался Страшный Суд, и Миша Бершадский увидел на улице ангелов, грешников, древнюю охрану с копьями, а также Бориса Евгеньевича Бондаря, который в напудренном парике готовился исполнять обязанности адвоката.

– Как же так, не предупреждали! – замахал руками выскочивший из дома Бершадский, но его увлекла толпа в сторону небесного Иерусалима.

– Русские газеты надо было читать! – сказал ему в ухо человек по фамилии Рак идохнул перегаром. – А я в Судный день голодал! Голодал!

– Какие газеты?! – завопил Миша. – Что вы мелете!.. Дама, да не толкайтесь вы так!..

В Бершадского уперлась грудью иступленная женщина в черных очках.

– Боже всемилостивый!.. – всхлипывала она. – Он же мне за научный атеизм голову оторвет...

<sup>19</sup> «Эм – шеш-эсрэ» (иврит) – «М-16»

Миша изловчился и ухватился за пальму, чтобы остановиться в толпе, но стражники отодрали его от дерева и толкнули в самую гущу. Он оказался между двух восточных евреев в кипах, которые, не успев доесть завтрак, так и семенили с фалафелем в раскисших питах<sup>20</sup>.

– Товарищи! – закричал Бершадский на иврите. – Товарищи, я не готов!..

– Вы, русские, дураки, – ответил с набитым ртом один из евреев.

– Это все за ваши грехи... То Ликуд свалили, теперь Страшный Суд... Сидели бы в своей России, кролей кушали...

– Да не убоишься лица народа своего... – сказал идущий рядом мужчина и погрозил восточным евреям здоровенным кулаком.

– Ой, Николай Трофимович! – обрадовался Миша. – Товарищ Кабаненко! Помните, я еще вас на квартиру устраивал в девяностом... Я умоляю, свидетельствуйте в мою пользу... Это ваш православный долг! Я же вас почти не обманул тогда.

– При чем тут православный? – обиделся Кабаненко. – Суд для всех. Вон, араба потащили...

Действительно, стражники скрутили на тротуаре смуглого человека с бородой и, отобрав сверток с детонатором, поволокли вперед.

– Аллах акбар! – кричал человек с заломленными руками. – Ваш Бог судить меня не может! Нет Бога кроме Аллаха и Магомет пророк его!..

Пока Бершадский смотрел на араба, Кабаненко ушел вперед, а Миша неожиданно оказался с краю колонны, рядом с ангелом в белом хитоне, торжественно вышагивающим, не касаясь земли. Ангел трубил в рог и посматривал на небо, где другие ангелы готовили трон и неисчислимые скамьи для подсудимых.

– Послушайте, мужчина, а вы не Кац? – заискивающе обратился Миша к ангелу, подпрыгивая и стараясь идти с ним в ногу. – Ну вы же Кац, я вижу. Как вы пробились в ангелы?

– Что значит, пробился? Умер, как все. Но вовремя, – ангел сплюнул и аккуратно вытер рукавом рот. – Потом сокращенные курсы и церемония производства. Вы Лившица помните? Он теперь там, впереди идет.

– Знаете что, достаньте мне хитон, я вас очень прошу... – взмолился Бершадский. – Я за это готов дать показания... Я много знаю... Страшные грехи... почти про всех, особенно про Полину Гордон и Бродецкого, такая сволочь!

– У вас же абсолютно не ангельская внешность, – черство сказал Кац. – И эти золотые зубы...

– А я смотрю, ангельская внешность не обязательна... – Миша незаметно кивнул на другого ангела с красным носом, который то и дело кричал в рупор: «Ага! Попались, голубчики!»

<sup>20</sup> Пита (иврит) – лепешка.

– Так это не ангел, – отмахнулся Кац. – Просто уже спер где-то хитон, скотина.

В этот момент Бершадский споткнулся, а когда поднял голову, ангел Кац был уже далеко. Его снова затянуло в толпу, и он опять оказался рядом с очкастой женщиной, которая ногтями вцепилась в рукав огромному детине со шрамом на подбородке.

– Атеизм – это не пустые слова, – веско говорил детина. – За базар надо ответить...

В этот момент зазвучали небесные фанфары, сверкнула молния, грянул гром, и все оказались сидящими на скамьях подсудимых. Бондарь в парике занял место защитника, а на место прокурора вышло несколько суровых ангелов с книгами судеб под мышкой.

– А где Господь? – начали роптать в первых рядах. – Бог где?!

– Господь не имеет никакого образа, и от его имени распоряжения и приговоры будет оглашать в рупор специальный архангел Гавриил, – объяснил ангел Кац и погрозил кому-то в шестом ряду пальцем. – Архангел Гавриил – Управляющий глазом Божиим...

– Абрамович! – торжественно прошелестело над рядами.

Сутулый человек в шортах и бейсбольной шапочке предстал перед троном.

– Всю жизнь воровал в транспортном отделе, – зачитал ангел-прокурор. – Тяжело и помногу.

– Мой подзащитный уже получил наказание в форме грыжи! – выкрикнул адвокат Бондарь.

– Грыжу унесет лиса! – озвучил в рупор странный приговор Гавриил и ударил молотком.

Сутулого Абрамовича стражники тут же схватили под руки и потащили вниз, в сторону зоопарка библейских животных.

– Справедливое решение! – звонко выкрикнул человек по фамилии Рак, и все принужденно захлопали.

– Вы-ы-резали-и-и... – вопил издали Абрамович. – Уберите соба-аку-у! Это произвол!..

Бершадский посмотрел по сторонам. Справа и слева сидели незнакомые люди, однако сзади оказался терапевт Дьячук, у которого Миша лечился частным образом за двадцать шекелей.

– Григорий! – зашептал Миша. – Мы же с вами русские люди... Может быть, как доктор, вы скажете, что мне угрожает? Я вас очень прошу!

– Болезнь, – тихо сказал Дьячук, – это ответ Бога на неразумное поведение в жизни. Болезнь – это страшный грех.

– А я себя очень хорошо чувствую, – неестественно выпрямился Бершадский. – Особенно после вашего лечения. И мысли такие светлые...

– Это у вас прекратилось вздутие живота, газы перестали давить на позвоночник, вот вы и посветлели разумом. Вы же, дорогой мой, всю жизнь думали спинным мозгом...

– Аксельрод! – разнеслось под небесами.

К трону вытолкнули хорошо одетого человека с профессорской бородкой.

– Я крупный ученый! – выкрикнул Аксельрод возмущенно. – Не смейте толкать меня в спину!

– Специалист по научному коммунизму и диалектическому материализму, – зачитал ангел-прокурор. – После переезда в Израиль – теоретик сионизма и еврейского взгляда на мир...

– Требую огласить материалы экспертизы! – выкрикнул адвокат Бондарь.

Один из ангелов развернул большую энцефалограмму и стал читать ее, как газету.

– Ну, здесь же все видно, – сказал он Аксельроду. – Вы – идиот.

– Праведник! – важно произнес Управляющий гласом Божиим и изо всей силы трахнул молотком.

– Справедливое решение! – опять закричал человек по фамилии Рак, но сидящий сзади араб дал ему по голове.

Миша Бершадский заерзал, высматривая между скамеек проход.

– В чем дело? – недовольно спросил сосед. – Мешаете слушать.

– А если мне в туалет надо? – возмутился Миша. – Что, если Суд, так уже и в туалет нельзя? Вон, я вижу проход, уберите колени, я нагнусь и тихонько пройду...

– Бершадский! – вдруг разнеслось над рядами.

– А!?

– Идите, идите, – злорадно подтолкнул сосед. – Вы задерживаете. Некрасиво.

– Бершадский! – прогремело повторно.

Миша прикрыл глаза и тут же, неведомо как, очутился перед троном.

– Писал материалы в русские газеты и ходил к проституткам! – зачитал ангел-прокурор. – Не любил какать и плохо выглядел.

– Я ходил только интервью брать! – крикнул Миша, шаря честными глазами по пустому трону. – Надо поднять подшивки... А после лечения у доктора Дьячука я стал хорошо выглядеть... Нет, покажите мне Бога! Я требую!!! А то это совершенно не юридическая процедура!

– Господь не имеет образа, – строго повторил ангел Кац. – Вы не отвлекайтесь, гражданин.

– А я не привык воспринимать все на веру! – опять закричал Миша. – Откуда я знаю, что через этого Гаврилу говорит Бог? А может, ему заплатили?..

– Мой подзащитный сказал это в состоянии аффекта, – поспешно произнес адвокат Бондарь. – Вот, передайте ему валидол!

– Виновен в богохульстве, распутстве и преднамеренных запорах!.. – провозгласил архангел и уже занес молоток, но тут вдруг в шестом ряду вскочил бородатый мужчина с пейсами и в черной шляпе.

– А он свинину ел! – закричал мужчина. – Это что – не грех? Я видел! Товарищи, никакой это не Страшный Суд! Это некошерное судилище! А ну, надо сорвать с них маску!

Придерживая шляпу, он полез через ряды, а за ним, на ходу закатывая рукава, полезли еще десятки бородатых мужчин в черных шляпах.

– Шухер! – вдруг тонко закричал архангел Гавриил и, обернувшись страшной оскаленной головой, на одной ноге, высоко подпрыгнул и скрылся в небе. За ним стали прыгать вверх остальные ангелы, а трон у всех на глазах развалился и упал вниз в районе Маале-Адумим... Последним подскочил в небо ангел Кац, и Миша увидел, что никакой это не Кац, а мохнатый паук с хвостом.

Мужчины в черных костюмах, задрав головы, оглушительно свистели в два пальца, а адвокат Борис Евгеньевич Бондарь в сердцах размахнулся и швырнул парик вслед пауку.

– А я сразу догадался, – сказал человек с пейсами и бородой, – что это никакие не ангелы, а нетрезвые водители с грузовых летающих тарелок. Инструменты свои – инопланетные домкраты – они используют для организации массовых чудес на Земле, а не для ремонта своих дурацких кораблей... Они же над нами просто издеваются.

– Надо жаловаться прямо в Галактику! – строго сказал человек по фамилии Рак. – Это они в девяностом году Фиру Бойм украли. Вот сейчас же послать телеграмму через большой радиотелескоп на Гавайских островах.

– А все-таки, слабо им было Бога показать, – закуривая, сказала женщина в темных очках. – Потому что Бога – нет...

– Да! Мы не служим в армии! – важно объяснял группе любопытных другой мужчина в кипе и с пейсами. – Мы учим Тору. И вот, мы спасли Израиль и все человечество. Теперь вам ясно, зачем мы в иешиве сидим?

...К двенадцати часам дня все успокоились и вернулись к своим делам. Обломки трона отвезли в лабораторию, полиция и Шабак написали отчеты, а уже в понедельник бородатому мужчине с пейсами и в черной шляпе присвоили скромное звание «Герой Израиля» и подарили Талмуд в настоящем кожаном переплете.

Однако Миша Бершадский сейчас же написал сестре в Америку, что это он, конечно, всех спас, потому что никогда не стеснялся покушать у «Зильбера» сало и свинину на косточке.

## СВОБОДА...

Есть у нас знакомый. Петя Кац. Кандидат химических наук, между прочим, который умеет и духов заклинать, и порчу снимать, и от дурного глаза лечить. Умеет даже отстающих к экзаменам на аттестат зрелости, на багрут этот готовить, но это наши все умеют...



Так вот, случилась с ним такая история. Как-то в понедельник утром он встал не с той ноги, пошел на работу и сам не уберется от дурного глаза. Короче, вместо работы сменного технолога на комбикормовой установке продали его, к чертовой матери, в рабство. Издавна, кстати, в Израиле стоит остро вопрос о манерах в трудоустройстве ближнего.

– В какое такое рабство? – спрашивает Петя Кац. – Я же оле хадаш, новый репатриант все-таки. Какое вы имеете право мною торговать?

– А что, проститутками можно, а тобой нельзя? – цинично отвечают ему работоторговцы с золотыми цепями на шеях. – Сегодня другой работы в стране нет. У нас вон сорок человек в рабы записаны, а место одно.

– А делать что?

– Прислуживать фараону по административной части. Бумажки подписывать, шашни крутить с секретаршами и все такое...

– Не буду, – гордо говорит Петя. – Двадцать первый век на дворе. Вы что, в самом деле!

– Так это от Рождества Христова двадцать первый век, – смеются работоторговцы. – А у нас давно пятьдесят восьмой, так что не выступай. А то сошлем, так-тебя-и-так-через-пень-колоду, на галеры, у нас вон адвокаты какие влиятельные.

И стал Петя Кац рабом у фараона. А фараон богатый, у него три завода в Израиле, два в Германии, еще свой депутат в Кнессете и публичный дом в Яффо.

– Только, давай, не коси под Иосифа, – строго предупредил фараон.

– Все читали, все знают. У нас другая общественно-политическая обстановка и договор о рабстве. Будешь, как маг и волшебник, организовывать своих «русских» для насылания порчи. Ясно?

– Какой порчи? – спрашивает Петя Кац. – Не понимаю.

– Брось, брось, – отмахивается фараон. – Вы все приехали из страны дурного глаза. Полно специалистов. Такого дурного глаза, как у вас, ни у кого нету. Подберешь десятка два человек, поставишь, и чтоб они все в одну сторону смотрели. Я по шестнадцать с половиной шекелей заплачу. У меня есть враги и конкуренты.

– Чтоб у них молоко скисло? – спрашивает Петя.

– Нет, чтоб они сдохли. И смотри мне, в чем суть профессионального рабства – будешь делать, как твой фараон говорит, а держаться как свободный человек, понял? Чтоб во всех интервью и всяких там разговорах – ни-ни!.. А то сошлю к трепаной матери на галеры!

И стал Петя Кац гнуть спину на фараона. Собирали по биржам труда да по кабланам<sup>21</sup>-посредникам «русских», отводил к слугам фараона, а те говорили, куда смотреть. Один конкурент фараона

<sup>21</sup> Каблан – подрядчик.

дотла разорился, другой убежал в Канаду, а третий чуть до смерти не повесился, его еле-еле в уборной сантехники спасли. Но проездные, между прочим, фараон вообще не платил. И погорел на этом.

Стали «русские» переть на Петю, требовать постоянные билеты, грозить Гистадрутом и судом по рабочим вопросам, а он уже и сам чувствует в груди революционный огонь.

– Товарищи! – говорит. – Что нас всех объединяет – так это дурной глаз! Смотрите, что мы можем, когда мы вместе. Говорю не как раб, значит, а свободный человек, маг, волшебник и кандидат химических наук! Это нас двадцать пока. А если всех наших собрать? И мы все на них разом посмотрим? Они ведь даже, прости Господи, и перекреститься не могут!

В общем, восстал Петя Кац против фараона. Нашел на помойке драное знамя с Лениным и возглавил «русских».

И свершилась Великая Русская Ближневосточная революция. Фараон еле успел убежать в Германию, работорговцев пересажали, а рабство национализировали.

Теперь «русских» с дурным глазом – большинство. Это – политическая сила, и даже интеллигентный американский президент не может видеть это без сахара. Однако ушедшие в подполье местные и старожилы хотели сплести заговор.

Пусть, говорят, объединяются. Они же тогда смотреть друг на друга будут... Да? А глаз-то у них дурной! О!

Не учли, однако, старожилы – глаз-то дурной, но «русские» так устроены, что чуть что – плевать друг на друга хотели. Плевали и плюют, а значит, никогда не сглазят. Так что очень устойчивая политическая структура.

И только одно плохо. Слова фараона у Пети Каца в голове крепко засели. Держится он, конечно, как свободный человек, но для себя никак решить не может – не то на галеры не хочет, не то на свободу... Дурацкий, в сущности, вопрос.

Такая, значит, вкратце, история с нашим Петей произошла...

## АЛЛО, ЭТО Я?

На рынке была большая скидка на орехи. Рита Глейзер купила сначала на десять шекелей, а потом плюнула, вернулась и купила еще на двадцать. Пришла домой, высыпала орехи на стол и стала колоть старым утюгом. Разбивала скорлупку, а ядрышко прятала за щеку. Шесть орехов разбила, а по седьмому не попала, а попала по пальцам и вдруг сразу все забыла. Что Рита Глейзер, откуда приехала, где документы лежат, кто сосед сверху и даже как на иврите «что слышно?»

Рита испугалась и села на стул.

– Интересно... – громко сказала она. – Вообще, теперь все интересно...

Рита взяла с тумбочки телефон и набрала первый попавшийся номер.

– Здравствуйте, – сказала она в трубку. – Это я?

– Это вы, – ответили по-русски. – У вас что?

– У меня амнезия, – ответила Рита.

– Не знаем. У нас алоэ, кобальт и нецветные металлы из Молдавии.

– А что такое Молдавия? – спросила Рита.

– Правильно, – с уважением откликнулись на том конце. – Но вагона три-четыре можем обеспечить. Только под кредитное письмо. Вам интересно?

– Интересно...

– Тогда давайте адрес.

Рита посмотрела на стол и взяла какой-то порванный конверт.

– Тель-Авив, – сказала она. – «Электрическая компания Израиля».

– Родная! – ахнула трубка. – Через четырнадцать дней... Нет, через тринадцать...

Рита нажала на рычаг, пожала плечами и, подув на ушибленные пальцы, опять набрала какой-то номер.

– Алло, это я? – спросила она.

– Посмотрим, – ответил басом мужчина. – В каком году случилось нашествие Мамаея?

– В том...

– Да, это вы. Ноль очков. Следующий, пожалуйста! – Рита положила трубку и подошла к зеркалу, в котором отразилась незнакомая молодая женщина с подведенными глазами. Рита поправила волосы и опять взялась за телефон.

– Алло, – сказала она. – Кто я?

– Я тебе скажу, кто ты... – вкрадчиво ответили на другом конце. – Ты – стерва поганая! Ты бросила мужа, ты бросила детей и ушла к Йоси, к этому мохнатому фалафельщику... А теперь он тебя бьет, дети воруют и курят наркотики, а брошенный муж, моя деточка Сема, вкалывает на кирпичном заводе... Доктор нашел у меня серьезное внутреннее напряжение, у меня двести двадцать на сто шестьдесят, и ты еще имеешь наглость звонить! Но я до тебя доберусь! Слышишь!

Рита опять нажала на рычаг и снова набрала какой-то номер.

– Алло!.. – чуть не плача, сказала она. – Я не знаю, я это или не я.

– А пить вчера надо было меньше, – ответил в трубке хриплый мужской голос. – Наверно, ты... Я, правда, не видел, кто из вас стрелял... ты или Софка, но Альперовича в реанимации еле откачали, а у Эдика только ухо прострелено. И ведь говорил им, чтоб не связывались с вами, курвами...

– Господи... – тихо сказала Рита и опять покрутила диск.

– Алло! – ответил бодрый голос. – Это кто?

– Не знаю...

– У вас что, память отшибло?

– Ну да...

– Странное дело, всегда, когда кто-то мне должен, он не помнит, а когда я должен, у всех открываются феноменальные способности. Вы брали у меня сто тысяч на открытие варьете, а вернули только пятьдесят шекелей, вот они, у меня в коробочке лежат. Мне что, к гарантам обращаться?

Рита быстро нажала на рычаг и опять стала крутить диск.

– Я не знаю, кто я! – всхлипнула она в трубку. – Я не знаю, что мне делать!

– Мамочка моя, надо продолжать соблюдать традиции, – строго сказал в трубке женский голос. – Изучать Тору и комментарии. Тот, кто хорошо знает Талмуд, может рассчитывать на жениха из очень приличной семьи. Не надо плакать, мы завтра пойдем к Бердичевским, их Хаим-Ицхак уже несколько раз интересовался тобой в доме у ребе Залмансона...

Закусив губу, Рита последний раз набрала номер.

– Доктор Шамес слушает.

– Алло, доктор, – сказала Рита. – Я не знаю, кто я...

– Амнезия? – сейчас же спросил доктор.

– Ага...

– Хорошо, приезжайте. Герцль, двадцать, вывеска на первом этаже.

Доктор Шамес принял Риту без очереди и усадил в глубокое кресло.

– Ну, – сказал он. – Рассказывайте, что вы знаете о себе.

Рита вытерла салфеткой подведенные глаза и рассказала про нецветные металлы, про Мамаю, про мохнатого Йоси, про простреленное ухо, варьете и Талмуд.

– Слушайте, это же приличная биография, – всплеснул руками доктор Шамес. – Вы обычная противоречивая натура. Есть положительные стороны, есть отрицательные. Аксиома конструктивной психологии гласит, что вы это на самом деле то, что вы о себе думаете. Но поскольку вам нечего о себе думать, вы все забыли, то теперь вы будете думать о себе то, что о вас думают другие... Я вам выпишу рецепт, вы по нему получите новый теудат-зеут<sup>22</sup>.

– В аптеке?

– Нет, в Министерстве внутренних дел. Там министр – наш человек, я звякну, он будет в курсе.

Через месяц Рита поехала на территории, купила «браунинг», начала учить Талмуд и вышла замуж за Хаима-Ицхака.

А еще через пару месяцев зазвонил телефон, и несчастный женский голос сказал:

– Алло! Вот, купила арбуз на рынке, нечаянно уронила на ногу и теперь ни черта не помню. Даже не помню, я это или не я...

– Орехи, всегда орехи надо покупать! – счастливо ответила Ривка Бердичевская и, дав отбой, положила в сумку Талмуд, Гермару и кобуру с пистолетом...

<sup>22</sup> Теудат-зеут – удостоверение личности.

*Степан Балакин*

## *СЧАСТЛИВ ОДИНОКИЙ БЕТУН*

### НОСТАЛЬГИЯ

И снова цветёт ностальгия.  
И корни сквозь сердце ползут.  
И памяти нити живые  
Свою паутину плетут.  
Опять надо мною хохочут  
Чужих городов этажи.  
И кто-то бессмысленный хочет  
Здесь насмерть меня закружить.  
Но я отвыкать не привыкну.  
И мне забывать тяжело.  
Но всё ж не сдержусь я и крикну,  
Что я не чужой, не чужой!  
Что я, продолжая путь долгий,  
Забыть не могу никого  
Из тех, кто во мне хоть немного  
Не видел врага своего.  
Что я и любовь, и несчастье  
От них не смогу утаить.  
Вчера ли случилось, сейчас ли,  
Всё в песнях придётся раскрыть.  
Спою о случайном и главном,  
О всём уходящем спою.  
И город мой, тихую гавань,  
Я вспомню, как юность мою.

1972

### ВЕЧЕРНИЙ ЛУГ

Кто сказал, что лучи заходящего солнца косые,  
Тот, наверное, сам был порядком косой.  
Вон мальчишки домой возвращаются лугом босые,  
По траве и цветам, оmyвая подошвы росой.

Я меж них. Я бессовестно юн и беспечен.  
Жизнь моя бесконечным восторгом полна.  
И пока это так – я конечно, конечно же, вечен –  
Как от камня, упавшего в воду, волна.

1976

## СНЕГ

Горизонтально падающий снег  
Пронзает всех, идущих вертикально.  
Глазами вниз, не поднимая век,  
Ты в этой тьме, как призрак зазеркалья.

В метельной мгле опустошенных душ,  
Заполнивших мельканием пространство,  
За гранью страха и за гранью стуж  
Любви великой светит постоянство.

Тебе пути никто не указал.  
Ты заблуждался. Но не в этом дело.  
Пока горит сочувствия слеза,  
Душа близка к возвышенным пределам.

Но прежде, чем войти в Его чертог,  
Ты оглянись на прожитые годы.  
Ушедших лет таинственной чертой  
Ты отделён от Матери-природы.

Твой круг замкнулся. Серебрится снег.  
И льётся вечным светом всепрощенье.  
Глазами вверх, не опуская век –  
Навек, навек – в иное воплощенье!

16.02.93

\* \* \*

Славословы, ваше слово – ложь!  
Словоблуды, ваше дело – дрянь!  
Не бандиту нужен острый нож –  
Мне, пересекающему грань.  
Мне, переступившему уже  
Узкую полосу бытия.  
Быть – не быть?  
И дело не в ноже –  
В ноше, что нести не в силах я.  
Я её пронёс и положил,  
Так и не поняв, где свет, где тьма.  
И ума, как видно, не нашёл –  
Жизнь сама, как нищая сума.  
Но в последний час, в ущербный час  
Я пробьюсь через химеры рыл.  
Брысь, Кентавры! Зубы скаль, Перас!  
Вот он ты! Я нож в тебя вонзил.

1979

**НЕГАТИВ**

Прибавил я в годах.  
Убавил я в душе.  
Житейских передряг  
Не одолеть уже.  
Ни радость, ни печаль,  
Ни память о былом...  
Машины мчат и мчат,  
Скрываясь за углом.  
А толпы прут и прут.  
В землистых лицах – мрак.  
Потом они умрут,  
И будет это так,  
Как было испокон.  
И кто-то сменит их.  
Гони, горисполком,  
Квартирку на двоих!  
Пусть множится толпа,  
Пусть пузырится плоть.  
А я еще не пал  
И не устал молоть  
Ногами – грязь дорог,  
Зубами – чью-то жизнь.  
А сверху смотрит Бог  
И цедит: «Отвяжись!»  
1978

\* \* \*

*Владимиру Высоцкому*

Больной эпохи обнажённый нерв,  
Кричит поэт – ему всего больнее.  
Он вместе с нею умирает, с нею!  
И смерть поэта – то эпохи смерть.

Он, уходя, твердит на перекрестках  
О том, как тёмен путь людских судеб,  
И в сумерках он кажется подростком,  
Отверженным, удравшим от судьей.

А судят те его, кому не больно,  
Кто сыт и глух, кто никогда не пел...  
Эпоха умерла. С неё довольно.  
Поэт её оставить не посмел.

28.07. 80

**БЕГУН**

Счастлив одинокий бегун,  
Он бежит, не ведая зла, –  
Вдоль прибрежных призрачных дюн  
Где трава дождя проросла.

И никто не нужен ему,  
Кроме серых сосен вдали.  
Лишь они его и поймут  
Здесь, на самой кромке земли.

Здесь, на грани ночи и дня,  
Между трех конкретных стихий  
Не хватает только меня -  
Я пишу в Ташкенте стихи.

В городе, где души смял смог,  
Люди счастье ищут в дыму.  
Я б отсюда вырваться смог,  
Да куда бежать – не пойму.

Здесь, на грани зла и добра,  
Три стихии бродят во мне.  
Трижды отрекусь до утра,  
Трижды замаячит в окне.

Трижды поднимусь и взлечу  
До незримых прежде высот.  
Лишь бы прикоснуться к лучу,  
Что погаснуть мне не дает.

Где-то кукарекнет петух.  
Зашумят машины опять.  
Я проснусь в холодном поту –  
Белку в колесе догонять.

1986

**МОЛИТВА**

Господи Боже святой!  
Блудных своих прости.  
Ведь и они распяты,  
Да некому их спасти.

Пригвождены страстями  
К плотским своим крестам.  
Ты говоришь: «Я с вами!»  
Но слышится: «Аз воздам!»



И не любовью, но страхом  
Овцы твои живут.  
Дай же взлететь над прахом  
Щедрых твоих минут!

Падают тихо травы,  
Скошенные во сне.  
Господи, Боже правый,  
Дай не погаснуть мне!

1994

### СОБАКИ И ПОЭТЫ

Бродят одинокие собаки,  
Оставляя на заборах знаки.  
Бродят одинокие поэты,  
Ни на чём не оставляя меты.  
Руки упираются в карманы,  
А глаза – в далёкие туманы.  
Вот и ты бредёшь немного пьяный,  
Спрятав за щекою ключ от тайны.  
От потерь, а может, от предчувствий,  
Взгляд твой недоверчивый и грустный.  
Может, кто раздул бы уголёк твой,  
Только догонять тебя далёко.  
Засыпают тощие собаки.  
Высыхают на заборах знаки.  
Засыпают гордые поэты,  
Не оставив ни стихов, ни меты.

1969

\* \* \*

Вообрази, как я вообразил  
Себе, что я поэт не без таланта.  
Что подпираю из последних сил  
Небесный свод в компании атлантов.  
Вообрази: вот я подпёр плечом  
Пресветлый свод высокого искусства.  
Кто упрекнёт, что я здесь ни при чём,  
Что без меня здесь свято и не пусто?  
Пусть упрекнул – мне впрок упрёки те.  
Но знаю я, что этот свод светлее,  
Пока под ним хоть угольками тлеет  
Поэзия в озябшей пустоте.  
А если б только тёмным было небо,  
Я б не держал его – я б вовсе не был.

18.05.86

\* \* \*

Сигналами точного времени  
Пискнул далёкий «Маяк».  
Опять сижу меж евреями,  
Полная рюмка моя.

Иудаизмом веет  
От глаз с поволокою.  
Увы, я не знаю евреев,  
Но я им песни пою.

Пою то грустно, то весело,  
С выраженьем лица.  
Окна тьма занавесила.  
Похрустывает маца.

И я, как пацан доверчивый,  
Что в знатный допущен круг,  
По истечении вечера  
Заиудеюсь вдруг.

И, может быть, обнаружу,  
Что я и вправду еврей,  
Который кому-то нужен –  
О Боже, азохэн взй!

1985

## ИСХОД

Мой брат, ну кто в том виноват, что нынче средний азиат,  
Не коренной, а пристяжной, бежит на Запад.  
Сплошной атас, отвал, отпад! Кто в Израиль, кто наугад.  
Никто не рад, но все подряд – навек, не на год.

Я постою, я посмотрю. Я, может, снова закурю.  
Но пить не буду ничего, совсем не буду.  
На посошок, что за помин. Мне лиц не видно из-за спин.  
Кто там стоит в толпе один – Иисус? Иуда?

Мой брат, мой ближний азиат, нам нет преград и нет наград  
И мы отвергли маскарад, чтоб видеть лица.  
Свершая свой круговорот, спешит в историю народ.  
Так дай нам Бог среди невзгод не раствориться!

17.12.89

## ИГРА В ВОЙНУ

Зелёный факел ивы на ветру.  
О ком скорбит он и к кому взывает?  
Один он никого не забывает,  
Неугомонный факел на ветру.

Здесь, в тишине, где стынет всё от ветра,  
Где так торжествен обелисков ряд,  
Уже не встретить сострадания взгляд,  
И на вопросы не найти ответа.

Ну что расскажут знаки мёртвых дат,  
Где восемнадцать лет стоят как прочерк?  
Из детства в вечность путь всегда короче,  
Когда ещё неопытен солдат.

Не потому ль среди могил опять,  
Ещё о смерти ничего не зная,  
Мальчишки в древнюю игру играют  
И учатся друг друга убивать?

Играйте, дети, прячьтесь и стреляйте,  
Перебегайте от куста к кусту.  
Но если кто споткнётся в пустоту –  
Того похоронить не забывайте.

1970

## РАВНОВЕСЬЕ

Я равновесья не нарушу –  
Зло невозможно побороть.  
Господь мне дал такую душу!  
Но Дьявол дал такую плоть!

Мир дразнит нас непостоянством  
И, как запретный плод, зовёт.  
Мне Дьявол подарил пространство –  
Господь часы мои завёл.

Я за соломинку соблазна  
Держусь, запретах вопреки.  
Всё так нецелесообразно  
В волнах губительной реки.

И душу как сберечь – не знаю.  
И надо ли её беречь?  
Она одна над бездной с краю...  
Об этом речь...

15.12.95

**ПОЭТ**

Меня высматривает Бог.  
Иль попросту – счастливый случай  
Не то, чтоб был я прочих лучше  
Умом, талантом иль судьбой.  
Нет.

Дело, видимо, в другом, –  
Что Богу, в общем, безразлично,  
И перед ним, увы, безличны  
Все.  
Даже те, что бьются лбом.

Но Он глядит в наш микрокосм  
С какой-то тайною надеждой.  
Глядит и не смыкает вежды.  
Как Лев Толстой,

глядит из косм.

И я... не то, чтоб я стучался  
В стену его небытия,  
Но всё же жду события,  
В котором бы навек остался  
И отпечатался б навек.  
И стал бы вехою эпохи.  
Дела мои не так уж плохи –  
Цветок души стремится вверх.  
Нет, тот цветок еще не сник,  
Он лепестки свои не смежил.  
Я над его соцветьем нежным  
Мечтательный склоняю лик.  
Я в этот миг почти бессмертен.  
Как Феб!

Как жаворонок Фет!  
Стихом, не найденным в строфе,  
Строфой, не найденной в сонете,  
Собой, не найденным на свете,  
Собой – лежащим на софе...

01.02.79

*Тригорий Островский*

### *ГАММЕРИЗМ ЕФИМА ГАММЕРА*

Как человек становится художником, этого не знает никто: говорят, на роду написано, а кто и зачем написал, неизвестно. Но почему он именно такой, а не иной, можно понять, хотя и не всегда; к тому же умозаключения остаются на уровне догадок. Признаюсь, меня Ефим Гаммер своей непредсказуемостью нередко ставит в тупик. Его путь в искусстве неординарен и парадоксален, но, по-видимому, так и положено поэту – выламываться из общего ряда тогда, когда этого никто не ожидает.

Похоже, что и сам Гаммер был удивлен, ощутив, что он – художник. Поэт, прозаик, журналист, автор нескольких книг, боксер (чемпион Израиля, а ранее – Латвии)... Все это так, но вдруг стать художником?

По его словам, озарение пришло свыше: «Сижу дома, пишу стихи. В час ночи распахнулась дверь, и вошел великий художник – имя его не назову. Сказал: “Ты должен рисовать” – и исчез. С тех пор и рисую». Так ли это было или не совсем так – какая разница, если правда художника неотделима от его воображения, а фантазия – от реальности. Куда важнее результат: Ефим Гаммер, – а было ему тогда сорок лет, – взял в руки карандаш и начал рисовать.

Удивительно то, что Ефим как бы перемахнул через ученичество и сразу стал работать профессионально: может, и впрямь чудесным образом раскрылось нечто заложенное свыше и лишь ожидавшее своего часа. Только за последние десять лет его произведения экспонировались более чем на сорока выставках – в Иерусалиме и Нью-Йорке, Токио и Париже, в Лондоне и Ницце, в родной Риге и на экзотическом острове Тасмания...

О картинах и рисунках Ефима Гаммера следует говорить как о самоценных и самодостаточных произведениях. Однако, мне кажется, еще полнее художник раскрывается в сопряжении с Гаммером – писателем и поэтом. Потому что искусство – это личность автора плюс все остальное: стиль, темы, образная система, материал и выразительные средства, техника и т. д. Но личность-то одна – неповторна и неразъемна.

Сам художник определяет свои произведения просто, непонятно и иронично: *гаммеризм*.<sup>1</sup> Ничего этот термин не проясняет, но в нем содержится точное и важное указание на сугубо лично-

---

<sup>1</sup> В энциклопедии современных израильских художников его художественный стиль так и назван «гаммеризм». См. «Лексикон», Тель-Авив, изд-во «Акад», 1994 (на иврите).

стный, очень субъективный и индивидуальный характер творческого акта.

Привычные мерки и стандарты здесь не срабатывают, и, наоборот, уж лучше таинственный «гаммеризм», чем очевидные неточность и приблизительность других определений. Тем не менее, гармония, как известно, поверяется алгеброй, и рациональный подход к рисункам и картинам Гаммера без особого труда вызовет воспоминания о причудливых гротесках Франсиско Гойи и аналитическом методе Павла Филонова, сюрреалистических фантазмагориях Сальвадора Дали и «сатанинском символизме» Бориса Анисфельда.

И в графике, и в поэзии Ефима Гаммера слышится эхо «серебряного века» русского искусства, в изысканную метафоричность властно вторгаются космизм Велемира Хлебникова и хаотичные ритмы дадаизма. Общим остаются универсальные качества искусства Гаммера: профессионализм в работе с материалом, графическая культура, опосредованная, а нередко зашифрованная ассоциативность образных структур, развитая фантазия, густо настоящая не столько на букве иудаизма, сколько на мистике каббалы.

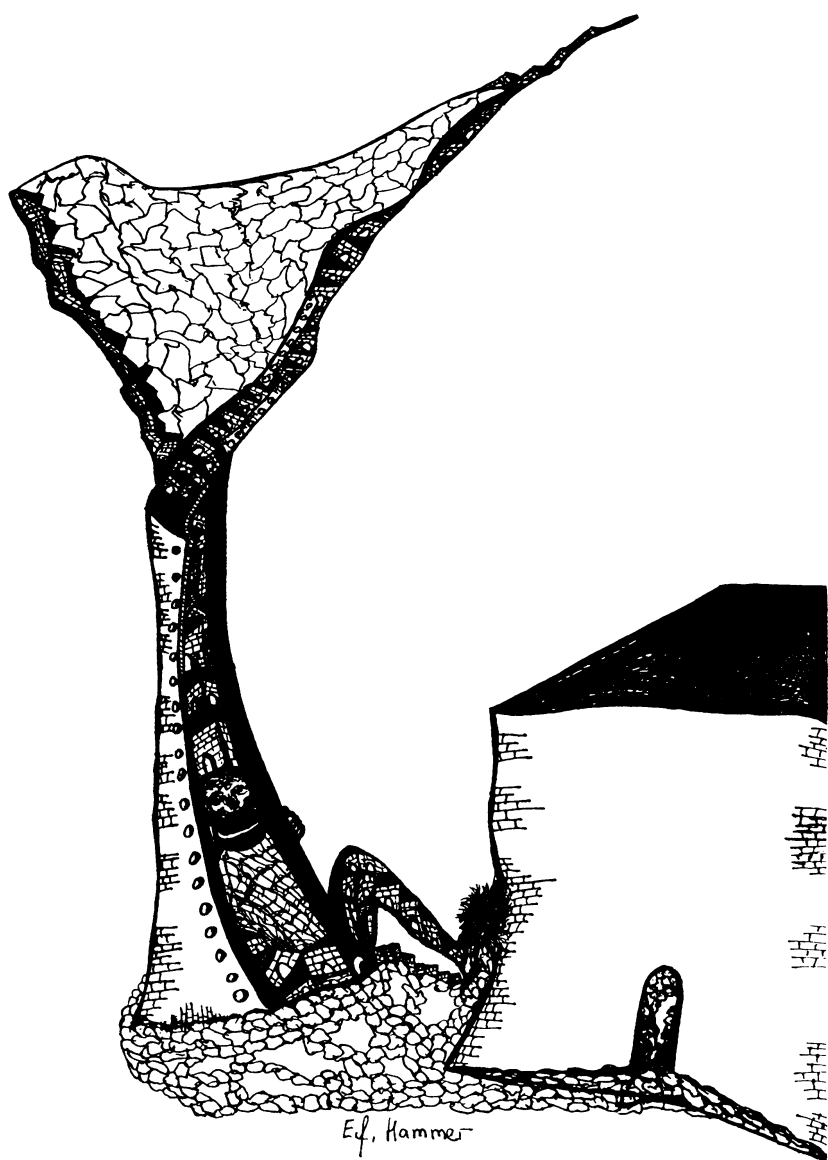
Эклектичность такого рода сегодня воспринимается как один из формообразующих признаков эстетики постмодернизма. В случае Гаммера следует говорить не об эклектике, а скорее о средостенье разнородных импульсов и впечатлений – как жизненно укорененных, так и собственно художественных, органическом синтезе всего, что может и что становится жизнестроительным материалом его искусства.

Традиция прорастает в современность, в дне сегодняшнем живится память о минувшем, а провидческий дар художника отверзает день – или ночь – час грядущий, и все это перекрывается единой и неразъемной личностью автора, духовная структура которой и определяет эстетический код его искусства – вербального и визуального.

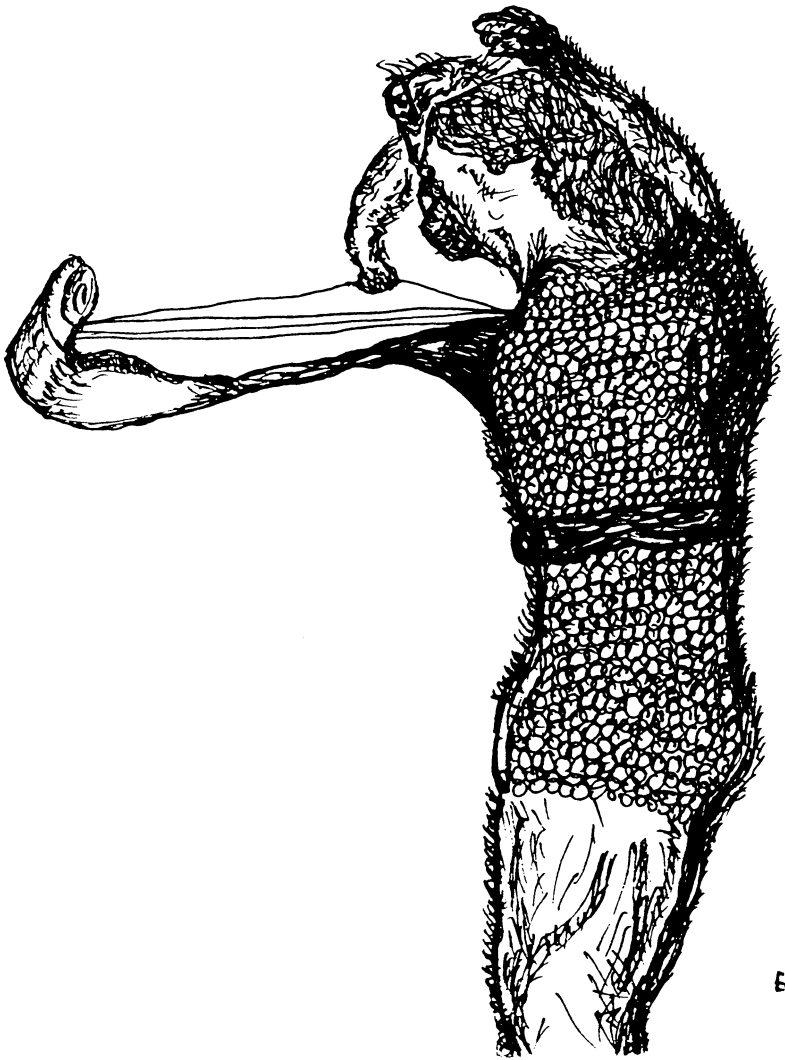
И еще ироничность – скрытая или явная, лукавство – добродушное или саркастическое, игровое начало творчества, в котором «понарошку» неотделимо от «взаправду». Подозреваю автора в склонности к мистификациям, но рискую при этом сам оказаться их жертвой...

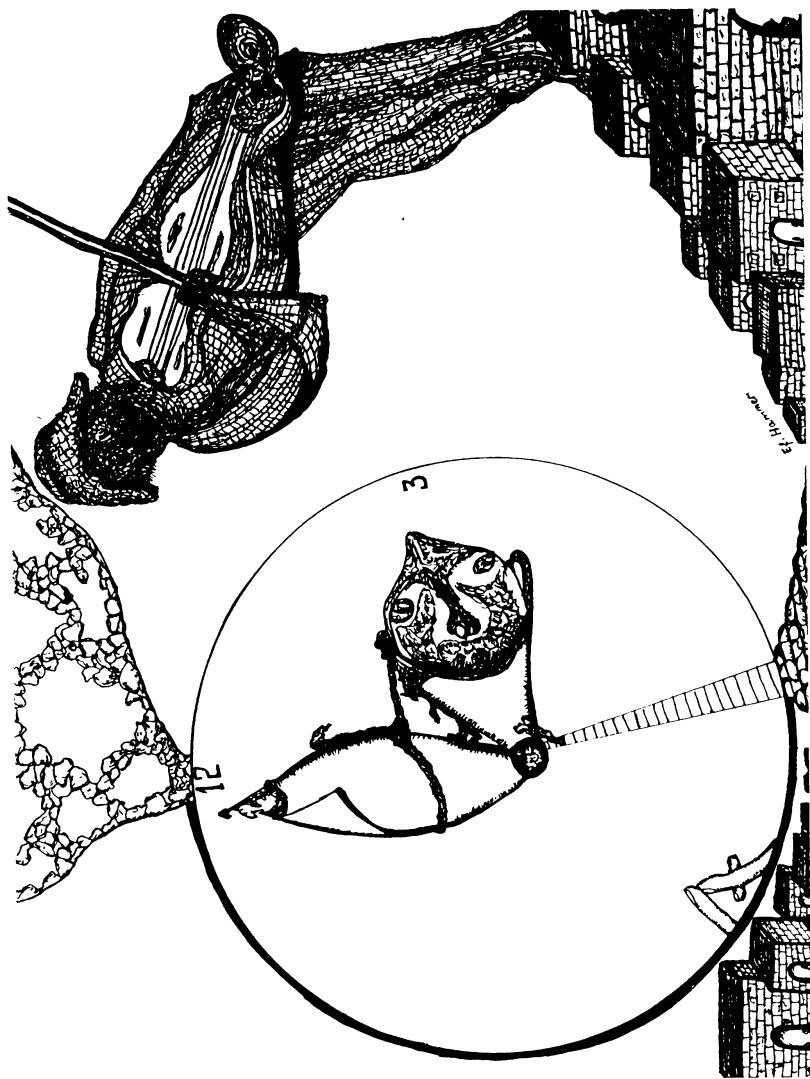


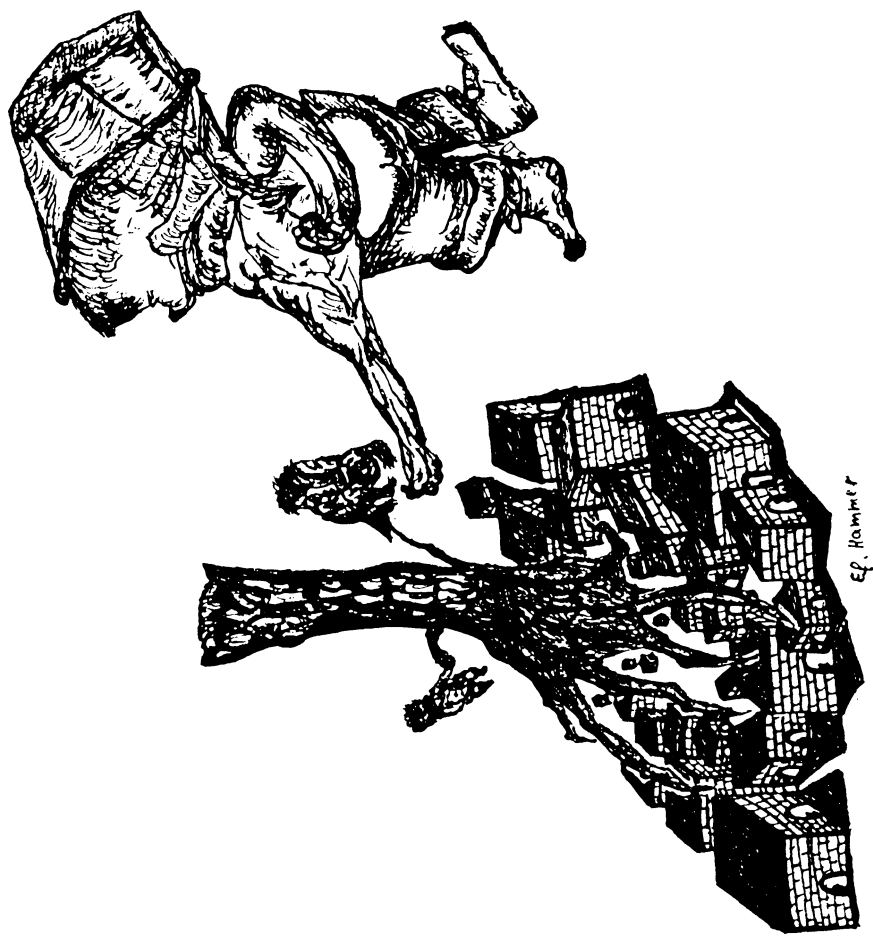
Stefan Ganner











Ep. Hammer



Art in Geneva

### *Семен Тринберг* *СЕРЬЁЗНАЯ ИГРА*

#### ОДИН ДЕНЬ

*(Из Уриэля Офека)*

Он, как всегда, успел с утра лицо ополоснуть,  
Потом рубашку нацепить, зарядку провернуть.

В тарелке с кашей островок соорудил легко,  
И не попробовав, сказал, что скисло молоко.

Он был нисколько не злодей и не примерным был,  
Но причесаться в этот день нечаянно забыл.

И вышел в школу, как всегда, и чуть не опоздал,  
И, два примера одолев, грамматику проспал.

И воротился он домой, и был слегка в пыли...  
Так и тащился этот день, как все другие шли.

Опять под скатертью кусок припрятал, и другой...  
И тут он вздрогнул – за окном вдруг хлынул проливной.

И в небе молния зажглась, и он захохотал,  
И на стекле ее зигзаг смеясь нарисовал.

А после дождика успев кораблик запустить,  
Свою учительницу он решил изобразить.

Но самый рыжий карандаш в коробке не нашёл,  
Но подвернулся голубой, и тоже подошёл.

И только на дворе пошла серьёзная игра,  
Как мама крикнула: «Темно! Уже домой пора!»

Он оглянулся – на дома легла ночная тень...  
Но не печальтесь – он придёт, вы все увидите – придёт  
Назавтра новый день!

**Я БЫЛ САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ В КЛАССЕ***(Из Ионатана Гефена)*

Я был самый маленький в классе.  
Везде –  
За партой, и в спорте на школьном дворе.

На памятном снимке всем место нашлось.  
И я тоже здесь.  
Но, чтобы попасть в объектив, мне пришлось  
на ящик залезть.

Высокие дети шеренгой стоят –  
годятся в отцы,  
и вдруг – метр десять – до пояса я  
учительницы.

Я ночью в подушку заплакал –  
поможет ли Бог,  
чтоб я за большими увидеть  
хоть что-нибудь смог.

Наверное, кто-то услышал  
мой тихий вопрос,  
и я сантиметров на десять  
внезапно подрос.

**КОГДА МНЕ СКАЖУТ***(Из Тирцы Атар)*

Когда мне скажут: «Как дела?»,  
обычно я молчу.  
И даже если засмеюсь,  
смеяться не хочу.

Ну, словом, в толк я не возьму –  
и что ему сказать,  
и, собственно, зачем ему  
в дела мои влезать?

*Сергей Никольский*

## *ИЗ КУЛИНАРНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ*

### ГДЕ И СКОЛЬКО

Пищи нет в пустынном месте,  
потому что там песок.  
Пищи нет на Эвересте,  
потому что он высок.  
А в лесу различной пищи  
больше тыщи!  
Возле каждого куста  
больше ста!!!

### ПОВАРА

На шампуре повара  
кусок мяса повора-  
                                повора-  
                                        повора-  
                                                поворачивают.

В ресторане шофера  
это мясо навора-  
                                навора-  
                                        навора-  
                                                наворачивают.

Слопав мясо, шофера  
взяли в руки рупора,  
говорят: Пришла пора!  
Будем славить поваров,  
потому что повара  
поважнее докторов!  
Перетак! Та-ра-рам!  
Слава, слава поварам!

### БЛАМАНЖЕ

На десятом этаже  
кто-то варит бламанже,  
и от запаха уже  
целый город в напряже!  
Я им сразу предрека:  
к дому потечет река,  
всем захочется попробо

бламанже наверняка!  
Жаль, что к предостереже  
отнеслись с пренебреже.  
В результате, в результате  
в массах началось броже.  
Грабежи и протече,  
мандражи и шантаже –  
вот что в городе возникло  
в результате бламанже.  
Руково соображе  
безопасности движе,  
вся страна моя большая  
на осадном положе!!!  
Кулина и повара,  
слушайте мою мора:  
если варишь бламанже –  
запирайся в блиндаже!!!

### **КИТАЙСКАЯ КУХНЯ**

Китайцы на нас весьма непохожи,  
и пища их тоже.  
В Китае белок – не белок, а желток,  
и всё потому, что это восток.  
В Китае пюре – не пюре, а бульон,  
и всё потому, что загадочен он.  
В Китае судак – не судак, а минтай,  
и всё потому, что это Китай.  
И если ты мясо увидишь в меню,  
не мясо тебе принесут, а фигню!

### **СПАРЖА**

Бомж по прихоти монаршей  
целый год питался спаржей!  
И на глазах всего народа  
в нем совершилась перемена:  
улучшилась его порода,  
он стал похож на джентльмена.  
Когда он стал питаться спаржей,  
он обзавелся секретаршей,  
сестрою старшей и супругой,  
походкой твердой и упругой.  
К тебе я обращаюсь, быдло!  
Забудь картошку и повидло!  
Ешь спаржу – при такой диете  
ты будешь принят в высшем свете!



*Лорина Дымова*

## *ВОПРОСЫ НА ОТВЕТЫ*

### РАЗГОВОР С ЛЕТУЧЕЙ МЫШЬЮ

*(Из Айна Гилеля)*

Спросил я однажды летучую мышь:

– Зачем ты летаешь?

На стенке висишь?

Ты мышка? –

Тогда ты летать не должна!

– Я птичка, – сказала она .

Я вечером в комнате свет погасил.

– Ты птичка? – ее в темноте я спросил.

– Я вовсе не птичка, а мышка.

А ты – невозможный мальчишка!

А утром спросил я у мышки опять:

– Что будешь ты делать до вечера?

– Спать.

– А ночью?

– Летать над домами.

А после – висеть вверх ногами.

Люблю, чтоб была вместо неба земля!

– Зачем?

– Низачем! Тру-ля-ля!

### ПОД СТОЛОМ

*(Из Нурит Зархи)*

Гостей на праздник мы зовем –

и вот они приходят в дом,

толпятся на пороге,

приносят фрукты и цветы.

В шкафу томятся их зонты,

а под столом – их ноги.

Ногам там скучно,  
спору нет!  
Под стол не проникает свет,  
никто там не ведет бесед –  
и все же ноги рады,  
что наконец-то хоть чуть-чуть  
им разрешили отдохнуть  
и что спешить в обратный путь  
пока еще не надо.

### Я СПРАШИВАЮ

*(Из Айна Гилеля)*

- Что делают цветы?
  - Цветут.
- Что делают кусты?
  - Растут.
- А облака?
  - Бегут.
- Куда?
  - Куда хотят.
- Ну а репейник?
  - Он в засаде ждет ребят.
- А птицы за окном?
  - Летают и поют.
- Они не устают?
  - Наверно, устают.
- А стадо на горе?
  - Пасется целый день.
- А поезд?
  - Нас везет.
- Ему не лень?
  - Не лень.
- А море каждый день что делает?
  - Волну.
- А солнышко зимой?
  - Для нас с тобой весну.
- А звезды?
  - Вниз летят.
- А кот?
  - На льва похож.
- А я?
  - А ты весь день вопросы задаешь

*Шья Липес**НА МОРЕ И НА СУШЕ***В БУДУЩЕМ ГОДУ В ИЕРУСАЛИМЕ***(Из Йонатана Гефена)*

Двумя руками быстро зачерпну  
солёную зелёную волну  
и спрячу в целлофановый мешок.  
Ракушки положу туда, песок...  
И дедушке отдам.

Потом опять  
пойду к причалу волны собирать,  
пока они не вырастут большими  
и станут морем в Иерусалиме.

**БОСЫЕ ДНИ***(Из Нуриг Зархи)*

И каждый день ко мне приходит новый день.  
И просит:  
«Ты обуь меня в дорогу!»

Я выдвигаю ящики в шкафу,  
я начинаю рыться в сундуках,  
вытаскивать из дальних кладовых  
сапожки, туфли, тапочки, кроссовки...

Тебе, дружок, – сандалии из кожи.

Тебе – из пластика, ступай на море.

А этот день, похоже, не простой –  
ему тяжелые, со скрипом, башмаки,  
наверно, подойдут.

А этот – пусть гуляет в босоножках...

Но утром в дом приходит новый день  
и просит и его обуь в дорогу...  
Увы, всё роздано.

И день

уходит от меня  
босым, как и пришел.

*Тригорий Бардин*  
*ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ...*

**ПРИГЛАШЕНИЕ СЛОНАМ**

Большая подруга животного мира,  
Тамара Шапира купила тапира.

На сдачу купила Тапиру кефиру  
И с тем водворила Тапира в квартиру.

Тапир улыбнулся заботливой Томе,  
Что, дескать, он рад поселиться с ней в доме.

Но тут же добавил при помощи жеста,  
Что есть у него в зоопарке невеста.

Тамара вздохнула, и вот у кассирши –  
Подписанный чек на покупку Тапирши.

...В просторной квартире прекрасная пара –  
Тапир и Тапирша. А где же Тамара?

Тамара – готовит, Тамара – стирает,  
Гуляет с Тапирчиком, дом убирает.

...Знакомым Слонам говорили Тапиры,  
Что стоит отведать салат у Шапиры.

**ДРУГИЕ ЛЮДИ**

*(Из Иегуды Атласа)*

Те, с кем чужие мы совсем,  
И взрослые, и дети,  
Кто населяет город мой  
И дальние края, –  
Как я хочу,  
Чтоб знали все,  
Что мальчик есть на свете  
Один-единственный такой.  
И этот мальчик –

я.

*Арнольд Каштанов*

## *СТРАНА СЯ НЕ ЕСТЬ МЕСТО ПОКОЯ*

*БЕРЕШИТ (Книга Бытия) как литературное произведение.  
Опыт прочтения*

### 1

В семье скотовода Якова поссорились из-за пустяка дети. Это случилось на пастбищах Палестины. Исторических свидетельств о тех временах осталось мало. В одной египетской надписи в перечне стран, пострадавших от набегов «народов моря», среди других упоминается Израиль – не как страна, а как народ или племя. В *БЕРЕШИТ* сказано, что Израиль – это и есть Яков.

Мальчик, пострадавший в ссоре, стал важным лицом при египетском фараоне. Имя фараона сейчас никто не помнит, а мальчик почитается одним из величайших людей почти во всем мире. Величие его связывается не с какими-нибудь великими деяниями на службе, а с тем, что происходило внутри семьи, – с детской ссорой и примирением через много лет. Это событие имело последствия, каких не имело, может быть, никакое другое событие в истории.

Что же произошло?

Вопрос можно разделить на два:

В самом деле что-то произошло, или мы имеем дело с вымыслом?

Событие в самом деле столь значительно, или значительность ему только приписывается?

Я принадлежу к тем, кто на оба вопроса отвечает утвердительно, и в меру сил попытаюсь объяснить свою позицию.

### 2

Отец послал сына посмотреть, все ли в порядке у братьев, которые пасли скот далеко от дома. Сын отправился на поиски. По пути встретился какой-то человек. Сын обратился к нему:

– Я ищу братьев моих. Скажи мне, где они пасут?

– Я слышал, как они говорили: «Пойдем в Дотан».

«И пошел Иосиф за братьями своими, и нашел их в Дотане».

---

*Мы сопровождаем эту публикацию принадлежащим П. Полонскому недельным комментарием к Торе, в котором отражена традиционная для ортодоксального иудаизма интерпретация описываемых событий.*

Не стану гоняться за наукообразностью и давать ссылки на тексты и публикации так, как это принято в науке. Я буду обращаться к книге *БЕРЕШИТ* на иврите с подстрочным переводом на русский Давида Йосифона (лишь заменив имя Йосэйф на более привычное нашим глазу и уху Иосиф) и к русскому переводу Корана, сделанному И. Ю. Крачковским. То, что я предлагаю читателю, является субъективным разбором письменного литературного произведения, каким является любой священный текст. Я убежден, что этот наивный взгляд может кое-что добавить к историческим, культурологическим, теологическим, лингвистическим, филологическим, а также другим научным исследованиям.

Разумеется, этот наивный взгляд не может содержать новизны. Более того, он присутствует во всех теологических комментариях к тексту. В эпизоде встречи с незнакомцем, подсказавшим Иосифу, что братья направились в Дотан, именно образ незнакомца требует известного теологического комментария: этот человек (на иврите *иш*) – это ангел, посланный Иосифу. Тенденция комментария (Иосиф получает знак божественного волеизъявления) понятна. Логика его легко может быть оспорена. Но почему вообще понадобился комментарий?

Потому что для *наивного взгляда* встреча Иосифа в поле является необязательным эпизодом. Она легко опускается без всякой потери любого смысла. (В том числе теологического: если бы Иосиф, повинаясь приказу отца, сразу пришел бы в Дотан или нашел бы братьев в Шхеме, ничего бы не изменилось. История ничего не утратила бы для древних иудеев: для них *все, что происходит*, является божественным волеизъявлением.) Комментатор-теолог, как любой другой слушатель или читатель, отмечает лишнюю для повествования деталь, испытывает потребность как-то объяснить и оправдать ее, не принимает ее как случайность, иными словами, – ищет в ней смысл.

На это его обрекают законы восприятия литературного произведения. Они лежат в основе нашей психики. Доверимся же им и будем последовательны. Они, к примеру, требуют объяснения не только самого факта встречи с незнакомцем, но и его «реплики»: «Я слышал, как они говорили: «пойдемте в Дотан». Реплика удивительно выразительна и существенна: она предполагает определенное расстояние между незнакомцем и братьями, определенное время контакта (слышал, как говорили, но сам не видел), определенную вероятность (говорили, что пойдут туда, но это еще не стопроцентная гарантия, что они сейчас там), – если ангел, средства познания которого отличны от наших органов чувств, хотел выдать себя за человека, то лучше он сказать не мог. Отношение к тексту, как к литературному произведению, порождает и другие вопросы. К примеру, кто же знал, что встретившийся Иосифу человек – ангел, если повествователь об этом обстоятельстве не знает? А если повествователь знает, то почему умалчивает? В историях об Аврааме и Якове он не считает нужным умолчать о столь важных деталях.

Мы должны признать, что, с точки зрения литературной, эпизод не обязателен и не нужен.

Этот случай – уникальный в священных текстах. Когда тысячелетие спустя история Иосифа (Юсуфа) попала в Коран, эпизод был опущен. Во время возникновения Корана священные тексты уже строились как притчи, все в них было подчинено идее, которую притча выражала. Встреча в долине, как случайная деталь, должна была отсеяться в череде устных пересказов и переписываний, шлифовавшихся от поколения к поколению. Она и отсеялась.

Нет случайных эпизодов и в христианских Евангелиях. В процессе канонизации текстов часть из них была принята, часть не вошла в канон, но каждый из них был наполнен смыслом притчи, нес мировоззренческое сообщение.

В иудейских текстах, более древних в сравнении с христианскими и магометанскими, повествовательная энергия более самодостаточна, но и там всегда сохраняется значимость детали для самого рассказчика. Иногда эта значимость смысловая, иногда – историческая. В устных преданиях исчезают не только незначимые эпизоды, но и малоинформативные слова. В истории Иосифа явно отшлифован до анекдотической лаконичности эпизод любовных похлеще и коварства хозяйки, жены начальника личной охраны фараона. Этого требуют законы вставной новеллы. Женщина хотела соблазнить Иосифа. Почему? Это объяснено: Иосиф был «красив станом и красив видом». Он отказывался от соблазна, и это тоже подробно объяснено без лишних слов: хозяин ему доверил все, «не удержал от меня ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; а как же сделаю это великое зло и согрешу перед Богом». Принуждая его согрешить, женщина хватала за одежду. Иосиф вырвался и убежал. Одежда осталась в руках у хозяйки. Женщина закричала, прибежали домашние (в православном тексте – слуги), она показала им одежду Иосифа в доказательство того, что еврей, которого ее муж привел в дом, пытался овладеть ею, но она не уступила. Когда вернулся домой муж, женщина повторила свою ложь. Муж разгневался и посадил Иосифа в тюрьму.

История безукоризненна психологически. Смущает лишь эпизод с одеждой. Он не очень правдоподобен, хоть и не невероятен. Он именно анекдотичен. Без этой оставленной одежды зримость случившегося пострадала бы, а именно зримость в данном случае питает грубое воображение.

В Коране этот эпизод сохранен. Однако цивилизация нового тысячелетия уже требовала большей правдоподобности и большей оправданности детали. Убегая, Юсуф не выскользнул из одежды. Женщина, пытаясь его удержать, вцепилась в нее сзади и разорвала. Она пыталась объяснить это домогательствами Юсуфа и своим сопротивлением, но мудрые мусульмане тотчас отметили: если бы было так, как говорит она, одежда была бы разорвана не сзади, а спереди. Не правда ли, это похоже на рассуждения других мусульманских мудрецов из других историй, к при-

меру, из анекдотов о Ходже Насреддине? Хозяин согласился с этим аргументом, принял сторону Юсуфа и заставил жену просить прощения. Анекдот превратился в назидательную восточную новеллу, одежда – в улику, но, надо сказать, эта новелла оправдала деталь с одеждой, которая в *БЕРЕШИТ* как-то выпадает и по стилю, и по степени достоверности.

В Коране появилась новая духовность: не только женщине приглянулся Юсуф, но и «он думал о ней», ему из благочестия пришлось преодолевать любовное чувство, принести наслаждение в жертву. Как-никак, были уже средние века. Грешница задумала мстить, сумела расположить к себе городских женщин, пригласила их, дала каждой нож, чтобы они убили Юсуфа, и позвала его. Когда же он вошел, женщины поняли, что перед ними не человек, а ангел, и ножами порезали свои руки.

На наших глазах библейский рассказ превращается в красивую легенду.

Ничего этого нет в *БЕРЕШИТ*. Там есть даже некоторая повествовательная корявость: грешница дважды рассказывает лживую историю, первый раз – домашним, второй раз – мужу. Этот повтор тормозит повествование.

Эта необязательность делает эпизод с женщиной похожим на эпизод случайной встречи по пути в Шхем.

Случайная встреча озадачивает своей необязательностью для рассказа, но зато типична для очевидца, который не пропускает ничего из того, что ему запомнилось. Многократная устная передача предания шлифует свидетельство очевидца, убирая явно случайное или добавляя что-то, что придает случайному и необязательному новый смысл. В истории Иосифа этого почему-то не случилось.

В христианских текстах, как мы говорили, необязательного нет, но они и создавались на много веков позднее. Если же мы сравним историю Иосифа с современной ей литературой, там необязательность совсем иного рода. Тексты Гомера относятся к этому времени.

Описание боевых доспехов Атрида занимает у Гомера 30 строк гексаметра. Элегическое настроение последних ночей перед битвой передано и развернутым сравнением, и точной информацией, и выразительной деталью:

*Гордо мечтая, троянцы на поприще бранном сидели  
Целую ночь: и огни их несчетные в поле пылали.  
Словно как на небе около месяца ясного сонмом  
Кажутся звезды прекрасные, ежели воздух безветрен;  
Все кругом открывается – холмы, высокие горы,  
Доли; небесный эфир разверзается весь беспредельный;  
Видны все звезды; и пастырь, дивуясь, душой веселится, –  
Столько меж черных судов и глубокопучинного Ксанфа  
Зрелось огней троянских, пылающих пред Илионом.  
Тысяча в поле горела огней, и пред каждым огнищем*



*Вкруг пятьдесят ратоборцев сидело при зареве ярком.  
Кони их, белым ячменем и сладкой питаюсь полбой,  
Подле своих колесниц ожидали Зари лепотронной<sup>1</sup>.*

Рассказчик знает, сколько воинов сидело вокруг костра. Тем не менее, нам не придет в голову принимать описание за свидетельство очевидца. Без специального текстологического анализа мы видим приемы изображения, решающие импрессионистскую задачу. Автор пользуется для этого сравнениями, в пейзаж вводится фигура пастуха, очарованного красотой природы. Она и часть пейзажа, и проекция его внутрь человека, состояние души. Мы имеем дело не со священным текстом, а с произведением искусства, его не хранят жрецы, а исполняют рапсоды.

Есть ли у Гомера что-нибудь случайное? Можно сказать – все. Начиная с имен героев, все заменяемо. Однако случайное в истории не совпадает со случайным в эстетике. С позиции искусства случайного нет.

Ничего подобного нельзя сказать о текстах об Иосифе. Ни одна деталь рассказа не существует для описания. В отличие от текстов Гомера, изобразительная задача перед рассказчиком не стоит. Как ни странно, и притчевый смысл тоже сомнителен. Он вытекает из всего содержания всех книг Торы.

Зато самым скрупулезным образом прослежены все родственные связи, упоминаются имена и степень родства многочисленных лиц, не участвующих в фабуле, словно бы речь идет о показаниях свидетеля на процессе о наследстве.

Не будет большой смелостью предположить, что история записана со слов очевидца. Однако, кто же очевидец? Кто из участников событий мог знать все приведенные подробности?

Только сам Иосиф. Кроме того, рассказ очень субъективен. Безупречен в нем один лишь Иосиф. Детское доноительство на братьев – это, по тем временам, надо думать, признак умственного превосходства, высокая обязанность, которой можно гордиться. Другие дела Иосифа, которые коробят сегодня, безупречны по морали тех лет.

Повествователь все видит глазами Иосифа. Там, где Иосиф очень взволнован, повествователь теряет спокойную интонацию и впадает в несвойственный ему пафос: «И он поднял крик с плачем, и услышали Египтяне, и услышал дом Паро». Поступки отца и братьев, касающиеся Иосифа, и другие их поступки меряются неравной мерой.

Одаренный, «удачливый в делах», познавший жизнь цивилизованного Египта, Иосиф мог лучше всех других рассказать и историю своей семьи. Естественно, что чем дальше по времени отстояли от него события, тем меньше в них живых чувств и больше легендарного, похожего на семейные предания. Дух преданий чувствуется прежде всего в личных контактах с Богом, которые вообразимы у предков, но не у самого рассказчика.

<sup>1</sup> Перевод В. Жуковского.

Сегодня религиозные комментаторы трактуют тексты иначе – праотцы вступали в контакт не с Богом, а с ангелами. Такой трактовки требует сегодняшнее представление о Боге, как о сущности трансцендентальной, не имеющей начала и конца. Надо помнить, однако, что такое представление и, как следствие, требование аллегорического прочтения текстов возникло много веков спустя после их появления. Отношение к текстам как к литературе требует буквального прочтения. Сами тексты говорят именно о Боге.

Деловым людям – а Иосиф в *БЕРЕШИТ*, в отличие от Юсуфа в Коране, не столько прорицатель, сколько деловой человек, – свойственно верить, что Бог покровительствует им в их начинаниях, но силы их души уходят на конфликты с ближними, а не Высшими. Иосиф с Богом и ангелами никогда непосредственно не общался, не слышал их голосов, не видел их в сновидениях.

Я далек от того, чтобы выдвигать концепцию об авторе *БЕРЕШИТ*. Это дело специалистов, я таковым не являюсь. Литературоведческий анализ текста указывает на Иосифа как на автора (или как на источник для автора), но это может противоречить более строгим и научным исследованиям. Для той мысли, которую я хочу выразить, авторство вообще не имеет никакого значения.

### 3

Итак, у нас есть некоторые косвенные основания считать, что, в целом, мы имеем дело с жизнеописанием исторического лица, а не с легендой, созданной компилятивным путем. Это не жизнеописание «исторической личности» – царя, военачальника или реформатора. Как раз та часть, где Иосиф мог бы претендовать на «историческую значимость» в качестве влиятельного лица при фараоне, – эта часть, в отличие от всего остального, рассказана как легенда, лишена конкретных, необязательных для фабулы черточек, вызывает много вопросов и сомнений. Да она, как ни странно, имеет в истории лишь вспомогательное значение. Сама история – семейная, задачи рассказчика не выходят из сферы семейных впечатлений и интересов.

Внутри этой истории и произошло нечто, чрезвычайно для нас важное и по сей день.

В детстве Иосиф был предан братьями. Не желая пролить родную кровь в буквальном смысле слова, что явилось бы смертным грехом, братья, тем не менее, обрекли его на верную смерть. По случайности или по божественному предначертанию Иосиф спасся, стал влиятельным лицом в могучем Египте, и вот братья, оставшись бедными провинциалами, оказались в его руках: они приехали просить хлеба для всей семьи, не узнав в могущественном египтянине своего брата. Они разговаривали при нем, не зная, что он понимает их язык. Он же себя не выдавал.

Тут есть интересные детали. К примеру, выслушав просьбу, Иосиф дал им хлеба и отправил домой. Он лишь попросил при-

вести к нему единоутробного брата Биньямина, которого среди них не было, и для гарантии, что просьба его будет выполнена, оставил одного из них заложником. Разве есть в этом что-то страшное? Братья же, выслушав его решение, стали сетовать на то, что они наказаны. Но в чем же наказание? Недаром в Коране братья отмечают: «Это мера легкая». Более того, братья, не зная, что перед ними Иосиф, вдруг заговорили о том, что наказаны они за давний детский грех, смерть брата Иосифа. Это вызывает сомнения, поскольку мы знаем, что с тех пор братья совершили куда более страшные по нашим меркам злодеяния, предательски уничтожили целый город, доверившийся им в своем доброжелательном к ним отношении. Почему же они не этот город вспомнили? Это я и имел в виду, говоря, что безымянный рассказчик истории об Иосифе меряет неравной мерой. В его представлении братья всю жизнь терзались угрызениями совести из-за попытки братоубийства.

Требование Иосифа было выполнено, братья вернулись с Биньямином.

«И заторопился Иосиф, потому что вскипела в нем жалость к брату его, и он хотел плакать; и вошел он в комнату, и плакал там. И умыл лицо свое, и вышел, и скрепился, и сказал: подавайте кушанье. И подали ему особо и им особо, и египтянам, евшим с ним, особо: ибо не могут египтяне есть с *иврим*; потому что это мерзость для египтян».

Дав каждому столько хлеба, сколько тот мог унести, вернув им их серебро, Иосиф приказал своему домоправителю тайком положить в мешок Биньямина свою серебряную чашу. Путники тронулись в обратный путь, и вскоре их нагнал домоправитель со свитой, разыграв спектакль, сочиненный Иосифом: обвинил в краже, обыскал, нашел чашу, забрал Биньямина.

Братья, в горе раздирая одежды, повернули назад, умоляли Иосифа отпустить Биньямина, и один из них, Иегуда (греху которого повествователь прежде посвятил отдельный рассказ), просил взять его рабом вместо Биньямина, разлука с которым убьет их отца.

«И не мог Иосиф удерживаться при всех, стоявших около него, и закричал: выведите от меня всех! И не стоял никто при нем, когда Иосиф дал себя узнать братьям своим: И он поднял крик с плачем, и услышали египтяне, и услышал дом Паро».

«И да не покажется вам досадным, что вы продали меня сюда; потому что для сохранения жизни послал меня Бог перед вами».

Перевод этого места представляется мне не совсем удачным, и потому я дополню его переводом из православной Библии, менее буквальным:

«Не жалейте о том, что продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни... Не вы послали меня сюда, а Бог...»

«И пал он на шею Биньямину, брату своему, и плакал; и Биньямин плакал на шее его. И целовал всех братьев своих, и плакал над ними».

Чувства Иосифа понятны нам потому, что оправданы сюжетно. Когда Иосиф кричит: «Удалите от меня всех!» и, оставшись наедине с доведенными до отчаяния, запуганными им же самим братьями, открывается им, рыдает, прощает – да не прощает, а оправдывает, почти благодарит их! – он очень напоминает нам героев Достоевского. Сегодня, после двух тысячелетий христианства, мы воспринимаем фразу: «Не жалеете о том, что продали меня!» как выражение христианского всепрощения. Однако не будем приписывать Иосифу современные чувства.

## 4

В этом эпизоде заключено то событие мировой истории, которому посвящен мой очерк. Мы попытаемся понять, что произошло.

Сравним опять с двенадцатой сурой Корана. Там фабула сохранена полностью. Есть и требование привести Биньямина, есть и подложенная чаша. Но есть и существенное отличие. Юсуф ведет себя последовательно. Он приказал подложить чашу в вещи своего единственного единоутробного брата, чтобы иметь законное основание арестовать его и таким образом оставить при себе. Когда другие братья стали просить его оказать милость и отпустить Биньямина, Юсуф ответил:

– Знаете ли вы, что сделали с Юсуфом и его братом, когда были в неведении?

– Разве же ты, в самом деле, Юсуф?

– Я Юсуф, а это – брат мой. Аллах оказал нам милость...

«Когда были в неведении» означает «когда не видели силы Аллаха». Юсуф очень разумен. Видите, как все обернулось, как бы говорит он, вы совершили преступление надо мной, и справедливый Аллах возвеличил меня над вами. Далее следует мораль, прозрение братьев, увидевших, что Аллах на стороне Юсуфа, мистическое и символическое исцеление Юсуфом слепоты отца Якуба, торжественное объединение всей семьи во дворце Юсуфа, когда отец пал перед сыном ниц, а сын произнес ему проповедь о милости Аллаха.

В *БЕРЕШИТ* эпизод переполнен необязательными, но точными деталями, и его рассказчику всего важнее передать чувства Иосифа. При этом поведение Иосифа непоследовательно. Узнав братьев, он обвиняет их в неких дурных намерениях («пришли высмотреть наготу земли сей»), заключает под стражу и держит три дня, объявляет, что не выпустит, пока их посланец не приведет Биньямина. Потом меняет решение и, щедро одарив, отпускает всех, кроме одного заложника. Получив Биньямина, он жадно расспрашивает об отце, плачет, тщательно скрывая слезы, сначала решает отправить всех домой, потом, когда Иегуда предлагает себя заложником, «не может более удерживаться», рыдает, открывается, снова меняет решение – не с миром отпустить, а переселить в богатый Египет всю семью. В течение этих дней он не

один раз спрашивает, жив ли отец. Если бы история воспринималась как миф, такой странный повтор нуждался бы в объяснении, но тут слишком часто Иосиф бывает нелогичным и странным.

После смерти Яакова – совсем уж неожиданно – братья снова начинают опасаться мести Иосифа. Они посылают посланца с просьбой простить. Иосиф снова плачет. Они идут к нему сами и падают в ноги. И тогда он прощает *второй раз*.

Это ставит в тупик: значит, прощения не было? Естественно, что сцена второго прощения опущена в Коране.

Чтобы разобраться в непоследовательностях и нелогичностях, мы должны понять, кто такой Иосиф.

## 5

Он – важный египетский вельможа, женатый на Асынат, дочери Потифара, жреца Она (Илиопольского жреца в православном Ветхом завете). К тому времени в Египте уже две тысячи лет существовало речное ирригационное земледелие, и это позволяло прокормить пленных, то есть обращать их в рабов вместо того, чтобы убивать. Развивались науки, искусства и ремесла. Многочисленные боги отлично ладили друг с другом – и собакоголовая обезьяна павиан, и птица ибис, и бык Апис, и гелиопольский бог солнца Ра, и мемфисский Птах, и Осирис... Был даже бог письменности Тот, бывший до этого простым богом луны и покровителем города Гермополя.

В условиях терпимости египетские боги, как животные и люди, претендовали на свои места в иерархической пирамиде. Бог солнца Ра даже сумел сделаться государственным и в качестве такового вынужден был исполнять обязанности, прежде ему несвойственные. Переименовавшись в Амона-Ра и экспроприировав некоторые качества побежденного Амона, он стал защищать робкого от гордого, слабого от сильного, сделался чувствительным не только к жертвоприношениям, но и слезным мольбам.

О том, что такое нравственность, это общество знало не хуже, чем сменившие его впоследствии цивилизации. Надгробную надпись египетского жреца Шеши относят к третьему тысячелетию до н. э., когда еще не существовало даже языка, на котором написана Тора.

*Я творил истину ради ее владыки,  
Я удовлетворял его тем, что он желает:  
Я говорил истину,  
Я поступал правильно,  
Я говорил хорошее и повторял хорошее.  
Я рассуждал сестру и двух братьев, дабы примирить их.  
Я спасал несчастного от более сильного...  
Я давал хлеб голодному, одеяние нагому.  
Я перевозил на своей лодке не имеющего ее.  
Я хоронил не имеющего сына своего...*

*Я сделал лодку не имеющему своей лодки,  
Я уважал отца моего, я был нежен к матери.  
Я воспитал детей их.*

Как мы видим, нравственные установки тут не ниже наших. Говорить о том, что священные книги иудаизма дали миру мораль, никак нельзя. Этой морали соответствовала и великая литература, так что примеры я мог бы умножить.

Однако доброта богов означала не только более высокий уровень гуманности, но и потерю энергии, ослабление сигнала. Общество все больше теряло связь, все заметнее торжествовали прагматизм одних и индифферентность других. Во времена Иосифа египтяне распевали застольную песню о том, что мудрость ничего не дает мудрецам, не надо думать о завтрашнем дне, с того света никто не вернулся, надо радоваться жизни, пока она есть, и предаваться тем утехам, которые отпускает судьба.

Каково было сыну дикого кочевника в этой атмосфере жутковатой для него нравственной свободы? Он был не готов к ней. Как, кстати сказать, и обреченный Египет, которому еще предстояло выработать в себе новую религию, новый источник объединяющей людей нравственной энергии и новый сигнал. Спустя едва ли не тысячелетие эта новая религия объединит народ и будет считать одним из своих пророков Юсуфа.

Иосиф уже не расстанется добровольно с египетской культурой. Она нелегко ему далась. Ее преимущества очевидны. Иосиф решал судьбы доведенных голодом до отчаяния, беззащитных перед ним людей. Надо думать, при этом он не знал жалости. Казалось бы, что за дело могущественному египтянину до диких, жестоких, коварных и голодных братьев. Сладкие воспоминания о счастливом детстве перевернули душу? Вспомнились рассветы в каменистой долине Шомрона, когда по росе гонят *черных и с крапинами* коз и овец на водопой? Запах козьего молока и сыра разбредил?

Что ж, в этом есть резон. Перед этими чувствами и современный человек бессилён. Из психологии мы знаем, что полученные в детстве установки не уничтожаются, а лишь затормаживаются. Знаем также, что образы, создающие наши чувства, экспансивны и притягивают к себе соседние впечатления, создавая сверхценные объекты. В душе Иосифа должны были столкнуться две цивилизации: египетская – периода заката Среднего царства и та, из которой он вышел.

В ней не было буколической идиллии – ее сочинили европейские литераторы два тысячелетия спустя. Нравственные нормы допускали вероломство. Когда Шимон вырезал весь город, протянувший ему руку дружбы, Якова возмутила лишь недалёковидность: «У меня людей мало... истреблен буду я и дом мой». Детство Иосифа не было *нежной порой*. Вспомните детские сны Иосифа. Недаром в роковой день предательства, когда Иосиф приближался к источнику в окрестностях Дотана и

братья издали увидели его, кто-то из них заметил с ненавистью и сарказмом:

– Вот идет наш сновидец.

Иосиф хвастал, что во сне его сноп встал прямо, а снопы братьев окружили его и поклонились ему. Как бы ни толковали сновидение сегодняшние психоаналитики, приверженцы сексуальной символики, надо сказать, вся семья восприняла сон как притязание на доминирование, и не важно, чье толкование вернее, важна реакция семьи, включая и самого Иосифа. Когда в другом сне ему приснилось, что ему поклоняются солнце, луна и одиннадцать – по числу братьев – звезд, сам отец был недоволен: солнце во сне – это он, Яков, притязания любимого сына зашли слишком далеко.

## 6

Эти сны нельзя недооценить. В Коране, чуждом психологизма, они – пророчества возвышения над другими, пророчества исполнились на службе у фараона, и Якуб там поклоняется сыну во исполнение детского пророчества.

В *БЕРЕШИТ* они в этом качестве не функционируют. Рассказчика интересуют духовные, а не иерархические победы. Сны объясняют ненависть мальчишек к Иосифу.

Исследователи примитивных племен XX века показывают, что патриархальные семья и племя были ритуальными иерархиями с жесткими рангами и с ревнивым отношением к месту в этой семейной иерархии. Маргарет Мид пишет: «Там, где людей приучили превыше всего в жизни ценить ранг, где высшей ценностью оказывается достижение какого-нибудь ранга, женщина может задушить своего ребенка собственными руками. Это делали некоторые женщины, принадлежавшие к обществу ареои на Таити, а также некоторые индианки племени натчез. Детоубийство могло повысить их социальное положение».

Так что мы можем понять ненависть братьев к Иосифу. Если уж мать может убить ребенка, то и брат может убить брата, когда тот утверждает свое превосходство, санкционированное вещим сном.

Но Иосиф понять преступление братьев не мог. Потому и не заживает душевная рана, потому и вызывает она к мести спустя много лет. Эти люди, у которых руки по локоть в крови целого племени, в воображении Иосифа терзаются лишь преступлением против него: брат не может пролить кровь брата, родная кровь – табу.

Что же помешало ему мстить, когда братья оказались в его руках? Обретенная в новой жизни терпимость египтянина?

Она сделала бы его мягче, он не стал бы мстить, но не стал бы и плакать. Видимо, просвещенный, терпимый к человеческим слабостям египтянин из него так и не получился.

Очевидно, все то же: родная кровь – табу. Нарушение табу карается не сверхъестественными силами, а живым человеком, отцом. Непреложно не само по себе табу, а нечто другое – власть отца, даже когда он немощен и живет нахлебником в твоём доме. Потому после смерти Якова братья снова стали опасаться Иосифа – исчезло сдерживающее начало. Авторитет отца – это и есть самое сильное табу, совесть братьев. Иосиф всегда будет одним из них, человеком, которому в детстве солнце во сне означало отца, а не бога Ра.

## 7

Мы видим, что Иосиф родом из патриархального племени, несущем черты первобытнообщинного строя. Богом этого племени был Бог Авраама. Можем ли что-нибудь сказать об этом Боге? До Моше, скрижалей, неопалимой купины, книги *ДВАРИМ* («Второзаконие») – еще целая эпоха.

О Боге Иосифа текст не говорит ничего. Когда у египтян Иосиф избегает прелюбодеяния с хозяйкой, логика его объяснения сильно хромает: хозяин мне доверился, я не могу согрешить перед Богом. А если бы хозяин не доверился, то можно было бы грешить? Разве речь идет о грехе неблагодарности? Такого греха и во Второзаконии не будет. Упоминание Бога похоже на формальную приписку. Все другие – простые свидетельства религиозного чувства.

Кроме первых глав, с патриархами не связанных, во всей книге *БЕРЕШИТ* мы не найдем ничего о религиозном мировоззрении, о морально-этической религиозной системе «Бога Авраама», похожего на племенных богов других племен. Зато в этих первых главах содержится все мировоззрение иудаизма и, шире, – монотеизма. В них и картина сотворения мира, и нравственная система. Нас интересует последнее. В ней заметны две сущностные особенности.

Первая – это понятие греха.

Сегодня мы достаточно знаем о связи иудейских текстов с литературными источниками более древних культур. У шумеров есть описание потопа, в котором спасся Зиусудра. Другое описание есть и в вавилонской литературе. Там спасся Утнапиштим. В заимствованиях и обнаруживается то новое, что принесла *БЕРЕШИТ*: язычники объясняли потоп игрой и битвами богов, в иудейском тексте он – кара за грехи.

Грех – это не преступление, а нечто иное. Определить это понятие трудно. У греков, к примеру, его не было. Эдип, убив отца, и Электра, убив мать, совершают преступления, и это понятно. Одиссей, изменяя любимой жене с богиней Калипсо, преступления не совершает, они «насладились любовью» без всяких угрызений совести – и это тоже понятно. Воины Аргоса труслили, не кинулись в бой – за это их можно стыдить, можно взывать к их чувству чести, но никому из сонма богов не захочется карать их за это.



Когда богов много, они соперничают, воюют друг с другом, исход их борьбы непредсказуем. Перед игрой богов человек бессилен. Эдип знает, что ему предопределено нарушить божественное установление, он пытается предотвратить беду, не совершить преступления, но ничто ему не поможет, он обречен. Он не может обвинять себя, терзаться муками совести – несчастье, которые обрушилось на него, не зависит от его поступков, воли, разума и добродетелей. Так же Электра, убив преступную мать (Еврипид, «Электра»), сознает, что совершила преступление, это сознание ужасает ее, но при этом она знает, что иначе поступить не могла, такова судьба, и нужно стойко выдержать неотвратимое возмездие за свое преступление. Это рок, а не грех.

Понятие греха – следствие единобожия. Когда Бог наказывает человека, единственное объяснение: мы прогневали Творца. Но ведь это Бог создал нас такими, ведь без его волеизъявления и волос с головы не падает, в чем же вина? Ответ один: грех – это испытание, которое Бог назначил, а человек не выдержал. Есть рок, но есть и грех – ответственность и свободный выбор человека. Для того и посланы испытания.

Следствием этого является необходимость нравственного самосовершенствования.

Вторая сущностная особенность нравственной системы иудеев – чувство коллективной ответственности. Грех Адама и Евы в Эдеме падает на тех, кто еще не родился, на их потомство, на род. Потомки Каина отвечают за своего предка. Греховность Содома и Гоморры обрекает на смерть невинных. Кара всемирного потопа обрушилась на всех, в том числе на грудных детей. Спасся лишь праведник Ной. В ковчеге Ноя, кроме его семьи, поместились звери всякого рода и всех видов.

Но какие грехи были у погибших младенцев? Почему у Ноя и зверей не было этих грехов?

Грех был у народа в целом, заключался он в нарушении соглашения народа с Богом, и отвечать за это должен был народ.

Так будет продолжаться и у пророков:

«Слушайте, вы, главы Яакова и правители дома Израилева! Вам ли не знать в чем истина? А вы ненавидите добро и любите зло, сдираете кожу и мясо с костей...» «Иерусалим делается грудой развалин...»

Невинные страдают за виновных.

Это не казалось нелогичным. Сегодняшний человек может задать вопрос: какой же для меня смысл быть праведником, если за грехи тех, кто сдирает с меня шкуру, я отвечу перед Богом вместе с ними? Потомки Авраама такой вопрос задать не могли.

Они знали, что все повязаны друг с другом. Это знание не является их исключительной привилегией: этнографы, исследуя первобытные племена Северной Америки, Британской Колумбии и Лаоса, отмечали это чувство родовой связи, когда охотники объясняли свои неудачи на охоте поведением оставшейся дома

жены или старика. Леви-Брюль обозначил это чувство как «participation mistigüe» (мистическое соучастие).

Патриархальная семья Яакова гораздо ближе находилась к первобытнообщинной жизни, чем племена высококультурного Египта. Эта цивилизация и столкнулась с египетской в душе сына Яакова, египетского вельможи.

Возможно, он и забыл о ней, принадлежа новому миру. И вот увидел перед собой немолодых братьев, которые его уже не узнали. Иосиф испытал мощный взрыв чувств. Он плакал, обретая в возвращении к вере отца убежище от ужаса нравственной дезориентации. Он благодарил Бога Яакова за то, что жизнь сложилась так, как сложилась, и поэтому он может помочь племени.

Одна часть души жаждала мести, другая не позволяла пролить родную кровь. Если бы кровь пролилась, это, как мы понимаем, по тем временам не было бы преступлением, влекущим за собой наказание преступника. Но это был бы грех. Слезы Иосифа – это отмена мести. Энергия борьбы обращается вовнутрь, разрывает душу – это и есть муки совести, борьба не с другими, а с собой.

Совесть становится главной духовной ценностью.

В последующие тысячелетия люди не раз будут мучительно ощущать свою раздвоенность и проклинать ее, не отдавая себе отчета в том, что единственная альтернатива борьбы с собой – это борьба с другими.

## 8

Там, где племена объединялись, сохраняя своих богов, возникала терпимость к чужим богам. Это не было современной веротерпимостью. Язычники просто-напросто верили во всех богов в равной мере. Одни боги были сильнее и «главнее», другие – слабее, ниже рангом, только и всего.

Терпимость была благом, нравы смягчались, противоречия между богами заставляли человека полагаться на самого себя, на свой разум. Это стимулировало и возникновение умозрительных систем. Так возникла, скажем, греческая философия. По крайней мере, так ее существование объяснял Платон.

Но при этом слабела жесткая хватка совести, терялся ее авторитет, разрушалась связь людей, и мощные экономически, сильные в военном отношении древние государства разрушались от собственных размеров, как Вавилонский столп, рухнувший по той же причине – от смешения «языков», то есть племен. Античность терпела полный крах дважды. Исчезли Великие Афины, потом исчез Вечный Рим.

История иудаизма не знала таких крахов. Когда разрушался храм, исчезало государство и народ лишался земли, идеал – нравственное чувство и моральные постулаты – оставался. Это обеспечивалось не формулировками Второзакония, а Книгой Бытия, *БЕРЕШИТ*: если Бог один, альтернативы не существует.

## 9

Слова «новое язычество» сегодня у всех на слуху. От осознанной воли отдельного человека зависит лишь его место в общественной иерархии – да и то в очень малой степени. Человек снова, как во времена древних греков, смиряется перед незримой «игрой богов» – действием слепых сил. Пусть в роли богов выступают законы природы и общества, формулы биохимии и политэкономии, беспомощность человека перед этой силой остается языческой. Рок снова тяготеет над нами, и если мы совершаем преступление, то так же, как Эдип у Еврипида, страдаем от слепого рока, но не знаем угрызений совести.

Язычество – это состояние души. Незримые законы природы для верующего иудея, христианина или мусульманина выражают незримого Бога, язычнику же свойственно стремление сделать их одушевленными, языческое сознание самопроизвольно рождает кумиров. Таким образом, незримые закономерности общественного развития превращаются в одушевленные существа – в политических и общественных божков, а если общественный потенциал низок и не создает нужного напряжения, не обладает, как теперь говорят, достаточной энергетикой, к услугам язычника всегда есть кумиры эстрады, спорта или телевизионных шоу. Там энергетика бывает ошеломительной, на эстрадных концертах фанаты впадают в транс, как первобытные люди в ритуальных плясках перед тотемом.

Это язычество. Оно быстро развивается. К чему оно приведет, мы не знаем. Может быть, уже идет процесс его преодоления, может быть, уже родился новый Иосиф...

*БЕРЕШИТ* все еще остается бестселлером. На ее страницах возникает образ старца, достигшего благополучия и почета. Старец рассказывает историю своей жизни, историю отца, деда и прадеда. Он вспоминает, и заново открывается так и не зажившая детская рана – никакие дальнейшие успехи и победы не смогли помочь ему справиться с ней. Волею судьбы в языческом смысле, или волею провидения в смысле иудеохристианско-мусульманском, или волею обстоятельств, как мы говорим, этот человек сумел выразить дух, просуществовавший три тысячи лет. Если не сегодня, то завтра это перестанет иметь значение – на время или навсегда. Останется образ старика, много испытывавшего, пришедшего к мудрости и не все открывшего нам.

# *Пинхас Полонский*

## *ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ<sup>1</sup>*

*Комментарий к Торе. Недельный раздел ВАЕШЕВ<sup>2</sup>*

### **1. ПОЧЕМУ ИОСИФ НЕ СООБЩИЛ О СЕБЕ ОTCY?**

История про Иосифа и его братьев является одной из самых известных историй Торы – и в то же время одной из самых непонятных. Проданный братьями в рабство, Иосиф, благодаря Божественной поддержке и своему умению разгадывать сны, становится «вторым после Фараона» и за семь лет урожая собирает несметные запасы зерна. Когда начинаются «года голода» и братья приходят в Египет купить хлеба, Иосиф не открывается им; он обвиняет их в шпионаже; он продает им зерно, но полученные у них деньги подкладывает в их мешки; он требует привести к нему Биньямина, подбрасывает ему в сумку драгоценный кубок и арестовывает его. Зачем Иосиф делает все это?

Какое значение имеют при этом сны молодости: про снопы братьев, склоняющиеся перед его снопом, или про поклонение ему солнца, луны и одиннадцати звезд, – которые он вспоминает? Почему за семь лет владычества над Египтом Иосиф не сообщил о себе отцу?

### **2. ПОДХОД ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ**

Европейские исследователи, не знающие еврейской культуры и еврейской системы ценностей, склонны объяснять действия Иосифа понятными для них мотивами: желанием отомстить

---

<sup>1</sup> Текст комментария предоставлен Еврейским культурно-религиозным центром «МАХАНАИМ». Эта организация возникла в Москве в 1980 году как подпольное объединение преподавателей иврита и Торы. Её участники, в большинстве своем выпускники физико-математических школ и естественных факультетов ВУЗов, были в это время отказниками. В 1980 – 1987 годах активисты «МАХАНАИМ» вели в Москве кружки по изучению еврейской культуры, печатали в самиздате книги и учебные пособия по ивриту, сионизму и иудаизму, организовывали еврейские праздники. В 1987 – 1990 годах они получили разрешение на выезд. С тех пор «МАХАНАИМ» действует как в СНГ, так и в Израиле, «переводя» идеи еврейской традиции на язык понятий, близких современной русскоязычной еврейской интеллигенции. Материалы, подготовленные преподавателями «МАХАНАИМ», можно прочитать на интернетовском сайте по адресу: [www.machanaim.org.il](http://www.machanaim.org.il)

<sup>2</sup> Ваешев (иврит) – и поселился [Яков в стране пребывания отца своего].

братьям, или проучить их, или осуществить свои сны о власти над ними. Все эти объяснения вызваны подсознательным стремлением поставить библейских героев чуть ниже собственного уровня, нежеланием принять истории Торы как урок.

### 3. КОНЦЕПЦИЯ РАСКАЯНИЯ

Поведение Иосифа можно понять только в рамках еврейской концепции *«тшува»* – «возвращения к Создателю», «раскаяния». Маймонид выделяет четыре уровня в процессе исправления греха: первый – признание своей неправоты; второй – чувства вины и раскаяния; третий – исправление последствий; и четвертый – самый серьезный – попав снова в подобную ситуацию, больше так не поступить.

### 4. ПРИЧИНЫ ПОВЕДЕНИЯ ИОСИФА

Если бы Иосиф сразу открылся своим братьям, то он получил бы полную власть над ними, но навсегда потерял бы возможность привести их к исправлению греха, который они совершили, продав его. Целью всех действий Иосифа было очистить братьев, чтобы они все вместе могли стать родоначальниками еврейского народа. Именно поэтому Иосиф должен был разыграть спектакль, хотя ему было тяжело это сделать: «И Иосиф хотел плакать, и вышел он в другую комнату, и плакал там, и умыл лицо свое, и скрепился» (*БЕРЕШИТ* 43:30) – и вышел к братьям и продолжил игру.

Иосиф последовательно ставит братьев в ситуации, когда они вспоминают о своем грехе, и признают неправильность своих действий, и переживают из-за содеянного, и готовы обойти Египет в поисках «пропавшего брата [Иосифа]». Но настоящее раскаяние – это не повторить свой грех, если вновь попадешь в ситуацию, подобную первоначальной. И поэтому Иосиф вызывает Биньямина, который, как и он сам, тоже сын Рахели, любимой жены Яакова; сажает его за отдельный стол и угощает лучшей едой, чтобы по возможности вызвать зависть, а потом подкладывает ему кубок в суму, чтобы Биньямин выглядел в глазах братьев вором, не думающим об общей опасности. И то, что братья даже в такой ситуации не согласились бросить Биньямина и проявили готовность пожертвовать собой ради него, и было тем действием, которое очистило их от греха продажи Иосифа.

### 5. СМЫСЛ СНОВ

А сны молодости были для Иосифа намеком от Бога на тот путь, который ему стоило избрать для достижения его цели.

*Дмитрий Тольштин*

*ПЕРЕЛОЖЕНИЯ ИЗ КНИГИ «КОЗЛЕТ»*

\* \* \*

Сказал Козлет: суета сует,  
Всё суета, всё в мире быстротечно.  
За родом род является вослед;  
Уходит – а земля пребудет вечно.

Поднимется светило и во тьму  
Сойдёт опять, свершив дневное бденье,  
И устремится к месту своему,  
Откуда начинается восхождение.

Летит, кружится ветер и опять  
Идёт на юг и к северу несётся,  
И снова поворачивает вспять,  
И ветер на круги свои вернётся.

Текут, струятся в море воды рек,  
Но море не преполнится, а реки  
Туда же направляют свой разбег,  
Чтоб течь опять. И будет так вовеки.

Что было – то опять произойдёт.  
Всё будет вновь – деяние и слово.  
Нет нового. Один круговорот.  
Под солнцем ничего уже не ново.

Нет памяти ушедшим, и о тех,  
Что завтра жить не памятуя будут,  
Потомки, повторяя этот грех,  
Когда-нибудь вот так же позабудут.

\* \* \*

Я царствовал в Израиле, была  
Мне воля – через мудрость вековую –  
Познать пути земные и дела,  
Осмыслить и постичь судьбу людскую.

Всё испытал и сердцем и умом,  
Я горьким опечалился ответом:  
Суров удел, ниспосланный Творцом  
Своим рабам, дабы томились в этом.

И нет числа усилиям людским,  
И только ветра тщетное ловленье.  
Кривое не становится прямым,  
А мнимое не знает исчисления.

И вот я молвил сердцу своему  
В волнении и сладостной надежде:  
Нет равных мне по славе и уму  
Средь нынешних и тех, что были прежде.

Я царствовал и в царстве был любим,  
Являя мудрость речью и на деле.  
Не знал мне равных Иерусалим  
Средь восходивших на престол доселе.

Мой дух обрёл в тиши дворцовых стен  
Немало знаний, мудрости и света.  
Я говорю отныне, что и это –  
Лишь суета, томление и тлен.

Несли мне скорбь познания, и едва ль  
Мне горечи убавила наука.  
От многих знаний – многая печаль,  
Большая мудрость – тягостная мука.

\* \* \*

Я предавался множеству утех,  
Вкусил блаженство радостно и шумно.  
Но понял сердцем, что безумен смех,  
И говорю: веселие – безумно.

Я видел угнетение благих,  
Мощь подлых, муки сломленных в гордыне,  
И славил мёртвых больше, чем живых,  
Живых людей, что здравствуют поныне.

Воистину, чудесен вечный сон, –  
Не знают скорби те, кто смежил веки.  
Ещё счастливей тот, кто не рождён  
И не узрит творимого вовеки.

И видел я вокруг, что всякий труд  
И всякое людское устремленье  
От зависти единственно идут;  
Всё это – ветра тщетное ловленье.

И я возненавидел труд земной, –  
Ведь в час моей кончины, не по праву,  
Богатство, власть, величие и славу –  
Всё обретёт идущий вслед за мной.

И как мне знать, почившему, что он  
Мои дела забвению не предал,  
Всем овладев, свершая свой закон.

И я сполна отчаянья изведаль.

\* \* \*

Кто дышит – тот не властен над судьбой,  
Кто умер – ни над чем уже не властен.  
Льва падшего блаженней пёс живой:  
Тот мёртв, а этот – жизни сопричастен.

Кто жив ещё – тот знает, что умрёт,  
А мёртвому неведомо и это.  
И нет ни воздаяний, ни забот,  
Ни памяти ушедшему со света.

Ничто не тронет спящих мёртвым сном, –  
Исчезло всё: их радости и боли.  
И нет им счастья более ни в чём,  
И горя нет, и нет под солнцем доли.

\* \* \*

Не лёгкому даётся быстрый бег,  
И в битве побеждает не могучий,  
Не мудрому богатство и успех,  
Но каждому на свете – срок и случай.

И смертным не дано предусмотреть  
Ни времени, ни места рокового, –  
Заходит рыба в пагубную сеть,  
И бьётся дичь в силках у птицелова.

Вот мудрость – та, что сказывали встарь:  
Был город – мал и тих. Но к стенам града  
Войною подступил великий царь,  
И долго шла жестокая осада.

Тот город спас мудрец-простолюдин  
И этим мог прославиться навеки.  
Но беден был. И после – ни один  
Не вспоминал об этом человеке.

Размеренные речи мудреца  
Слышней, чем грубый окрик властелина.  
И мудрость лучше царского венца,  
А здравый ум всегда дороже чина.



\* \* \*

Кто роет яму – тот в неё падёт,  
Кто движет камни – скорчится с насаду,  
Плывущий в лодке – сгинет в бездне вод,  
Ужалит змей взломавшего ограду.

А если притупился твой топор,  
То и тростник покажется железным.  
Не всё решает сила и напор, –  
Лишь мудрый труд становится полезным.

Не прошипев, не жалит даже змей,  
А жало – злоязычного не хуже.  
Речь мудрого – божественный елей,  
Слова глупца – лишь пагуба ему же.

Глупец ведёт ненужный разговор,  
Задуматься на миг не удосужась.  
Начало слов – бессмыслица и вздор,  
Конец речей – безумие и ужас.

Дом протечёт, попортится добро, –  
Лишь только лень свои расставит сети.  
Пир – для веселья, ну а серебро,  
Как водится, всегда за всё в ответе.

Ни в мыслях, ни в обители своей  
Не молви о властителе худого,  
Не проклинай вельмож и богачей, –  
Быть может, птица звук твоих речей  
Перенесёт и перескажет слово.

\* \* \*

Пусти свой хлеб по водам и пойми,  
Что в трудный день найдёшь себе подмогу.  
Дай часть зерна – семи или восьми.  
Что будет завтра – ведомо лишь Богу.

Где рухнет дерево – там ему лежать,  
Дожди прольют, когда настанет время.  
Но кто боится туч – тому не жать,  
Кто ждёт ветров – тот не посадит семя.

Зачем ветра кружатся без конца?  
Откуда кости в материнском чреве?  
Непостижимы замыслы Творца  
В Его благоволении и гневe.

Ходи путями сердца своего  
И по тебе лишь ведомым дорогам.  
Но помни, что за все до одного  
Дела свои ответишь перед Богом.

А чтоб душа твоя была чиста –  
От грешной плоти отводи худое,  
Поскольку детство – это суета,  
А юность – лишь томление пустое.

И помни о Создателе своём  
До самого до горестного срока,  
Доколе, провожая день за днём,  
Ты сам не молвишь: «Нет от жизни прока».  
Доколе не померк небесный свет  
И не иссякли дни благополучий.

...Наступит день безрадостных примет.  
Вослед дождю опять вернутся тучи.  
И в ножнах станут ржавыми ножи,  
Червь сгубит плод, а гниль разъест волокна,  
И дрогнут сердцем сильные мужи,  
И помрачатся те, что смотрят в окна.

Запрутся двери, встанут жернова,  
Умолкнут сладкогласые певичы,  
Покинут птицы с криком дерева,  
И пробудится всяк по крику птицы.

И люди убоятся высоты,  
Беды в дороге, а в воде – отравы.  
Миндаль рассыплет мёртвые цветы,  
Замрёт кузнецик, и полягут травы.

Затем, что день настал, а срок истек.  
То – день скорбей и срок земных страданий.  
В дом вечности уходит человек,  
И плакальщики стонут на майдане.

Придут ветра, светила скроет мрак,  
Падёт и треснет чаша у колодца,  
А колесо покатится в овраг,  
И ржавая цепочка оборвётся.

Дух возвратится к Богу. Человек  
Судьбу всего живущего разделит,  
И прахом ляжет в землю. И вовек  
Всё суета сует, – сказал Коэлет.

## Наум Басовский

### ПО ХОДУ МЫСЛЕЙ...

Поэтические переложения библейских текстов существуют в русской поэзии практически столько же времени, сколько существует сама письменная русская поэзия. По крайности, известно, что утверждение в ней силлабо-тонической стихотворной системы берёт начало с дискуссии Тредиаковского, Сумарокова и Ломоносова по поводу поэтического переложения 143-го псалма. И столько же времени не утихают споры о том, *как* перелажать священные тексты, *кто* имеет право заниматься такими переложениями и – прежде всего – *нужно ли* вообще это делать.

На стороне противников переложений очень серьёзный аргумент: Библия есть Слово Божье, обращённое к людям; в нём имеет значение каждое слово и каждый знак, а любое авторское переложение страдает как купюрами, так и добавлениями от себя, не говоря уж об индивидуальных толкованиях сложных мест. Ещё в Вавилонском Талмуде<sup>1</sup> Рабби Иегуда говорит: «*Тот, кто переводит стих дословно, – лжёт; тот, кто добавляет, – кощунствует*». То есть нужно, мол, читать Библию и её комментаторов-мудрецов; этого достаточно.

Но ведь даже не все люди, хорошо владеющие ивритом, могут поручиться, что понимают в библейских текстах всё. Не зря же существуют толковые словари танахического иврита. Что тогда говорить о тех, кто знает иврит недостаточно или вовсе его не знает? К тому же, человек, не читающий на иврите, не может оценить *звучание* текстов Библии: никакой самый точный перевод по определению не даёт такой возможности. А ведь звук – один из самых важных факторов, когда мы говорим о поэзии.

Мне представляется, что именно этими соображениями объясняются многочисленные и непрекращающиеся попытки стихотворных переложений текстов ТАНАХа. Известно, например, что Анна Ахматова и Иосиф Бродский очень серьёзно обсуждали идею переложения стихами всего корпуса текстов Библии и обдумывали, кого из поэтов их круга привлечь к осуществлению этого проекта<sup>2</sup>. Конечно, даже самый великолепный русский стих не сможет передать адекватно звуковую палитру ивритского первоисточника. Но ритмика поэтического произведения, рифменные его переклички способны вызвать у читателя и слушателя *эмоциональное состояние*, подобное тому, которое возникает у читателя и слушателя, знающего иврит. Тут уж дело за мастерством, опытом и вкусом исполнителя... (Впрочем, надеюсь, что в

---

<sup>1</sup> *Тосефта* к трактату *Мегилла*.

<sup>2</sup> См. книгу Соломона Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским», М., 1998.

недалеком будущем редакция «ИЖ» позволит и мне, и другим авторам высказаться по затронутым проблемам более развёрнуто.)

*Козлет, или Экклезиаст (Екклесиаст)* – один из самых известных и часто цитируемых текстов Библии, – настолько часто цитируемых, что не всегда люди, употребляющие афоризмы из него, знают об их библейском происхождении. Попытки переложить *Козлет* регулярным стихом делались многократно. Назову только последние по времени публикации: Михаила Короля (эстонский двуязычный журнал «Радуга», № 6, 1988) и Германа Плисецкого («Литературная газета», 1990); укажу также на свою работу, опубликованную в журнале «22» (№ 109, 1998) и напечатанную затем в качестве приложения к газете «Новости недели».

В этом номере «ИЖ» вниманию читателя предлагается новое переложение *Козлета*, выполненное Дмитрием Гольдштейном. В отличие от трёх вышеназванных авторов, занимающихся поэзией профессионально, сам Дмитрий стихов, насколько мне известно, не пишет. Можно предположить, что его на этот труд подвигло сильнейшее эмоциональное впечатление от знакомства с первоисточником: опираюсь в своём предположении на собственный опыт пятнадцатилетней давности.

Не всё в переложении удалось автору; всё-таки для такого дела требуется, мне кажется, кроме сильного желания и душевного подъёма, ещё и определённая тренированность *поэтической мускулатуры* (я воспользовался термином Давида Самойлова). Достаточно много недотянутых строк и строф, не всё благополучно и с лексикой.

Например, выражение «Всё суeta и ловля ветра» знакомо даже тем, кто никогда не читал Экклезиаста. Оно уже как бы «вошло» в собственно русский язык. Дмитрий вместо слова «ловля» несколько раз пишет: *ловленьe*. Не уверен, что это оправданно.

Главная же моя претензия к тексту Д. Гольдштейна (как и к упомянутым выше текстам М. Короля и Г. Плисецкого) – это ритмическое однообразие. *Козлет* – очень многоплановое и очень контрастное произведение с яркой образностью и разнообразием внутренних сюжетов. Переложать всё богатство его красок одним-единственным стихотворным размером, пятистопным ямбом – значит сильно обеднить его эмоциональную, да и содержательную структуру.

Тем не менее, я рекомендовал напечатать работу Д. Гольдштейна. Ход моих мыслей таков. Во-первых, у Дмитрия действительно есть очень удачные строфы, в которых хорошо понята мысль первоисточника выражена в чёткой поэтической форме. А во-вторых, опыт автора, мне кажется, интересен тем, что показывает один из путей реального процесса вхождения русскоязычных литераторов в сокровищницу многовековой еврейской культуры. Чем глубже и разнообразнее будет такое вхождение, тем больше вероятность появления собственных произведений, достойных этой сокровищницы.

*Дмитрий Бобышев*  
*КРАСКИ ВРЕМЕНИ*

## ОДА ВОЗДУХОПЛАВАНИЮ

Когда огромный вздох слетает сверху,  
тот звук не застаёт меня врасплох, —  
душе уже не жаль за жизнь-помеху...  
Но то — не ангел дышит, и не Бог.

1.

То — над листвою орехов и платанов,  
поверх читален, спален-дормитор,  
и яр, и сюр, голубизну глотая,  
плывёт — на четверть неба помидор.

С куста ль сорвался, вдув охапкой воздух,  
пузатый — так, что даже слышен хруст,  
и хвост зелёный не забыв по сходству  
с пунцовым овощем? Каков же куст?

Таков и плод! Под выхлопы пропана  
заставил запрокинуться наверх:  
пусть не сердца — глаза, — а не пропала  
попытка оребячить вся и всех.

Не надо ни рубить, ни мять в турбине,  
ни скорости крылить и оперять —  
громадно и прозрачно беребимый,  
лети, лети, пузырь и аппарат.

Суть — сбоку, где написано: «Garsia».  
Реклама! Но возьми себе на ум:  
коммерция — рискована и красива,  
и сам парит в корзине толстосум.

На то и помидор, что это — пицца  
с томатной пастой, сыром, колбасой  
мечтает с кошельком совокупиться,  
рты опалив счастливицам — собой.

Пожар земных страстей залить бы пивом  
прохладным, и, воздушное, не ты ль  
неспешно приближаешься?

2.

Нет, с пылу  
не ту я ждал гигантскую бутыль:

Бурбона «Дни былые» мы не станем  
ни пробовать, как ни заманчив он,  
ни воспевать, поскольку смыслом тайным  
(всё тем же!) слишком густо напоён.

Что было в дни былые – подвиг, дерзость,  
а после стало прахом, – вдруг и враз  
вплывает ярким яблоком из детства...  
Но только – как пародия и фарс.

3.

Как это облачко, что с небосклону  
не слазит; брюхом пучится из брюк,  
вздувается... И вдруг – печальный клоун:  
слеза под глазом, красный нос разбрюк.

Коко, да это ты ли, плут? Откуда –  
цирк погорел! – каких помоек из?  
Обидели фагота-баламута,  
и вот летит, пофукивая, вниз.

4.

Но, если звук фанфарный выдуть зримым,  
то здесь он – оком по небу пошарь,  
и – куполом сверкнёт в глаза разиням  
тугой, продолговатый книзу шар.

И цвет его – слепой во тьме увидит!

5.

А вот – веретеном раздутый гол,  
забитый Голиафу в лоб Давидом.  
Оранжевым по синему: футбол.

6.

А этот – без примет, и – в чёрном, некто,  
не призрак ли? Его уже, боюсь,  
в потёмках у секретного объекта  
однажды застрелила Беларусь.

Теперь он здесь! А щелкну объективом:  
проявится ль? И если он исчез,  
то, значит, был-не был, но стал фиктивен:  
одно из неопознанных существ,  
подмога нашим «Ангелам и Силам»!

7.

Да всё тут – сверхъестественная явь:  
и даже возбуждённо вздетый символ, –  
летит сосиска, в булочке застряв.

Народен этот образ и эпичен.  
О чём он мыслит, по небу ходок?  
О пиве, спорте, сексе и о пище, –  
все воплощает радости *hot dog*!

8.

Все слуги королевские подмогой  
упавшему, но – кверху! – со стены;  
взлетая, перевёрнут гоголь-моголь,  
и только пятки в воздухе видны.

9 – 96.

О, нет, не только! Формы, краски, пятна:  
то в арлекинных ромбах, то в спираль  
закрученно, то веером – обратно,  
то, заглянув с павлиньего пера,

до дна души в тебя проникнет око...  
И ты смотреть умей зеницей птиц:  
глядишь на окоём легко-высоко.  
и тяжести земные никнут ниц.

97 – 102.

Фазан-петух летит, горя, как феникс.  
Орёл, паря, становится горой,  
в чьей глубине просвечивает оникс.  
Не странно ли над прерией порой?

– Не страшно ли, наездник аппарата?  
Ему (иль – ей!) нужна не только прыть:  
спуститься, марку сбросить в цель куда-то.  
найти струю и снова воспарить.

Летят планеты, инопланетяне...

103.

Кто – эта? В ней всё ладно, всё с руки.  
Туда зачем-то сердце так и тянет...  
На выпуклых морях – материки:

Америки фигуристые стати,  
Австралия-коала смотрит врозь,  
Европы виноградный лист (а, кстати,  
и Африки с неё свисает гроздь).

Левиафаном – Азия с Ионой,  
бурчащим в животе её... Маня,  
спускается, но лишь на миг, и – вон он,  
уносит чей-то вопль: – Возьми меня!

*сентябрь 1998, Шампэйн, Иллинойс*

## ВТОРАЯ КРОВЬ

*Давиду Шраеру-Петрову*

Герой – он обязательством повязан  
уйти последним, выключив сюжет.  
– А если автор сам: кувырк, и вася,  
поскольку это все,  
и ваших-наших нет?

Но именно раз это «всё», то слово  
вдох задержав, заходит вдохлый текст,  
чтоб из него достать тебя, живого, –  
Давид, я верую,  
что ты-то не из тех,

не из... Вот и не порть пера неправдой:  
да, племя единит, но с низом низ.  
По мне же свет не делится Непрядвой,  
и не ласкает слух  
(отнюдь!) панславянизм.

Славяне тоже каинову школу  
прошли. Уже на роштите ягня  
и лигней не едят. Копытят колу  
в руках с пускателями  
грязного огня.

Прав ли босняк? Он славу шлёт Аллаху  
словами, что Христу – хорват ли, серб.  
Рече: – Безбожен, ибо убияху...  
Неправы все.

В небратстве всяк жестокосерд



Возможно, это глупость, но послушай:

– По жилам речь течёт, вторая кровь.

Чтоб Слово-океан омыло сушу,

маринину строфу возьми

и сердце вскрой.

И хлынет враз: пароль, ответ и выстрел.

Жизнь – миг и век, и свет, и мрак, и: «Стой,

погибнешь!» И –

свой ли, не свой, а выстой,

кто б ни был ты, в словесности святой.

*сентябрь 1993, Шампэйн, Иллинойс*

## ПРЕЖДЕ ВСЕХ ВЕК

*Роману и Сусанне Тименчикам*

В конце столетий будущее тоще,

скелета нашего тощей...

Откуда же теперь взялась такая толща?

Она – от трёх волхвов-нулей.

Она от нового тысячелетья,

совсем не удлинняя жизнь,

громаду времени куском даёт на-третье:

– Держи, бедняк, и сам держись!

Возможно, в нём и гривенник на счастье

найдёшь в бумажке вощаной...

Достанется ль теперь удача? Хотя не часто,

бывал счастливый выбор – мой.

Казалось бы: теперь что я – фортуне?

Настигла, как благой удар...

Прохладно-тающе вдруг сделалось во рту мне

от праведных «где» и «когда».

В двухтысячный сочельник в Вифлееме

среди местных пастухов не я ль,

Младенца мыслями, как яслями, лелея,

перед вертепом постоял?

Какая толщ открылась в этот вечер, –

хоть в питу запихай, на хлеб намажь:

не время тощее – питательную вечность...

– Так ешьте этот мир – он ваш.

*Июль 2000, Иерусалим – Шампэйн, Иллинойс*

## ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

Начинается тысячелетие жёлтым  
лучом за облаком полуседым.  
Гривны, стало быть, уступают злотым,  
а секунды серебряные – золотым.

Наконец-то за ускользающим Завтра  
погоня закончена. Оно – сейчас:  
жёлтое в этой застёжке рюкзачной,  
козырьке, куртке, разрезе глаз.

Манго-банановая Пальмира,  
зеленеющая в голубизне!  
Её, раскинувшуюся на полмира,  
мыслимо ли разглядеть извне?

Средь окаменелых комьев былого  
настоящее билось в углу, как мышь.  
Нулями-линзами теперь избалован,  
в будущее глаз углубляешь и зришь

до оранжевой сердцевины,  
откуда розово истекает родник...  
Видимо, кровушку, как они ни цивилизны,  
будут пускать и при них.

Уже и при этих вот, ярколицых.  
Кто она – афреянка? Он – америяп?  
Невероятные, – что ни случится,  
выстоят, – каждый в костях не слаб.

Наше дело – помахать им ладонью:  
– Вот вода и воздух, – мол, садись, володей  
– Здравствуй, незнакомое, молодое  
племя, похожее на людей.

*апрель 2000, Шампэйн, Иллинойс*

*Алекс Резников*

## *РЕЗЦОМ И СЛОВОМ*

### УЛИЦА СВЕТА<sup>1</sup>

Какая-то связность в истории все-таки происходит. Особенно здесь. Недавно редакция «Иерусалимского журнала» поселилась под крылом иерусалимской же Русской библиотеки в симпатичном особняке по улице *А-ОР*<sup>2</sup>, названной в честь газеты, которую в начале XX века издавал пионер возрождения разговорного иврита Элизер Бен-Иегуда.

Периодические издания на иврите начали выходить в Иерусалиме в 1863 году. Первой стала газета миснагедского<sup>3</sup> направления «*А-ЛЕВАНОН*», а через месяц после нее появилась хасидская «*А-ХАВАЦЕЛЕТ*»<sup>4</sup>. Однако уже спустя два года оба издания были закрыты оттоманскими властями. «*А-ЛЕВАНОН*» стала выходить в Париже, а «*А-ХАВАЦЕЛЕТ*» возобновила свой выпуск в 1870-м.

Уже тот факт, что газеты освещали местные и зарубежные (особенно – из жизни еврейской диаспоры) новости, означал новую веху в становлении живого иврита. Редактор хасидского издания Исраэль Дов Фрумкин ратовал за обучение ивриту, ремеслам и общим предметам, за создание еврейских сельскохозяйственных поселений в Эрец-Исраэль. Ту же позицию занимали появившиеся позже газеты «*АРИЗЛЬ*»<sup>5</sup> (1874) и «*ШААРЕЙ ЦИОН*»<sup>6</sup> (1877; выходила раз в две недели).

В 1880 Бен-Иегуда опубликовал в «*А-ХАВАЦЕЛЕТ*» две статьи с призывом ввести иврит в качестве основного языка обучения в систему еврейского школьного образования, после чего и получил в Париже от Фрумкина должность иерусалимского корреспондента газеты. В 1881-м, вместе с молодой женой Дворой, он прибыл в Иерусалим с паспортом на вымышленное имя Эльянов. Поначалу Бен-Иегуда отрастил бороду и пейсы, надеясь, что местные ортодоксы, соблюдавшие традицию по

---

**О названиях наших рубрик смотри также редакционную заметку «Журнал и город» и «Заметки празднующающегося» Алекса Резникова («ИЖ» № 4).**

<sup>1</sup> За помощь в подготовке этого материала к публикации редколлегия журнала и автор благодарят Зою Копельман.

<sup>2</sup> Слово *ор* в переводе с иврита означает «свет».

<sup>3</sup> От идишского слова *миснагдим* (на иврите *митнагдим*) – буквально «оппоненты», противники хасидизма.

<sup>4</sup> *Хавацелет* в переводе с иврита – «лилия».

<sup>5</sup> Одно из традиционных названий Иерусалима.

<sup>6</sup> *Шаарей Цион* в переводе с иврита – «Врата Сиона».

субботам говорить на иврите, помогут ему в деле возрождения языка, но довольно скоро убедился в своем просчете и стал декларировать себя в анкетах и автобиографиях «человеком без религии».

Он сменил фамилию Перельман на литературный псевдоним Бен-Иегуда и принял турецкое подданство. В 1882 году он вместе с И. М. Пинесом, Д. Елиным и д-ром Мазия основал комитет «ТХИЯТ ИСРАЭЛЬ»<sup>7</sup>, который выступал за еврейскую колонизацию Эрец-Исраэль и за использование иврита в школах и в училищах не только для обучения так называемым «еврейским» дисциплинам, но в качестве основного языка преподавания всех изучаемых предметов.

Два года Элизер Бен-Иегуда писал в «А-ХАВАЦЕЛЕТ», но вскоре решил, что светскому, сионистски ориентированному населению города не хватает собственного печатного рупора, и осенью 1884 года иерусалимцы стали свидетелями рождения еженедельника «А-ЦВИ»<sup>8</sup>. По доносам ортодоксов турецкая цензура часто закрывала издание. Фраза в газете «соберемся с силами и двинемся вперед» была намеренно переведена ложно: «соберем войско и двинемся на восток». За нелояльность к режиму Бен-Иегуда был приговорен к году тюремного заключения и был освобожден досрочно лишь благодаря ходатайству Ротшильда.

Пожелтевшие подшивки газеты содержат не только известия о политических баталиях того времени, деловой жизни и культурных событиях города; по ним можно проследить необычную историю любви двух молодых людей, ставшую иерусалимской легендой еще при их жизни. Одним из героев этого «романа в газете» был талантливый двадцативосьмилетний журналист Итамар Бен-Ави (Бен-Цион) – старший сын Бен-Иегуды. В юности он учился в Париже в Учительской семинарии, а затем – в Институте ориенталистики Берлинского университета. Вернувшись в Иерусалим, Итамар стал редактором отцовского издания. Еженедельник был преобразован в ежедневную газету, которая старалась следовать образцам популярных европейских изданий того времени.

Итамар был одарен, образован и привлекателен; его благосклонности искали немало представительниц прекрасного пола. Избранницей же преуспевающего журналиста оказалась юная Лея Абусдид, принадлежавшая к одному из богатых сефардских кланов.

Чтобы добиться ее руки, первенец Бен-Иегуды пустил в ход неожиданное оружие: в редактируемой газете он открыл на первой полосе «Уголок коротких сообщений», где из номера в номер стали появляться его «открытые письма» к возлюбленной. Возмущенные родственники потребовали от Итамара ос-

<sup>7</sup> *Тхият Исраэль* в переводе с иврита – «возрождение Израиля».

<sup>8</sup> *Цви* в переводе с иврита – «олень».

тавить девушку в покое, и тогда с газетной полосы он пригрозил самоубийством... Семейство Абусдид решило спешно отправить Лею в Салоники, дабы оградить от печатно тиражируемых признаний редактора, но Итамар пообещал, что его любовь достигнет ее и там.

...Правы оказались оптимисты. Лея, с согласия семьи, сказала, наконец, «да», а отец новобрачного, Элиэзер Бен-Иегуда, решил, что «А-ЦВИ» исчерпала свою роль в качестве печатного органа молодоженов и вместо нее основал новую газету «А-ОР».

Так гласит легенда, хотя, вероятнее всего, редакция была вынуждена сменить название по цензурным соображениям. «А-ОР» возглавил, естественно, редактор газеты-предшественницы.

Публика обрела в его лице не только активного пропагандиста иврита как современного светского языка. (Как известно, сыну Бен-Иегуды было суждено быть первым «естественным», т. е. с самого рождения, носителем современного разговорного иврита.) Итамар комментировал события, происходящие в городе и во всем мире, с позиций своих читателей, которые занимались производительным трудом и придерживались светских и сионистских взглядов.

Доверительный стиль и разнообразие жанров. Живые репортажи, интересные очерки, остроумные зарисовки... С подачи ортодоксов, оттоманская цензура усматривала в публикациях непозволительное для евреев вольнодумство. Потому редакции приходилось время от времени «закрывать» газету (фактически – лишь меняя название) и... продолжать в том же духе. Под названием «А-ОР» издание просуществовало с 1910 по 1915 год, когда было закрыто по указу турецкого правительства за сочувственное отношение к Антанте.

Десять лет тому назад (еще немного, и эти события тоже станут достоянием исторических книг и энциклопедий) в здании на улице А-ОР разместился основанный Натаном Щаранским и его сподвижниками Сионистский Форум евреев – выходцев из СССР. Первый этаж был выделен под библиотеку, и за счет любимых книг, привезенных в репатриантских багажах и пожертвованных на общее дело, она чуть ли не мгновенно превратилась в крупнейшее в Израиле и, как не без юмора добавляют, «на всем Ближнем Востоке», собрание книг на русском языке. В этом заслуга не только сотрудников библиотеки во главе с ее директором Кларой Эльберт, но и бесчисленных волонтеров.

Когда Форуму пришлось съехать в более скромное помещение, то для самого, пожалуй, значительного его детища столичный муниципалитет арендовал весь трехэтажный особняк.

Нынешний фонд Библиотеки – около ста тысяч томов. Классика, а также стихи и проза современных авторов. Издания по иудаике, философии, психологии, языкознанию. Книги для специалистов (а, как известно, наша алия – сплошь специалисты; или были ими, или стали здесь, приобретя еще парочку-другую профессий...). Отдел редкой книги и отдел правозащитной лите-

ратуры, зал периодики, математическая библиотека и библиотека искусств...

Студенты и школьники, пенсионеры и трудящиеся налогоплательщики – вся русскоязычная книголюбивая община с десяти утра до семи вечера осаждают библиотеку. А самое интересное начинается в восьмом часу. Творческие вечера и презентации новых книг, профессиональный клуб литераторов «Последний понедельник» и литобъединение «Кинг Джордж, 21», программы «Звучащая книга» и «Современные поэты Израиля», детская художественная студия и театр «Тарантас», междисциплинарный семинар ученых и музыкальный клуб, клубы библиофилов и любителей фантастики – все они процветают на улице Света вместе с «Иерусалимским журналом».

## УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

...Приблизительно в то же время, что и *А-ОР* (первая четверть XX века), на карте Иерусалима появилась улица **БЕЦАЛЕЛЬ**. Искусный в резьбе по металлу, камню и дереву Бецалель, сын Ури из колена Иегуды, возглавил мастеров, которым доверили строительство Скинии, а также изготовление чеканного золотого семи-свечника, храмовой утвари и священнических одежд.

Ковчег Завета сопровождал древним израильтянам во всех военных походах, а после завоевания Иерусалима был установлен «внутри шатра, который раскинул для него Давид». Последнее известное нам местонахождение Ковчега – в Храме царя Шломо, откуда он был вывезен вавилонскими захватчиками...

Но иерусалимская улица получила свое название не в честь древнего мастера, а по имени открывшейся здесь в 1908 году Школы искусств и ремесел. Возглавлял ее столь же незаурядный, как и Бен-Иегуда, подвижник – Борис Шац. В двадцатидвухлетнем возрасте он оставил учебу в виленской иешиве и уехал в Париж учиться искусству скульптуры у Марка Антокольского. Прошло совсем немного времени, и его работы стали пользоваться успехом у публики. В 1895 году болгарский царь приглашает Шаца на должность придворного скульптора и назначает его главой Академии искусств в Софии. Казалось бы, о чем еще мечтать тридцатитрехлетнему ваятелю, к тому же получившему за одну из своих работ Золотую медаль парижского Салона. Однако есть вещи более значительные, чем царские милости и признание коллег по искусству. После встречи в 1903 году с Теодором Герцлем жизнь Шаца делает крутой поворот. Он решает посвятить себя служению своему народу и предлагает Седьмому Сионистскому конгрессу основать первую в новейшей истории еврейскую школу искусств и назвать ее «Бецалель».

Предложение Шаца встречается на ура, и вскоре он появляется в Иерусалиме, и не один, а с первыми учениками – семью

болгарскими евреями, бывшими студентами Королевской Академии искусств. В начале 1906 года они снимают большой дом в районе нынешней улицы Эфиопия и начинают там занятия по разработанной Шацем обширной программе. Одновременно вынашиваются планы строительства здания школы на земельном участке напротив стен Старого города (ныне там находится Музей Рокфеллера).

В силу разных причин этот замысел воплотить не удастся, но в канун 1908 года с помощью образованного в Германии попечительского совета были приобретены два просторных трехэтажных дома в центре нового Иерусалима.

Построенные в конце прошлого века в господствовавшем тогда в Палестине «оттоманском имперском стиле», они предназначались для использования в качестве сиротских приютов, но оказались вполне пригодными и для организации задуманных Шацем художественных мастерских и музейных помещений.

Известный израильский художник Нахум Гутман, поступивший в 1913 году в Школу искусств и ремесел «Бецалель», впоследствии вспоминал, что «бецалельцы представляли собой странную, пеструю, разношерстную толпу. Профессор Шац собрал их со всех концов света: из разных частей огромной России, из Австрии и Венгрии, Сербии и Болгарии, Германии, Румынии, Греции, Америки, Йемена, Иерусалима и Тель-Авива. Знакомство с людьми, прибывшими из столь разных мест, открыло перед нами окно в большой мир и внесло в привычный уклад свежую струю. Учеников было не так уж много, но каждый из них представлял другую страну, другую культуру. Только еврейские мелодии, которые мы напевали во время работы, объединяли нас. И еще – Иерусалим».

Когда началась первая мировая война, школу закрыли, а Шац вместе с другими еврейскими общественными деятелями был задержан турками на десять месяцев в качестве заложника. Вынужденное бездействие, казалось, удесятило его силы; в последующие годы он умудрялся не только руководить школой, но и много ездить по свету, добывая средства на ее существование у богатых филантропов.

Во время одного из таких путешествий в Америку в 1932 году художник скоропостижно скончался. Останки его были перевезены в Иерусалим. А в 1990 году в новые строения на территории Еврейского университета, вблизи от места, где обрел вечный покой ревнитель еврейского искусства, переехала основанная им в начале века Школа.

Сохранились кадры кинохроники, где можно увидеть Бориса Шаца во дворе его Школы. Вот он гордо шествует в белом бурнuse, а за ним вышагивает настоящий павлин в роскошном оперении – своеобразный символ многоцветности нового еврейского искусства. Навстречу им высыпают из здания студенты.

Нахум Гутман рассказывал, что нередко, принимая нового ученика в школу, Шац дружески похлопывал его по плечу и гово-

рил: «Несколько лет будешь заниматься гимнастикой, затем женишься, родишь сына и дашь ему имя в Израиле – Бецалель». И что самое поразительное, замечает Гутман, всех первенцев, родившихся у воспитанников Школы, действительно называли этим именем.

...Люблю, остановившись на противоположной стороне улицы, рассматривать здания, принадлежавшие школе «Бецалель» – сегодня в них размещается Иерусалимский Дом художника и художественные мастерские. Они хранят в себе неизъяснимое очарование, наверное, и потому, что несколько поколений еврейских художников освятили их любовью к искусству и преданностью национальным идеалам.

Казалось бы, по архитектуре, да и по внутреннему убранству, эти здания особо не отличаются от своих собратьев, возведенных в те же годы, но... особенный иерусалимский шарм, когда язык не повернется сказать: «старый дом», а с уважением будет произнесено: «старинный».

Иногда по каким-то своим делам я попадаю в расположенный в университетском кампусе *АР А-ЦОФИМ* новый комплекс «Бецалеля» – теперь уже не школы, бери выше – Академии художеств и прикладных искусств. Есть какая-то сухая прагматичность в этих зданиях, а душа все еще тяготеет к романтике...

## ШАТЕР КНИГИ<sup>9</sup>

Для журнального раздела, в котором публикуются краткие сведения о новых изданиях, было взято имя удивительного сооружения, возведенного на территории Музея Израиля в относительно недавние времена. Уже с первого взгляда оно поражает смелым и необычным архитектурным решением, заставляет гадать: «А что там, под этим утопленным в земную твердь куполом?..»

...В одну из весенних ночей 1948 года археолог Элизер Сукеник ушел из дома, ничего не сказав ни жене Хасе, ни сыновьям. Путь лежал к стенам Старого города, где должна была состояться его тайная встреча с посланником митрополита Афанасия, настоятеля сирийского монастыря Святого Марка.

Именно в те дни, когда решался судьбоносный вопрос о провозглашении еврейского государства со столицей в Иерусалиме, Сукеника волновали какие-то ветхие свитки, покрытые выцветшими от времени письменами.

Укрывшись в тени крепостной стены, археолог принялся при свете фонарика рассматривать принесенные монахом куски пергамента. Афанасию их продали бедуины, обнаружившие свитки в пещерах Иудейской пустыни.

<sup>9</sup> На иврите это звучит *ОЭЛЬ А-СЕФЕР*.



За несколько месяцев до ночной встречи Сукеник уже приобрел три таких свитка. Теперь представлялась возможность пополнить коллекцию, но митрополит соглашался уступить рукописи за такие деньги, которых не было ни у Сукеника, ни у Иерусалимского университета, где он работал.

Когда начало светать и монах заторопился обратно в монастырь, ученый с сожалением выпустил из рук последний свиток. Шагая по пустынному предутреннему городу, он думал о государстве, которое должно быть создано и для того тоже, чтобы не дать рассеяться по миру древним рукописям Кумрана. Творения еврейского народа, они должны обрести постоянное прибежище здесь, в Иерусалиме.

Профессор Элизер Сукеник умер в 1953 году, а два года спустя израильское правительство – при материальном содействии известного бизнесмена Давида Готтесмана – приобрело в США те самые свитки, которые археолог впервые увидел во время ночной встречи у иерусалимской крепостной стены. Тогда же было решено возвести в столице Шатер Книги, где бы экспонировались все семь свитков Мертвого моря.

Первоначально предполагалось построить специальный зал в Национальной библиотеке. К разработке этого сооружения были привлечены известнейшие американские архитекторы Арман Бартос и Фредерик Кислер. Правда, после первого совещания с тогдашним президентом Иерусалимского университета Бенджамином Мазаром зодчие не скрывали разочарования: предложенный для экспонирования свитков один-единственный зал не представлял для них «никакого архитектурного интереса». Когда Кислер возвращался на самолете домой в Нью-Йорк, его, как он впоследствии рассказывал, настигло почти мистическое озарение. Среди облаков, клубящихся за окном иллюминатора, зодчий вдруг увидел очертания белоснежного купола, светящегося изнутри... Возможно, так и должен смотреться будущий музей – как вместилище света, излучаемого свитками!

Зал в Национальной библиотеке, который проектировали Бартос и Кислер, обрел купол, но именно теперь стал острее ощущаться его недостаточный объем. Чтобы устранить это противоречие, для рукописей решили построить отдельное здание поблизости от библиотеки.

Но как увязать два объекта, которые будут находиться рядом и в то же время коренным образом отличаться один от другого по архитектуре? Наконец, в октябре 1959 года место Шатра Книги в иерусалимском ландшафте окончательно определилось. Было решено, что он будет возведен неподалеку от Национальной библиотеки на территории, отведенной для строительства Музея Израиля в районе Неве-Шаанан, и обращен к зданию Кнессета.

Благодаря тому, что отныне хранилище древних рукописей планировалось в качестве самостоятельного комплекса, появилась возможность сделать более выразительным и его внеш-

ний облик. Архитекторам пришла в голову счастливая мысль связать со зрительным образом музея название одной из рукописей, которые должны здесь храниться: «Война сынов света с сынами тьмы». Если свет воплощен в подчеркнuto мягких очертаниях белого купола, то тьму, грозящую человечеству, символизирует массивная черная стена из полированного базальта. 11 мая 1960 года Фредерик Кислер записывает в дневнике: «Проект созрел, чтобы дать толчок постройке на Святой земле Храма Книги. Алилуйя!».

Работы по возведению музея длились с 1961 по 1964 год.

Шатер Книги стал новым словом не только в израильской, но и в мировой архитектуре. Его создателям удалось совместить «музейную прозу» (экспозиция и хранение ценнейших рукописей) с высоким духовным накалом. Уже сама организация экстерьера, когда ко входу в музей посетитель спускается по лестнице, ограниченной невысокими колоннами, вызывает ассоциацию с погружением в микву для ритуального омовения. Приобщению к библейским святыням должно предшествовать, по мысли зодчих, некоторое очищение от житейской суеты. Только после этого мы можем переступить порог сооружения, напоминающего древний таинственный храм в катакомбах. Здесь прохладно и сумрачно. Глаз не сразу привыкает к мягкому свету, который льется на выставленные за стеклом фрагменты свитков Мертвого моря. Сами же они помещены в ниши, напоминающие углубления, высеченные в кумранских пещерах.

Но вот пройден затемненный туннель, и мы – в «святая святых» Шатра. Это большой зал, в центре которого покоится та самая рукопись книги Иешаягу, которую показывал сирийский монах профессору Сукенику весенней ночью 1948 года. А над круговой витриной возвышается рукоять символического футляра со свитком Торы.

...Выходим на залитую солнцем площадку перед Шатром Книги, и чудится, будто сияние пробивается из-под земли, из вместилища свитков, сохранивших живые голоса наших далеких предков...

*Цецца Амихай*

### *ТАК УМИРАЛ МОЙ ОТЕЦ*

Однажды в Судный день мой отец стоял впереди меня. Я забрался на стул, чтобы получше рассмотреть его сзади. Гораздо легче было запомнить его затылок, нежели лицо. Его затылок всегда одинаков, а лицо все время движется от разговора, и тогда его рот похож на темные ворота или на развевающийся флаг. Глаза-бабочки или глаза, как почтовые марки на конверте лица, уносящем письмо в дальние страны. Или уши – как паруса в море его Бога. Его лицо бывало или совсем красным, или белым, как его волосы. И волны на лбу, на этом маленьком собственном берегу мирового океана.

Тогда я разглядел его затылок. Поперек шла глубокая складка. Настоящая расщелина. Хотя я был тогда далек от Земли Израиля, я впервые увидел глубокое, опаленное солнцем вadi. Может, мой отец начался в таком вот вadi. Потому что дождей не было и зной делался нестерпимым в Земле, где я еще не бывал, в тот Судный день.

Его лицо, как я уже сказал, я вижу лишь теперь, на фотокарточке, хранящейся у меня в шкафу. Оно похоже на лицо человека, который начал есть любимое лакомство, но вдруг обнаружил, что вкус не тот, и испытал разочарование. Об этом говорят приспущенные уголки его рта. Об этом говорит складка у носа. Говорят немые птицы печали, притихшие в уголках глаз. Много свидетельств нахожу я в его лице. Не для того, чтобы вынести ему приговор, но для того, чтобы вынести приговор себе.

В тот Судный день он стоял впереди меня, полностью погруженный в дела своего взрослого Бога. Совсем белый в белых своих покрывалах. Весь мир рядом с ним оказался вдруг черным, словно место, где прежде горел костер, а теперь остались черные камни. Пляшущие разбрелись, поющие ушли, а черные камни остались. И так же остался мой отец, завернутый в белые покрывала. Это была его первая смерть, которую я запомнил. Когда дошли до «Алейну лешабеах<sup>1</sup>», он опустился на колени вместе со всеми, и лоб его коснулся пола. Я подумал, что он пьет лбом, я подумал, может, Бог течет там внизу, под ножками столов. Прежде, чем опуститься, он разостлал на полу бархатный мешочек от талеса, чтобы не запачкать колени. Запачкать лоб он не побоялся, и потом он восстал к новой жизни. Встал, и цвет его лица изменился несколько раз, и он снова был жив, был мой, и я взобрался на стул, чтобы увидеть его затылок и глубокую складку на нем. Он был воскресшей плотью и

---

<sup>1</sup> «Станем восхвалять...» (иврит). Название молитвы.

кровью. Почему живых людей называют плотью и кровью? Плоть и кровь видно только когда человек распорот, когда его тело изранено или мертво. У живых людей видны другие вещи. Не плоть и кровь, а глаза и кожа, улыбка и волосы, рот и руки.

Я поднялся на женскую половину, чтобы сообщить матери о воскрешении мертвых. Там были яблоки с воткнутыми в них благовониями, чтобы женщины не падали в обморок. Я завидовал женщинам. Мне всегда хотелось потерять сознание, но у меня никак не получалось. Быть стертым с доски, отступить от всего без всякого плана и без возражений. Эти яблоки с благовониями были у женщин в руках, и я тоже был в их руках, и весь земной шар тоже. Они держали меня против циферблата больших часов, чтобы сверять время со мной. Глядели на меня при свете пожаров, которые разгорятся и сожгут эту синагогу. Сверху мне было видно, как со свитков Торы снимали белые сорочки. Тянули за плечики и стягивали платье. Свиток Торы остался нагим, и было ему холодно. Мой отец воскрес из мертвых и вечером поужинал после молитвы «Неила<sup>2</sup>». Тот год был большущим колесом. Стеной, ограждающей дни и недели. Странная игра. Во мне все еще были сложены вместе искупления и прегрешения, и те и другие выглядели одинаково. По вечерам луна кружила над городом, как сияющий петух искупления грехов.

Еще много раз умирал мой отец, он и теперь иногда умирает. Иногда я при нем, а иногда он умирает в одиночестве. Иногда смерть настигает его у моего стола. Или в час работы, когда я пишу на доске красивые слова или когда разглядываю разноцветные страны на географической карте. Порой я далек от его смерти, как это случилось в первую мировую войну. Хорошо, что на войне сыновья не встречаются с отцами. И еще хорошо, что я в ту войну не воевал, иначе мы бы убивали друг друга, потому что на нем была форма кайзера Вильгельма, а на мне – короля Георга, но Бог положил между нами зазор в двадцать пять лет. Его военные награды я спрятал в коробке со своими наградами, полученными во второй мировой войне, – не нашлось другого места. На одной из его медалей изображен лев. И скрещённые шпаги, как на дуэли невидимых дуэлянтов. Образы хищников занимают почетное место на гербах и значках. Львы и орлы, быки и ястребы и прочие губители и разорители. В синагоге двум львам позволяют держать Скрижали Завета над Ковчегом. Даже наши законы оказалось возможным доверить и вручить на хранение только хищникам.

Однажды в Германии, спустя много лет после войны, мой отец надел черный сюртук и прикрепил к нему ордена и медали. Он надел также блестящий цилиндр и отправился на открытие памятника павшим в той войне. Все мертвые были переписаны в алфавитном порядке. Где стоял памятник? В городском сквере, рядом с детской площадкой. Рядом с качелями и песочницами. Я не помню, как этот памятник выглядел. Наверное, там были солдаты, поднимающие

<sup>2</sup> «Неила» – заключительная молитва Судного дня.

каменные ружья под каменными знаменами, и каменные матери, оплакивающие их каменным плачем. Наверное, там были всякие хищники, в память о величии человека, полководцев и государей.

Целых четыре года умирал мой отец на войне. Много окопов он вырыл. Ему говорили, что пот экономит кровь: больше пота, меньше крови. Но кровь солдат экономит пот генералов. А пот генералов, опять же, экономит кровь и пот промышленников и кайзеров. И так бесконечная экономия. Много окопов вырыл мой отец. Много могил выкопал себе. Лишь один раз он был ранен. Все остальные пули и осколки прошли мимо. Когда он умер по-настоящему, много лет спустя, явились все промахнувшиеся пули и снаряды, собрались вместе и в одно мгновение изрешетили его сердце. К тому же, он не вышел из того последнего окопа, который вырыли для него другие. Он прошел через многие битвы и часто бывал среди мертвецов бухгалтерии сражений и среди мертвецов статистики завоеванных пунктов. Его кровь светилась в нем, как светятся кнопки электрических выключателей в темноте лестничной клетки. Чтобы смерть могла увидеть и осветить этой кровью его тело. Но смерть не нажала на кнопки его светящейся крови, и мой отец не умер по-настоящему. Бог, в которого он верил, висел над ним, как белый спасательный парашют, – гораздо выше траекторий летящих снарядов. Отец не вмешивал своего Бога в дела войны, а оставил Его среди законов природы и звезд. Оставил Его над собой, словно легкую пену над темным, вязким напитком своей жизни.

Порой, когда война ожесточалась, его тело уподоблялось дереву, сбросившему листья. Только ветви нервов остались и опали всю его жизнь. Много писем отослал он оттуда. Поначалу он слал одинокие письма. За четыре года войны эти письма превратились в пачки и груды. Отвердели груды и сделались словно камни. Куда приходят письма? Поначалу они плывут, легкие и белые, словно крылья голубки. Потом твердеют все эти письма и превращаются в камень. И еще кочевали письма из чулана в чулан, из ящика в коробку. В шкаф и поверх шкафа. Оттуда – на чердак, а оттуда – еще выше, под самую черепицу. Когда наступит настоящее воскрешение мертвых, придется ему высвободить все эти груды из камня и прочесть свои письма. При жизни человек выделяет кровь и пот, отходы пищеварения, поэзию и письма.

Как-то раз он рассказал о пленных французах под Верденом, которые на своем языке просили у него воды: *de l'eau, de l'eau*. Он отдал им остатки воды в своей фляжке. С тех пор я не забывал их мольбы о воде. Порой они приходят ко мне и просят немного воды. Может, мой отец рассказал им обо мне. Трудно представить, что он это сделал, потому что я тогда еще не родился, но на войне, которая смешивает людей с землей и переворачивает все и вся: стоящих превращает в сидящих, сидящих в лежащих, а лежащих – в фотографии на стене, на такой войне все возможно.

Однажды, незадолго до прихода к власти Гитлера, друзья по оружию пригласили отца на вечер памяти. Прислали ему красивое

приглашение. Наверху была отпечатана эмблема их полка: охотничья шапка, олени рога и скрещённые ружья. А почему так? То был охотничий полк. Полк с давними и почтенными традициями. Благородный полк. Сначала охотятся на зайчих и на ланей. Потом, на войне, охотятся на людей. Не просто охотятся, а убивают. И не для того, чтобы есть, как когда охотятся на зайчих, а для того, чтобы убить их и распотрошить, чтобы они выглядели плотью и кровью, а не волосами и улыбкой, не рукою и объятьем или другими милыми сочетаниями.

Отец не ответил на приглашение. И это тоже была смерть, потому что его очень любили и называли другом. А в Судный день, во время войны, делились с ним пайком, чтобы он выдержал свой пост. И собирали под звездами мгновенья тишины, чтобы он проговорил тихие свои молитвы. А он за это укреплял их дух своей убежденностью и своими смешными историями.

После этого он умирал еще много раз.

Он умер, когда пришли его арестовать из-за нацистского значка, который я подобрал где-то, а он выбросил на помойку. И чернорубашечники подошли к нашей двери. И чернорубашечники ворвались в нашу дверь. И сапоги печатали шаг. Мне страшно было видеть, что отец больше не может защитить свой дом и преградить путь врагу. Так кончилось детство. Как могло случиться, что кто-то входит в дом против желания папы?

Если бы я был старше, я бы прикрыл своего отца, как это сделал он, мрачно идя рядом с ними.

Он умер, когда поставили часовых возле его магазина, чтобы никто не покупал там, потому что это еврейский магазин.

Он умер, когда мы покидали Германию, чтобы уехать в Палестину. Все прежние годы умерли. Когда поезд проезжал мимо дома престарелых, на который отец жертвовал деньги, все престарелые махали из окон и с балконов простынями. Не потому махали, что хотели сдаться, а потому, что хотели проститься и пожелать ему мира. Как различишь, сдаются или желают мира? И тут и там машут белыми флагами или платками, а бывает, и простынями.

Он умирал много раз, потому что был сделан из разных материалов, иногда – как железо, иногда – словно белый хлеб, иногда – вековое дерево. Все это должно было умирать. Иногда я видел, как его руки покрывали лицо, словно платье, чтобы я не видел его наготы. Иногда его мысли были непомерно тяжелы для маленького тела, и он сгибался под их ношей. Иногда он был крепок, как телеграфные столбы, и мысли его были чудесные, яркие и легкие, как натянутые провода. И даже певчие птицы спускались и усаживались на них.

Когда он умер по-настоящему, Бог не знал, умер ли он вправду. Привык, что отец восстает из мертвых, но в тот раз он не встал. За несколько недель до того у него был сердечный приступ. Говорят, сердечный приступ. Кто кого брал приступом? Кто на кого пошел войной? Сердце на тело или тело на сердце? Или, может, весь мир взял приступом их обоих?

Как-то раз я пришел его проводить, а он лежал рядом с железным баллоном кислорода, и глаза его смотрели осколками, как бокал под каблуком жениха на еврейской свадьбе. Приблизясь, я услышал шепот кислородной бомбы. Когда-то у постели больных стоял ангел. Теперь стоят бомбы с шепчущим кислородом. Водоплавам и летчикам тоже дают кислородные баллоны. Куда пойдет мой отец? Может, нырнет, может, взлетит. Так ли, этак ли, но он нас покинет. Он сделал мне знак подойти. Я сказал: не говори, тебе это трудно. Он сказал: на соседской крыше вопит кот; наверно, он заперт и не может выйти. Я пошел к соседу и выпустил кота. И снова мы слышали только шепот кислорода. На баллоне установлен прибор, показатель давления. Время моего отца было временем кислорода в баллоне. Моя мать стояла в дверях. Если б могла, стояла б как кислородная бомба у его кровати и отдавала ему силы своей жизни.

Потом отец потихоньку стал поправляться в своей постели. С каждым днем цвет все больше возвращался к нему, словно все цвета бежали с его лица и разбрелись кто куда, когда начался приступ. Теперь все цвета возвратились, как беженцы после бомбежки. И баллон поставили на балконе.

В день, вечером которого он умер, ему сделали кардиограмму. Пришел врач, включил что-то вроде радио и подвел к отцу тонкие электрические провода. Когда любишь, нет нужды в хитром приборе, чтобы узнать, что на сердце. Когда человек болен, другое дело. Игла вычерчивала на бумажной ленте зигзаги, как сейсмограф во время землетрясения. Потом отец выглядел, как радиостанция: весь в проводах и антеннах. В тот день он в последний раз вышел в эфир. Я слышал.

Врач рядом с ним сказал: мы в полном порядке. Как будто кто-то сомневался, что сам он в порядке. Он отключил свой прибор и показал нам зигзаг, который, как он считал, был в порядке.

Вечером мы с женой пошли в кино. Когда на экране увеличенные лица перестали смеяться и рыдать, мы вышли на улицу. Жена купила цветы у одного человека, торговавшего цветами из ведра возле излюбленного артистами кафе. Туда ходят юные поэты с печальным взглядом, устремленным непременно вдаль, и еще ветераны, увешанные медалями разных победных сражений. И еще хромые, раненные на войне, и хромые оттого, что хромота облагораживает, и знатные усачи, и любители войны, надевшие штатское, и любители мира, расхаживающие в военной форме. И девушки, которые любят дружить со всеми. Мы купили красные розы, может, для того, чтобы цвет отцовских щек поскорее вернулся.

Мы пришли и сели рядом с отцом. Жена поставила цветы в вазу, и они вольно задышали. Мы придвинули стулья к постели отца, и он начал рассказывать об одном человеке, который приехал в страну после того, как выпрыгнул на ходу из поезда и скрывался у добрых неевреев. Глаза моего отца наполнились слезами, когда он говорил о добрых людях, приютивших гонимого беглеца. Его глаза наполнились слезами, а рот наполнился странными хрипа-

ми. Речь пресеклась, словно в кино оборвалась пленка. Как радиопередача, на которую наложилась чужая станция. Какая станция вмешалась в передачу моего отца? И вот умолкли обе станции, и моего отца, и та, что мешала. Его рот открылся, словно еще много рассказов о добрых людях теснятся и ищут выхода, и не хватает рта выпустить их все разом. Я бросился к нему, и обнял его, и поцеловал его холодный лоб. Может, я вспомнил о том, как его лоб коснулся земли в Судный день. Может, я думал вернуть его душу, как пророк Элиша. Вышла моя мать из ванной. Жена вызвала врача. Пришел врач и обозначил то, что уже само себя обозначило. Пришел добрый сосед и все устроил, что надо. Пришел один раввин, знакомый моего отца, и выполнил все по закону. Мебель сдвинули с места, окна закрыли и открыли. Раввин привык к мертвым. Поставил свечу на пол, будто свечу возле стройки или там, где ремонтируют дорогу. Затем раскрыл книгу и зашептал. Баллон с кислородом больше не должен был шептать.

На следующий день отца обмыли дома. Вынесли мебель, вылили ручьями воду и завернули его во множество полос белой ткани. После похорон пришли родственники и знакомые. Тетя Шошана приехала из деревни, она была рада расстаться на время со своими многочисленными курами и встретиться с приятелями, которых давно не видела.

Для траурной скорби предоставилось много возможностей. Громкий горестный крик мы упустили. Может, потому что отец умер на полуслове, а может, потому что все радиостанции прекратили работу. Или потому, что сердце должно было быть широким жерлом фанфары, а оказалось недостаточно большим для сильного звука. Можно было скорбеть с криком тепловоза, пробиравшегося среди докучных и неотвязных гор по направлению к Иерусалиму. Или можно было скорбеть в тиши. Как то окно, что позабыли закрыть, и оно мучается себе тихонько.

Есть у нас совсем немного выражений чувств: печаль, страх, улыбка и еще несколько. Как манекены в витринах магазина одежды. Судьба устанавливает нас, как декоратор устанавливает манекены – иногда поднимет им руку, иногда повернет голову, и в таком виде они остаются целый сезон. И мы так же.

Я отрастил бороду пребывающего в трауре. Поначалу она была жесткой, потом помягчала. Порой по ночам я слышал выстрелы или тархтенье тракторов в одной из долин или взрывы, доносившиеся из каменоломни. Мой отец был как каменоломни. Отдал мне свои камни и опустел. Теперь, когда он мертв, а я построен, он остался разверзтым и покинутым. Лес вырос вокруг него. Иногда, когда я езжу в Шфелу, я проезжаю каменоломни близ шоссе, они стоят покинутыми.

Я заказал памятник. Вечером, накануне дня, когда я сделал заказ, я увидел девушку, которая стояла возле какого-то памятника и застегивала расстегнувшийся ремешок босоножки. Когда я приблизился, она проскользнула между высокими камнями и скрылась. Я заказал спокойный памятник, с приподнятым изголовьем.



Каменотес задавал мне вопросы, подобно портному, спрашивающему о размерах и строчке, о материале и фасоне.

Кладбище находится у границы. В дни напряженных отношений мертвые остаются одни. Только солдаты иногда виднеются там. Рядом с моим отцом похоронен один немецкий доктор, которому не установили памятник, а положили лишь железную табличку с надписью. В направлении города виднеется башня комбината «Тнува». Башни нам больше не помогают. Но эта башня «Тнувы» – холодильник. Еще есть водонапорные башни, они должны возвышаться, чтобы все дома были полны водой. Бог, который возвышался очень высоко, наполнил моего отца до краев. Я наполнился другими вещами и не обязательно из высоких башен. Порой напор бывал слабоват, и я наполнялся лишь наполовину разными идеями и мечтами. Несколько дней назад я ходил на кладбище. Над каждой могилой – имя и изречение. Место погребения Моисея неизвестно, зато место его жизни известно, и даже и сегодня мы знаем все подробности его биографии. Теперь все наоборот. Только места погребения и известны. Место нашей жизни неопределенно. Мы скитаемся и меняемся, исчезаем с лица земли, и лишь места погребения неизменны.

Что касается меня, я продолжаю свой путь, и во мне проявляются некоторые свойства моего отца, некоторые черты его лица и характера. Что-то я в себе развиваю, что-то оставляю, как есть.

Но, как я сказал в начале, мой отец все еще продолжает умирать. Он приходит ко мне во сне, и я беспокоюсь о нем и говорю: возьми-ка пальто, не спеши, не говори, чтобы не волноваться, отдохни от этой ужасной войны. Я не могу отдохнуть. Я иду – не для того, чтобы молиться, я кладу тфилин не на руку и не на лоб, а в ящик стола, и больше уже не вынимаю их оттуда.

Однажды я шел по Виа Аппия в Риме. Мой отец лежал у меня на плече. Вдруг голова его соскользнула, и я испугался, что он умрет. Я положил его у края дороги, подложил камень ему под голову и пошел подзвать такси. Когда-то за просьбой обращались к Богу, теперь зовут такси. Я не нашел такси и отдалился от моего отца. Каждые несколько шагов я оборачивался, взглядывал на него и снова спешил дальше, туда, где движение транспорта. Я видел, как он лежит у края дороги. Лишь голова его была повернута ко мне и следила за мной. Я видел его сквозь старинную арку Святого Себастьяна. Люди проходили мимо, наклонялись к нему и снова шли по своим делам. Я нашел такси, но оно оказалось чересчур узким, словно змея. Я нашел другое, но водитель сказал мне: знаем мы его, он только притворяется мертвым. Я обернулся и увидел, что отец мой по-прежнему лежит у края дороги, и его белое лицо повернуто ко мне. Но я не знал, жив ли он еще. Я снова обернулся и увидел его как что-то очень далекое, далеко позади старинных арочных ворот Святого Себастьяна.

1960

*Перевела с иврита Зоя Копельман*

## *Лев Тулат*

### *ЮДА АМИХАЙ*

Друзья называли его не Иегудой, а Юдой.

Однажды два года спустя, после того, как мы познакомились и общались уже довольно тесно, я, вернувшись с полевого маршрута, сказал жене: «У Юды какой-то особенный взгляд. Он видит и схватывает вещи, даже в моей неуклюжей символике. Как поэт».

«Разве ты не знаешь, что он поэт?», – удивилась она.

О занятиях Юды, я от него знал только то, что он работает на поставки учителем.

Иврит мой тогда в 72-ом был слов на двести, впервые я прочитал его стихи по-английски. Да и сегодня его прозу мне читать легче, чем его стихи, которые я тоже очень люблю.

Знакомство наше началось с прогулок по окрестностям. Эйн-Карем, где мы тогда жили, – совершенно удивительное место, время там как будто останавливается.

Мы гуляли, его сын Дади уже научился ходить, но чаще передвигался в рюкзаке Юды. Мы не мешали друг другу, и это было хорошей базой для дальнейших отношений.

Потом, узнав, что я езжу на полевые работы, он попросился со мной, и потом присоединялся к нашей небольшой – я и молодой техник-сабра – геологической группе довольно часто. Тогда мы занимались съемкой в Иудейских горах, южнее Хеврона. Ходил Юда легко – у него было, что называется, длинное дыхание. Был очень приятным спутником, держался незаметно, если мог чем-то помочь – помогал, но никому не навязывался. Время от времени что-то записывал. Это никому не мешало. В нагрудном кармане у Юды были карандаш, очки, листок бумаги, нет, блокнота я никогда у него не видел.

В 75-ом мы с женой купили старый джип с брезентовым верхом, в него вмещалось восемь человек. Мы с Женей с двумя детьми и Юда с Ханой с двумя детьми. Мы брали детей и отправлялись на весь выходной – а тогда в Израиле был только один выходной день – путешествовать. У Амихаев в те годы машины не было.

Хана сдала на права только в начале восьмидесятых, когда Амихай получил Премию Израиля, а сам он не водил машину до конца жизни. Но маршруты чаще всего выбирал он. Юда очень хорошо знал Израиль, у него были, конечно, свои, любимые еще с молодости, места.

Особенно Ахзив, деревня Эли Авиви.

Даже за полтора месяца до смерти, когда он был очень тяжело болен – а он, естественно, знал про свою онкологию – мы поехали в Ахзив, и Юда ковылял к морю по крутому песчаному спуску.

Он разговаривал и читал стихи одинаково. В нашей компании стихов не читал, но все, что он говорил, для меня было стихами – по сжатости и емкости сказанного.

Он был очень земным человеком. Ходил на базар в Старый город, покупал в знакомых лавках, прекрасно готовил. Ни у кого не просил помощи, если мог это сделать сам. Все, что делал, по моему, делал с удовольствием.

Чиновников сторонился. Не искал полезных связей, знакомств с политиками. ...Когда мне говорят, что Юда был связан с «Шалом ахшав» – на самом деле ни в какой партии или политической организации он не состоял, – я вспоминаю его слова: «Мы перед арабами ничем не провинились, это они нас пытались уничтожить в трех войнах. Я не чувствую, что что-то им задолжал».

...Не любил никаких крайностей, никаких экстремистов, и еврейских тоже. Ни правых, ни левых, ни ультраортодоксов. А на арабских фанатиков надеялся, что они – своей угрозой – помогут евреям объединиться.

За несколько недель до своей смерти попросил меня отвезти его к милуимникам, которые объявили голодовку за равный призыв для всех. Они узнали Амихая, обрадовались... Газеты на следующий день опубликовали его к ним обращение: «Вы продолжаете "Войну за независимость"...»

Любил футбол, болел за «Апоэль Ерушалаим». Но спортсменом не был. Хотя в соревнованиях однажды участвовал. По боксу. Юда мне рассказывал, как однажды, во время службы в британской армии, командир пообещал отпуск каждому, кто примет участие в соревнованиях. На ринге Юда продержался недолго, но отпуск получил. В отпуск очень хотелось.

Играл на губной гармошке. Дети его обожали. И его дети, и наши.

Во время наших поездок мы всегда покупали вино. Пил он в меру. Любил простую еду – картошку, сосиски. Особенно, поджаренные. Каждый День независимости мы встречали в лесу с мангалом.

Он был очень основательный человек, что называется, человек земли, с по-крестьянски положительной шкалой ценностей.

Сам себя называл солдатом в отпуске – уцелел. Радостям радовался вдвойне. Цветам, красивым женщинам...

Но больше всего Юда напоминал мне старого лагерника.

На его поминках услышал «Эль мале рахамим» и сразу вспомнил его стих того же названия, тяжелый, музыкальный в своей резкости. Правдивый. И вспоминаю его – часто...

## ИЕГУДЕ АМИХАЮ –

### ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

Я, употребляющий лишь малую долю слов из словаря...

И. Амихай

Первый поэтический сборник Иегуды Амихая вышел в 1955 году в независимом издательстве «Ликрат» («Навстречу»), которое в общественном сознании связывалось с одноименной группой студентов-филологов Еврейского университета в Иерусалиме. Эти студенты – тогда начинающие поэты Моше Дор, Давид Авидан, Арье Сиван, Натан Зах и критик и переводчик Биньямин Грушовский (ныне Харшав) – произвели переворот в ивритской литературе Израиля. Они заявили: «Действительность наших дней – это не проникнутая энтузиазмом действительность военных лет, явившая немало разнообразных поэтов и прозаиков; нынешняя действительность серая, поблекшая, с ожесточившейся физиономией», – и требовали от автора «персонального всматривания, критического и выявляющего истинную суть настоящего (которое отнюдь не всегда внушает оптимизм)»<sup>1</sup>.

Первый поэтический сборник Амихая назывался «Ныне и в другие дни». Это название – заключительная строка ставшего впоследствии знаменитым стихотворения «Бог милосерден к маленьким детям»<sup>2</sup> – было выбрано редактором книги, Захом, как эмблема новой литературной школы. Слово «ныне» (на иврите – *ахшав*) отграничило творчество группы «Ликрат» от надвременного ивритского символизма Шлионского – Альтермана и поэтов их круга. Но Амихай не принадлежал к группе «Ликрат»; о причине он недвусмысленно высказался в стихотворении из цикла «Царь Саул и я»: «Ему дали палец – он схватил всю руку, Мне протянули руку – я не взял и мизинца»<sup>3</sup>.

Биография Амихая должна была бы зачислить его в отряд авторов с совсем другими литературными пристрастиями. Он родился в 1924 году в южно-немецком городе Вюрцбурге, в ортодоксально-религиозной еврейской семье состоятельного буржуа, и ходил в еврейскую школу. В Вюрцбурге была большая еврейская община, имевшая, помимо школы, свою учительскую семинарию, больницу и дом престарелых. В 1935 году семья, спасаясь от нацистов, прибыла в Палестину, недолгое время провела в Петах-Тикве, а потом осела в Иерусалиме, где Амихай в 1942

<sup>1</sup> «Ликрат», № 1, 1952 (на иврите).

<sup>2</sup> См. двуязычный сборник избранных стихов: Иегуда Амихай. «Бог милосерден к маленьким детям». Перевод Александра Воловика. Изд-во Шокена, Иерусалим – Тель-Авив, 1991, с. 13.

<sup>3</sup> В сборнике «*Бе-мерхак штей тиквот*» («На расстоянии двух надежд»), 1958.

году закончил религиозную гимназию «Маале». Как он писал в стихотворении «Автобиография в 1952 году»:

...В 31-м были руки мои веселы и малы.  
В 41-м учились они управляться с ружьем.  
...В 51-м движение жизни моей  
было дружным движением галерных гребцов...<sup>4</sup>

В авторском переводе на язык фактов это звучит так: «во время второй мировой войны я служил солдатом в израильских частях британской армии. О том, чтобы писать стихи, и не мечтал. Для меня это было настоящей войной, я хочу сказать, я сумел почувствовать себя участником сражений»<sup>5</sup>. Солдат Амихай большую часть войны служил в Египте и нелегально переправлял в Эрец-Исраэль оружие и евреев. В 1946-м он демобилизовался и прошел ускоренный курс обучения в Учительской семинарии (ныне им. Д. Елина) в районе БЕЙТ-А-КЕРЕМ в Иерусалиме. Пятнадцать лет (с перерывами на войны) он работал учителем в начальной школе. В 1948 году вступил в Пальмах<sup>6</sup> и в 1948 – 1949 воевал в Негеве, освобождал еврейские поселения от египетской блокады, воевал и в Синайской кампании в 1956-м, и в Войне Судного дня в 1973. В промежутке женился (1949), стал отцом (1961), снова женился (1964), и во втором браке у него родились сын (1973) и дочь (1978).

В 1949 году поступил в Еврейский университет, где изучал Танах и ивритскую литературу, а в 1954 отправился на год в Европу. За первую книгу стихов Амихая наградили премией имени А. Шлионского (1957). Какова была логика судей? Как иронизировали по этому поводу в кругу молодых писателей? У меня на эти вопросы пока нет ответа. Позднее он преподавал также в семинарии для еврейских учителей из стран диаспоры, выпустил около 25 книг – стихи, пьесы, рассказы, романы. Удостоился многих литературных премий, в том числе имени Х. Н. Бялика (1976), Государственной премии Израиля (1982). Участвовал во многих международных литературных форумах. Удостоился многих почетных титулов и званий.

Но вернемся к середине 1950-х. Ясно, что при такой героической биографии Амихай мог бы сделаться первым поэтом официальной культуры нового государства: ведь «война и кровопролития произвели на него сильнейшее впечатление и отразились в его стихах»<sup>7</sup>. Однако эти «отражения» не годились в партийные книжки. Взять хоть поразившее современников стихотворение «Дождь на поле битвы» (1948):

<sup>4</sup> Перевод мой.

<sup>5</sup> Интервью Амихая поэту Якову Бесеру в книге «Сиах мешорерим» (Беседа поэтов), 1971. Перевод мой.

<sup>6</sup> Пальмах – отборные боевые части еврейской нелегальной военной организации Хагана, а затем – Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ).

<sup>7</sup> «Дор ба-Арец» («Поколение в стране» – антология израильской литературы). Ред. Э. Ухмани, Ш. Танай, М. Шамир. 1958, с. 339 (на иврите).

*Памяти Дику*

*Дождь льет на лица моих друзей;  
на лица моих живых друзей, тех,  
что прикрывают голову одеялом,  
и на лица моих мертвых друзей, тех,  
что более не прикрывают.<sup>8</sup>*

Много позже критик отмечал: «Принципиальное новаторство Амихая очевидно уже в первом сборнике. С самого начала поэт заговорил голосом частного лица, которое ни при каких условиях не было готово интегрироваться в коллективном «мы». Его лирический герой был нормальный, уравновешенный, осмотрительный человек с персональным, а не коллективным прошлым... чуждый экстазу и сумбуру чувств, обеспокоенный тем, чтобы никто не посягнул на суверенность его личной жизни, в первую очередь, любви и внутрисемейных отношений, настоятельно реагирующий на малейшие попытки вмешательства извне, априорно отвергающий любые требования принести жертву во имя надличных или сверхчеловеческих идей, отлично сознающий, что «двадцатый век» пытается и изо всех сил будет пытаться продырявить его тело и выпустить из него кровь, а также что необходимо обуздать и остановить эту кровь, которая, в свою очередь, «во многих войнах порывалась уйти сквозь много дверей»»<sup>9</sup>.

Амихай стал поэтом-пацифистом, автором хорошо известных провокационных строк:

*В длинном волосе черном отвага Самсона.  
Но я назван героем и острижен некстати,  
И теперь я прицеливаюсь принужденно,  
А хочу помереть у себя на кровати.<sup>10</sup>*

«Я не верю, и это факт. Тут уж ничего не поделаешь, ничем помочь не могу», – признавал поэт в 1971 году<sup>11</sup>. Но религиозные еврейские тексты остались в памяти и крутились там непрестанно, диктуя свой взгляд на актуальную проблематику, которую на иврите принято обозначать словами «кан ве-ахшав», т.е. «здесь и ныне». Так, например, он истолковал начальные слова поминальной молитвы «Эль мале рахамим» (Всемилоостивейший Бог) как ситуацию, в которой все милосердие сосредоточилось в руках Бога, отчего в мире на месте изъятого милосердия образовалась пустота – пустота такая безжалостная и разверстая, что ни аффектации, ни высокая риторика невозможны.

<sup>8</sup> Из стихотворения «Автобиография в 1952 году». Перевод мой.

<sup>9</sup> Дан Мирон. «Ивритская поэзия от Бялика до наших дней: авторы, идеи, поэтика». Мой перевод этой книги на русский язык вскоре выходит из печати.

<sup>10</sup> «Я хочу помереть у себя на кровати». Пер. В. Корнилов. В книге: Антология ивритской литературы. Сост. Х. Бар-Йосеф, З. Копельман. 2000, с. 392.

<sup>11</sup> Интервью Якову Бесеру (см. прим. 4).

Он по-своему откомментировал библейские пророчества о последних днях, о светлом будущем, когда «гора дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы... ибо от Сиона выйдет Тора, и слово Господне – из Иерусалима... и перекуют мечи свои на орала, и копья на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своею лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их» (Миха, гл. 4), когда мертвые люди воскреснут, и «будет жить волк вместе с барашком, и барс с козленком...» (Исайя, 11:6).

### **ВРОДЕ АПОКАЛИПСИСА**

*Человек под смоковницей позвонил человеку под лозой:  
ночью точно придут – атмосфера как перед грозой.  
Забронируй листву и деревья укрой всех сортов,  
кликни мертвых домой и ко всему будь готов.*

*Над ручьем повстречавшись, белый агнец волку шепнул:  
Люди блеют, болит мое сердце, слышав бляенья гул.  
Ох, боюсь, чтоб они со штыками не ринулись в бой.  
Мы на нашей грядущей встрече обсудим это с тобой.*

*И все нации (объединенные) в Ерусалим потекут  
Поглядеть, не открылась ли истина в пару последних минут,  
а меж тем, потому как пока что весна у нас здесь,  
они будут цветы собирать, ожидая благую весть.*

*Переплавят они на орала мечи, и орала в мечи, и мечи на орала,  
так и будут ковать вновь и вновь без конца и начала.  
И, быть может, от всех переплавок, заточек  
железа войны в этом мире иссякнет источник.<sup>12</sup>*

Даже для секса Амихай находил библейские аллюзии, дерзкие, как в стихотворении «Иаков и ангел», где близость со случайной женщиной описывается в словах и образах сакрального единоборства<sup>13</sup>. Бог не исчезает со страниц его книг. Мудрость Мишны, и библейские образы, и еврейские поэты средневековья – Иегуда Галеви и Шломо ибн Гвириоль – все осмыслено его стихами, даже если это смысл, обратный традиционному. Не случайно его любимый прием – оксюморон. Когда-то Амихай сказал, что наполовину создан из отцовской этики, а наполовину – из жестокостей войны. В его творчестве особенно ярко проявился уникальный феномен иврита, о котором сам он выразился так:

<sup>12</sup> Перевод Даны Зингер. В книге «Мир да пребудет с вами. Стихи современных поэтов Израйля». Москва, 1998, с. 5.

<sup>13</sup> В книге «Бог милосерден к маленьким детям» (см. примечание 2), с. 81. Ср. Бытие, 32:22-32.

*...попались в ловушку отчизны:*

*говорить в наше время на этом усталом наречьи,  
на языке, извлеченном из сладкого сна – из Танаха:  
жмурясь от яркого света, он от уст к устам переходит.*

*На языке, говорившем  
о чуде и Боге, произносить теперь машина, бомба, Бог.<sup>14</sup>*

Поэзия Амихая, как правило, суггестивна. Он писал простые, доходчивые, несмотря на суггестию, стихи – такие любят преподавать в израильских школах. Писал сложные, немногословные стихи о любви, трудной и болезненной, и тут не только экономил словарный запас, но и так скупился на слова, что скорее чувствуешь горечь, обиду, смятение, потерянность, чем догадываешься о коллизиях.<sup>15</sup> Вовлеченный в конфликт литературных поколений, Амихай не боялся черпать у поэтов «враждебного лагеря», например, у Леи Гольдберг. У нее он учился сонету и весьма преуспел в этом жестком поэтическом жанре, тогда как в израильской поэзии восторжествовал верлибр. К сожалению, эти пласты его поэзии пока не познало искусство перевода на русский язык.

Примечательно, что свой первый роман (1963) он озаглавил как бы вопреки девизу, отсекавшему Израиль от истории диаспоры: «Не сейчас и не здесь». Этот роман – не ведающая стыда, откровенная и словно наивная проза поэта, подчиненная строго продуманному плану. Реальные факты и люди, узнаваемые его современниками и ждущие своего комментатора для последующих читателей, являются в полном смысле фикцией, художественным вымыслом, двоящейся судьбой главного героя. Кризис сорокалетних настиг его то ли в Иерусалиме, где им безраздельно властвует любовь к не своей жене, то ли в немецком городе, куда он приезжает, чтобы свести счеты с нацистами. Сожженная в печах Освенцима маленькая Рут, одноножка из детства автора, фотография которой стояла у него на столе, вновь и вновь возникает на страницах романа, тревожа память и совесть героя. Интонация и музыка текста напоминают ритмику агноновской прозы.

Амихаю присуща ирония и самоирония. И чувство юмора, такое нечастое в израильской литературе. В его индивидуализме нет упоения собой. Он почти не употребляет местоимение «мы», тогда как «я» присутствует повсеместно, но никогда не заслоняет собою огромного мира, заморозившего еще в детстве:

*Мама испекла мне вселенную  
из сладких пирогов.  
Любимая наполнила окно мое  
изюминками звезд<sup>16</sup>.*

<sup>14</sup> В книге «Бог милосерден к маленьким детям» (см. примечание 2). Из стихотворения «*Махшавот леумиёт*» («Национальные мысли»), 1968.

<sup>15</sup> Я имею в виду стихи цикла «*Каиц ве-софо*» («Лето и его конец») в сборнике «Стихи 1948-1962».

<sup>16</sup> В книге «Бог милосерден к маленьким детям», с. 9.



Амихай подолгу жил и работал в Америке. Профессор Рут Картун-Блум, у которой я училась, рассказывала, что видела цитаты из переведенных на английский его стихов на нью-йоркских стенах и на фермах мостов в каком-то другом американском городе, сейчас не помню. Но в читательском сознании Амихай – поэт Иерусалима. Он писал о нем всегда: Иерусалим, разделенный бетонной стеной, когда район *МИШКЕНОТ-ШЕАНАНИМ*, где он жил, был свалкой отбросов, и Иерусалим после Шестидневной войны, когда он смотрел на еврейский Старый город и печалился о том, сколько бед и непокоя принесет нам новое арабское население. Он хотел было примкнуть к группе «Шалом ахшав» и даже несколько раз ходил на их собрания, где читал свои стихи, но понял, что политика – не его дело. Как мог он убеждать кого-то, когда сам во всем сомневался? «Бывает, что человек рождается под знаком сомнения. Что касается меня, всякий человек, сильно уверенный в своей правоте, сразу пробуждает у меня сомнения. Такое отношение типично для очень религиозного человека или для особо ревностного коммуниста. Думаю, ничего тут удивительного нет. Просто я более критически на все смотрю. Поэтому в поколении «верящих» я безусловно неверящий. Однако это единственный подход, оставшийся на долю поэта сегодня. Взять к примеру пророков... При этом я со всей отчетливостью заявляю, что я далеко не пророк (*улыбается*)... Сначала закралось сомнение, возникло подозрительное отношение к девизам, вождям, потом, по мере роста подозрительности, возникло разочарование, и это только усугубило ситуацию. Но одно я хочу прояснить: это не «анти» во что бы то ни стало; это критика по требованию совести, которая обязана руководить любым художником»<sup>17</sup>.

Поэтому, должно быть, он и в политике последнего трудного для страны периода характеризовал себя как «разумный левый»: он говорил, что не желает, чтобы арабы его любили, как и не испытывает потребности любить или ненавидеть их. Он не хотел жить с ними в одной стране, был готов чем-то поступиться, чтобы на оставшемся пространстве чувствовать себя полновластным хозяином. Возможно ли это? И было ли возможно тогда, когда он это говорил, то есть после убийства Рабина, которого любил еще со времен военной молодости? Никто из газетных интервьюеров этого вопроса ему не задал.

...Два последние года поэт боролся с болезнью. Около года назад Натан Зах объявил в печати, что кандидатура Иегуды Амихая рассматривается Нобелевским комитетом и, наверное, почетный приз присудят ему. Он говорил об этом и после смерти поэта. Если учесть, что одним из критериев жюри Нобелевской премии по литературе является число переводов автора на иностранные языки, это кажется весьма вероятным: изданная в 1994 году библиография переводов Амихая составила солидный том.

<sup>17</sup> Интервью Якову Бесеру (см. примечание 5).

«Амихай умер – и осталась большая, неметафорическая пустота. Не только у Западной Стены ивритской литературы, но и в сердцах ее почитателей: девушки, купившей его книгу для своего возлюбленного. Отца, читавшего по ней над могилой сына. Солдата, который хранил ее под пуленепробиваемым жилетом. Путешественника, захватившего ее с собою на Дальний Восток. Женщины, почитавшей ее перед сном. Влюбленного, вписавшего ее строчки в свое письмо. Поэта, который учился по ней образности... Он никогда не наставлял, не выдавал себя за провидца и пророка. Но здесь и ныне – в этой стране, за независимость которой он сражался, в городе Иерусалиме, в котором он жил и о котором писал, – утрата поэта ощущается острее и больнее во сто крат»<sup>18</sup>.

Уместно завершить этот прощальный очерк «Траурным объявлением», заранее составленным самим покойным поэтом:

### ТРАУРНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

С глубоким прискорбием и преходящей печалью  
мы сообщаем, что мы всё ещё  
живы. Всё-таки. И даже радуемся.

Безвременно, всечасно,  
в расцвете лет и шёпоте ночей  
мы мир свой обретаем здесь,  
весной нашей жизни и страшным летом,  
жизнью прекрасной  
и ночами одиночества,  
которое огромнее большой любви.

Как тучки небесные  
ночью зимнею порой,  
мчимся мы, гонимы ветрами по земле.  
Не горы, не дома и не людей протянутые руки  
нас остановят. И не камни, выкорчеванные из полей.  
Но с далёким прискорбием и всё удаляющимся мы живы.  
В своем собственном месте. Всё-таки. И даже радуемся.<sup>19</sup>

**Зоя Копельман**

<sup>18</sup> Меир Шалев. «Амихай эйнену» («Амихая не стало»). Газета «Едиот ахаронот», 24.09.2000.

<sup>19</sup> Перевод мой.

*Йона Волах*  
*С КОРЗИНОЮ АМЫХ ЯГОД*

**ПРИДИ**

приди ко мне будь со мною  
надень полицейскую форму  
я мелкий воришка  
ты полицейский громила  
выдай мне  
вытряхни все  
я не герой  
враз расколюсь  
расползусь на куски  
завою  
всех заложу  
плюнь в меня  
выбей мне зубы  
и увези на скорой  
вот таково наше будущее  
вот оно завтра

\* \* \*

не быть частичкой  
быть целым  
не ощущать себя почвой  
овечкой  
некоей частью сущего  
эти картинки  
занозы в памяти  
нетронутость почвы  
папа и мама детишки ягненок  
потом вырастает в овцу  
бе-е-е-е  
всегда я делала что просили  
всегда я считалась чьим-то  
мелким имуществом  
всегда я была деревом  
дающим укрыться в тени  
дарящим свои плоды  
ну хватит

### КЛУБНИКА

приди ко мне, будь со мною  
в черном платье  
в ягодах алых  
в черной шляпе  
в ягодах алых  
с корзиною алых ягод  
по яголке мне продашь  
так тонко напой так сладко  
клубника зови клубника  
кто хочет клубники клубники  
без ничего под платьем  
потом  
взлетишь на воздушных нитях  
наверх на воздушных нитях  
опустишься ягодой алой  
ко мне на стебель ко мне

### ЛЮБОВЬ НЕСБЫВШАЯСЯ

В сердце моем открылся,  
светом моим светился,  
властвовал – не гордился,  
смутой моей томился,  
сердцу простил – простился,  
памятью не размылся,  
болью не излечился,  
горечи не учился,  
все потерять решился,  
радости не лишился,  
тенью не схоронился,  
весь во мне сохранился.

### МЯГКОЕ СЕРДЦЕ

о сердце мягкое как тело в смертный миг  
а жизнь черства как замершее тело  
в посмертный час  
последний опыт йоги тела  
и медитации последней пустота  
последняя  
а после очерствеет тело словно жизнь  
сплошное разочарованье

**ЛОЛА**

может сейчас ты лола вершишь желанье  
может уже поймала чего хотела  
или по-прежнему хочешь того что хочешь  
или – свершилось и что отныне с тобою

или – иного жаждешь лола мелькают  
годы множество лет и твой голос лола  
тот ли желает голос твоим остался  
так ли и нынче желанна лола как прежде

молодость лола что память дрожит и тает  
бусинки-рифмы в длину растянувшись шепчут  
что ты оденешь лола в тот день в который

ты никнешь к источнику времени изменяя  
сглотив, пролепечешь радость от мига к мигу  
в извечном желании тонешь в себе-младенце

**ЧЕЛОВЕК, БЕСПОЩАДНЫЙ К СЕБЕ**

человек беспощаден к себе  
человек говорит вот если бы  
и падает в черную пустоту

почему ничего не произошло  
а причина всегда отыщется  
он доволен сыт  
если б что стряслось  
что-то жуткое  
что просил

ну не случилось и чудненько  
славный парень он  
жаждет славного  
и со мной играет во все подряд  
ну пожалуйста  
поиграй в любые игры со мной  
запретные  
замути со мною источники  
чистых вод  
сглоти со мной жизни сладкую пеночку  
вдоль смерти в чью пропасть рухнуло прошлое

*Перевела с иврита Ольга Рогачева*

*Владимир Фромер*

## *ПОЭЗИЯ КАК ФОРМА ЖИЗНИ*

К тому времени, когда меня с Йоной ненадолго связала странная дружба, о ней уже ходили легенды. Она успела все испытать, все изведать. И при всем том было в ней нечто такое, из-за чего вся скверна мира не могла запачкать ее.

Как-то я ей сказал:

– Ты живешь на пределе чувств, потому что твоя жизнь определяет твою поэзию.

– Ты ошибаешься, – последовал ответ. – Это поэзия определяет всю мою жизнь...

Тель-авивская богема семидесятых годов старалась подражать ей в стиле жизни. Йона же не следовала моде, а создавала ее.

Тема расколотости мира – стержень ее поэзии. Йона ведет непрерывный диалог со своим внутренним «я». Ее стихи с рваными краями, с ритмическими перебоями, с нарочито усложненной ассоциативностью, тревожат душу. У стихов тоже есть душа, и это душа их автора.

Йона однажды вскользь упомянула о страхе, который она испытывает перед чистым листом бумаги. Многие писатели и поэты это понимают. Когда человек пишет прозу или стихи – он знает, что никаких оправданий быть не может. Для него это, прежде всего, личный экзамен. Выигрыш или проигрыш. Можно, конечно, тешить себя самообманом, но третьего не дано.

Йона же считала, что она всегда выигрывает. И была права. Потому что для Йоны ставкой в этой «игре в бисер» была ее жизнь, неотделимая от ее поэзии.

Проиграла она только один раз – но такому противнику, которому мы все проигрываем в конечном итоге. Рано или поздно.

\* \* \*

Познакомились мы осенью 1965 года, вскоре после того, как я приехал в Иерусалим, отлично сознавая, что уже не покину этот город. Цепь случайностей, определяющих человеческую судьбу, сложилась для меня так, что мне некуда было возвращаться. У меня не было никаких иллюзий. Я был человеком свободным во всех смыслах, с какими-то смутными надеждами на что-то невыразимое.

Я еще не знал тогда, что большинство людей становятся пленниками собственной жизни после того, как окончательно определяется их судьба, превращая существование в не всегда удобное сочетание монотонных привычек. Люди подчиняются

им, как узник тюремному распорядку, и смиряются с крушением своих надежд, как смиряются с кончиной родных и близких.

Помню похожее на боль разочарование, охватившее меня, когда я впервые сошел с автобуса на иерусалимскую землю. Воздух густой, тяжелый. Низкие одноэтажные и двухэтажные облезлые домики на центральной улице Яффо, которым явно не придавали очарования покосившиеся ставни, покрытые грязно-бурой потрескавшейся краской. Было обидно, оттого что город оказался таким тусклым. Даже солнечный блеск не веселил душу.

Прошло немного времени – и я уже с удивлением вспоминал свое первое впечатление.

Медленно, неотвратимо попадаешь под очарование Иерусалима. Этот город не покоряет, а заколдовывает, и в какой-то момент начинаешь понимать, что он – единственно возможная реальность, что все, что ты когда-то знал и любил, осталось в ином измерении.

Многэтажных домов в Иерусалиме тридцатипятилетней давности почти не было. Кнессет еще не имел тогда собственного здания, и избранники нации собирались в заурядном особняке на улице Кинг-Джордж. Их можно было увидеть в кафе «Атара», где они коротали время в перерывах между заседаниями.

«Атара» была излюбленным местом встреч ветеранов Пальмаха, Их беззаветные характеры, идеологический героизм и мечты о счастливом общественном устройстве остались не востребованными в Израиле шестидесятых годов. В кафе они просиживали часами, ругая перерожденцев, – своих вчерашних товарищей, пристроившихся к государственному пирогу.

Однажды я видел, как из «Атары» вышли Даян с Вейцманом. Даян, находившийся тогда в оппозиции, что-то доказывал, взмахивая рукой. Вейцман, в ладно сидевшей на нем форме командующего ВВС, красивый, еще молодой, небрежно слушал с неизменной своей иронической улыбкой на тонких губах. Меня поразило, что никто не обращал на них внимания.

В кафе «Таамон», напротив старого Кнессета, собирались левые радикалы из движения «Мацпен». По сравнению с ними, члены нынешнего «Мереца» выглядят безобидными травоядными, резвящимися на государственной ниве. «Мацпен» выступал за превращение Израиля в палестинское государство с сохранением за евреями некоторых гражданских прав. Активисты «Мацпена», в основном, студенты, остро жалели «угнетаемых» арабов, словно предчувствуя, что тех ожидает в Шестидневную войну.

«Таамон» существует и сегодня, но он давно уже превратился в символ однополой любви. В этом кафе назначают друг другу свидания педерасты.

Времена меняются...

Самые же мои приятные воспоминания связаны с кафе «Ориент», находившимся на стыке улиц Кинг-Джордж и Гистадрут. Теперь там салон парфюмерной фирмы.

«Ориент» представлял собой огромный холл, разделенный деревянной перегородкой на два помещения. В первом находилась столовая, – в вечерние и ночные часы превращавшаяся в бар. Прелесть «Ориента» заключалась еще и в том, что он работал круглосуточно. Днем там ели. Ночью пили. В столовой всегда можно было получить за вполне доступную цену горячую похлебку и сносное жаркое. Клиентами столовой были бедные студенты и деклассированные элементы, воспринимавшие хроническое свое безденежье как самое весомое доказательство несовершенства мироздания. Еще одной достопримечательностью «Ориента» считались филантропические наклонности его хозяина. На столы ставился нарезанный хлеб, и тот, у кого не было денег на обед, мог, взяв стакан чая, уминать его сколько душе угодно, стыдливо прикрывшись газетой.

Мне самому приходилась пользоваться газетой для этой цели. Хлеб был свежий и вкусный.

Во втором помещении играли в шахматы. Иногда на деньги.

Я там как-то заработал несколько лир, с трудом выиграв партию у толстяка апоплексического вида, хорошо чувствовавшего позицию, но совсем не сведущего в теории. Вечером мы с Йоной собирались в бар, и нужны были деньги.

В те времена духовная жизнь в Иерусалиме пульсировала в вечерние и ночные часы в многочисленных кафе и барах. У поэтов были свои любимые места, у художников – свои. Все они знали, где могут встретить друг друга. В барах вспыхивали дискуссии, читались стихи и даже ставились спектакли. Наркотиками тогда не злоупотребляли, но пили много. Чуть сладковатый запах дешевого алкоголя витал в каждом значном месте. Рюмка «Экстра-файна» обостряла чувства и придавала сердечность даже политическим дискуссиям.

В одну из пятниц мы с Йоной начали пить в «Бахусе», похожем на глубокий красный колодец, продолжили в «Сарамелле», хозяином которой был легендарный грузин с репутацией не то героя, не то головореза, и закончили в «Ориенте» – уже под утро. Потом пошли в «Имку» – слушать, как величественно вздыхают и опадают звуки органа.

Вся эта жизнь клубилась в самом центре города, в пяти минутах ходьбы от границы. Живое тело Иерусалима было разрезано колючей проволокой, разделено наспех сооруженной уродливой стеной и нейтральной полосой, где не давали забыть о разрушении и гибели остовы нескольких разбитых домов с пустыми глазницами.

Дальше шла зубчатая стена Старого города, оцетинившаяся пулеметными гнездами.

А за ней слепило глаза золотисто-лимонное сияние Храмовой горы с двумя назойливо-величественными мечетями, возвышающимися над нашей национальной святыней.

Нам казалось, что настоящий Иерусалим был там, куда нас не пускали. Еврейские кварталы ютились вокруг него, как бедные родственники...



Иногда без всякой видимой причины легионеры открывали пальбу. Пулеметные очереди бичом щелкали по улице Яффо, по еврейским домам, расположенным вдоль нейтральной полосы. Люди разбегались, прятались по подворотням, а когда стрельба обрывалась, как ни в чем не бывало шли по своим делам.

Но такое бывало редко. У маленького Израиля были острые зубы, и он знал, как себя защищать. В то время мы еще были страной фермеров и воинов, не ведавшей страха, не знавшей поражений.

Времена меняются.

\* \* \*

Первую свою ночь в Иерусалиме я провел в университете, в каком-то клиновидном разломе между двумя скалистыми глыбами у здания библиотеки — и основательно продрог. Нужно было позаботиться о крыше над головой. Был у меня адрес дальних родственников, но идти к ним не хотелось. Оставив на потом свои заботы, я пошел в читальный зал, где можно было полистать журналы и свежие газеты.

Парень, сидевший напротив входа, читал польский эмигрантский журнал «Культура», интересовавший и меня.

Недостаток мест такого рода заключается в том, что в них нельзя курить, и вскоре мы оба оказались в холле, где я и познакомился с Янеком, — светловолосым молодым человеком с надменным лицом и крупным, похожим на клюв, носом. Он приехал из Польши за два года до меня, повинувшись неожиданному внутреннему импульсу, и остался здесь, хоть и относился к Израиллю с высокомерно-снисходительным равнодушием.

— Я не мог жить в абсурдном мире рабов, лакеев и растлителей душ, — обронил он как-то. — Лучше уж иметь дело с евреями.

Но это была не вся правда. Что-то случилось с ним там, в Польше, резцом прошлось по душе, оборвало стремительную порывистость его натуры. Иногда на него накатывало. Светлые глаза становились совсем пустыми, он замирал, словно его отключало невидимое реле, но почти сразу же встряхивал головой и улыбался, как бы прося прощения за то, что отлучился по не терпящему отлагательства делу.

— В твоей жизни было что-то, о чем ты хотел бы забыть? — спросил я как-то за бутылкой. Он сказал, что человек может сколько угодно сожалеть о содеянном, но будущего, порожденно-го всего лишь одним неверным поступком, изменить нельзя. И больше никогда не говорил об этом.

Янек разбирался в философии и истории, был неплохим полемистом, любителем марочных вин и женщин. Я ценил его дар почти женской прозрачности восприятия, придававший беседам с ним оттенок странной непринужденности, похожей на легкое опьянение. Он изучал психологию и социологию, но дальше первого семестра не пошел, ибо не мог довести до конца ни одного дела, требующего продолжительной умственной сосредоточенности и известной последовательности усилий.

Потом между нами пробежала черная кошка, и, когда через несколько лет я встретил его все в том же университете, тень досады мелькнула по его лицу, и он отвернулся. У меня это не вызвало сожаления, потому что к тому времени он для меня как будто бы умер, хотя был жив-здоров и бродил где-то рядом.

В день же нашего знакомства он, узнав, что мне негде жить, усмехнулся: «Тебе повезло».

Выяснилось, что у него сумасшедший роман со студенткой, которой состоятельные родители купили двухкомнатную квартиру в Иерусалиме. Янек переехал к ней, но свою комнату в Нотр-Даме (он пояснил, что это нечто среднее между гостиницей и общежитием) на всякий случай оставил за собой.

– Ты можешь там жить до тех пор, пока Ирис не пошлет меня к такой-то матери, – предложил он, и я с радостью согласился. Когда через полгода Ирис послала его, как он и предполагал, – меня в Нотр-Даме уже не было.

В комнате Янека я прожил месяцев пять, отдав должное его хорошо подобранной польской библиотеке, где обнаружил Казанову и маркиза Де Сада, что позволило мне существенно пополнить свое образование, – правда, всего лишь в одной специфической области. Гораздо существеннее, что я нашел на его тумбочке изданный в Париже томик израильских рассказов Марека Хласко. О нем я слышал от своих польских друзей в Варшаве. О нем, пряча глаза, рассказывали мне девушки в киббуце Ган-Шмуэль, которых он щедро одаривал своей благосклонностью, пока его не выгнали за беспробудное пьянство и моральное разложение.

В Польше он был запрещен еще до своей вынужденной эмиграции, и в Нотр-Даме я прочитал его впервые.

Он сам тяготился своим жестоким талантом, всюду превращавшим его в прокаженного. Нигде не находилось лепрозория по его мерке. Он добровольно ушел на самое дно жизни, чтобы дышать запахом гнили, упадка, разложения. Он постиг и описал безмерность человеческого отчаяния, бессилие любви, тщетность надежды. Но, странное дело, его рассказы не оставляют ощущения безысходности.

Почему? Я не знаю. Таково уж свойство его дарования.

В Израиль он приехал в шестидесятые годы по приглашению газеты «Маарив». Ему обещали оплатить расходы на дорогу и гостиницу, посулили высокие гонорары за серию репортажей. В результате – обманули, не заплатили ни копейки. Несколько рассказов Хласко на израильскую тему «Маарив» все же напечатал, прежде чем выставил за дверь писателя-отщепенца.

И он застрял на несколько лет в Израиле – дервиш, лишенный родины и крова, обнищавший пропойца, до костей изглоданный тоской, которая хуже смерти.

Он написал об Израиле книгу рассказов, но у нас ее не любят, потому что в галерее созданных им образов нет сионистов-гуманистов. Его герои – бродяги, проститутки, опустившиеся, погибшие люди.

– Такого Израиля не существует, – говорили ему.

Разрешения на работу у него не было, и он умирал с голоду, пока, наконец, не устроился на стекольный завод под чужой фамилией, выдав себя за еврея.

А дальше произошло нечто, описанное самим Хласко в его автобиографической книге «Красивые, двадцатилетние».

И я позволю себе привести из этой книги небольшой отрывок, потому что, на мой взгляд, лучше этого польского изгоя об Израиле не написал никто:

*«Через несколько месяцев я нашел работу получше и пришел на завод, чтобы дружески со всеми попрощаться. К моему удивлению, один из бывших коллег отказался пожать мне руку.*

*– Почему?*

*– Потому что ты шейгец, а не Йорам Бухбиндер-Пресс.*

*– У тебя было полгода времени, – сказал я. – Почему ты не заявил в полицию?*

*– Потому что когда ты сюда пришел, я знал, что ты голодаешь и ищешь работу. Не подам я тебе руки, не жди. Будь проклят твой народ, и ты сам, и твоя земля.*

Так себя ведут в Израиле евреи, которые две тысячи лет скитались по свету, которых били, мучили, унижали, прогнали через все тюрьмы и лагеря мира. Государство Израиль образовалось в тысяча девятьсот сорок восьмом году. Во время боев за Иерусалим солдат, нарушивших дисциплину, наказывали только одним способом: на какое-то время убирали с передовой, и это была самая страшная кара для еврея, который сотни лет служил объектом насмешек и издевательств. Евреи умели воевать, и если подставлялись под пули, то лишь потому, что никогда не забывали, входя в дом, произносить: «Слушай, Израиль. Господь Бог наш – Господь единый, и земля у нас одна». И они обрели свою землю; и, если Бог и милосердие действительно существуют, никогда ее не потеряют. Каждый истинно верующий человек должен носить на груди вместе с крестом звезду Давида, пока не будет уничтожен последний антисемит и пока его тело не обратится в прах, который со стыдом примет многострадальная земля».

Марек Хласко умер в 1969 году в Соединенных Штатах от передозировки наркотика, не дожив до тридцати пяти.

Йона, прочитавшая в «Маариве» один из его рассказов, сказала, что прозу следует писать именно так: с отрешенностью врача, составляющего историю болезни.

\* \* \*

Оба города – еврейский и арабский – жили своей жизнью по обе стороны разделявшей их стены. Нотр-Дам – старый монастырь, построенный в середине девятнадцатого века для приема паломников, – корабельным бушпритом слегка выдвигаясь вперед, примыкал к разделявшему Иерусалим шву.

Этот дом-крепость из заложенных на века камней прикрывает путь к самому центру еврейского Иерусалима, господствуя одновременно над ключевыми кварталами Старого города.

В Войну за Независимость legionеры штурмовали Нотр-Дам десять раз. Отборные бойцы Джона Глабба, получившие приказ взять еврейскую твердыню любой ценой, проявили и отвагу, и волю к победе. Но они столкнулись с волей, превышающей их собственную.

И все же группа legionеров прорвалась в монастырский сад и сошлась врукопашную с его защитниками. Расстрелявшие патроны евреи дрались ножами, зубами, всем, что было под рукой. Они отбили и эту атаку.

Защитники Нотр-Дама были ветеранами Хаганы, людьми самых мирных профессий. Многие из них принадлежали к так называемой творческой элите. Перед рукопашной они прятали в карманы очки – не так-то легко было раздобыть новые. Командовал этим гарнизоном «очкариков» профессор Боденхаймер, декан Иерусалимского университета, – причем не военной кафедры, каковой вообще не было, а факультета зоологии.

Батальон Глабба, штурмовавший Нотр-Дам, потерял половину солдат и почти всех офицеров, так ничего и не добившись. Глабб понял, что не имеющий резервов легион больше не может позволить себе таких потерь. Северный Иерусалим остался за евреями.

Один из командиров легиона вспоминал позднее: «Мои люди дрались, как герои, но евреи сражались с доблестью, превышающей человеческие возможности»...

Война изменила облик Нотр-Дама. Левое его крыло было разрушено. О паломниках пришлось забыть, и семьдесят уцелевших келий превратились в дешевые гостиничные номера. Железная кровать, двустворчатый шкаф, умывальник, общий туалет в коридоре – все это вполне устраивало нашедших здесь приют людей свободных, одиноких, временно или навсегда уставших от тягот жизни. У многих из них не осталось ничего, кроме дорогих воспоминаний, исчезающих обычно только вместе с человеком.

На крыше, у каменной статуи девы Марии, скорбно глядящей в ту сторону, где когда-то вели на Голгофу ее сына, за бруствером из наполненных землей мешков сидели у ручных пулеметов наши солдаты, не обращая внимания на туристов, поднимавшихся сюда, чтобы полюбоваться восходящим солнцем, заливавшим Храмовую гору трепетным маревом.

Ветер доносил оттуда слабый запах пряностей, гортанные крики погонщиков мулов и отрывистые голоса legionеров.

А в час закатного великолепия в воздухе над Храмовой горой появлялось нежное мерцание, какого нет больше нигде на земле.

Память вспышкой магния способна озарить самые темные ниши в том укромном месте души, где хранятся наши воспоминания. И тогда вдруг наплывают из прошлого, вновь обретая реальные очертания, смутные, давно исчезнувшие тени. Существуют ли они где-нибудь еще, кроме моей памяти?

Прямо надо мной жила старая женщина, потерявшая в Катастрофе мужа и двоих детей, убитых на ее глазах. Спасительная пелена безумия позволяла ей хоть как-то существовать, но иногда по ночам оживало ее сердце, окаменевшее от тоски по утраченным детям. Вздыхался вдруг пронизанный страданием вопль, бился о стены Нотр-Дама, вырывался наружу. Пару раз не понимавшие, в чем дело, легионеры открывали пальбу – потом привыкли.

На третьем этаже, в самом конце коридора, жила старая римская матрона, работавшая в больнице для прокаженных, – про нее говорили, что она двоюродная сестра Модильяни. Ее компаньон – рыжевато-бурый кот-дуэлянт с выцарапанным глазом – всюду сопровождал свою госпожу, почтительно отставая от нее на один шаг. Время от времени матрона исчезала куда-то, и Йо-на предложила однажды проникнуть в ее номер, чтобы полюбоваться рисунками знаменитого художника. Считалось, что она держит их в большом коричневом сундуке, занимавшем чуть ли не половину номера. Не помню уже, почему мы так и не осуществили эту идею.

Юная марокканка, сбежавшая из дому из-за деспотизма отца и занявшаяся проституцией, жила, как и я, на втором этаже. Круг ее клиентуры не отличался особым шиком – шофера, грузчики, арабы, пожилые люди, искавшие запретных удовольствий.

Сталкиваясь в коридоре, мы даже не здоровались, но однажды я встретил ее в ночном баре, и она под села к моему столику, торопливо сказав: «Не угощай, не надо. Ты ведь бедный студент».

Выяснилось, что она мечтает прикопить денег, уехать туда, где ее никто не знает, и выйти замуж.

Потом ее кто-то позвал, и она ушла дразнящей походкой, слегка раскачиваясь, словно под ногами у нее была корабельная палуба.

На первом этаже жил неопределенного возраста нищий музыкант. У него были воспаленные глаза – по-видимому, от алкоголя и бессонницы, грязноватая щетина на щеках. Он ни с кем не разговаривал, ибо для таких людей слова теряют всякий смысл, как и все относящееся к покинутому ими миру. Его имущество состояло из скрипки в потертом футляре. Каждое утро в неизменном черном костюме, не утратившем очертаний, свойственных этому виду одежды, в чистой белой рубашке, появлялся он на улице Бен-Иегуда, всегда на одном и том же месте, аккуратно ставил у ног шляпу, доставал скрипку и играл одну и ту же мелодию, по-видимому, собственного сочинения. Невыразимого страдания были полны извлекаемые им звуки. Ему щедро подавали, но однажды из подъезда выбежала молодая женщина и сказала:

– Вы играете под моими окнами. Больше я этого не могу вынести. Пожалуйста, уйдите куда-нибудь, или я покончу с собой.

– Хорошо, мадам, – ответил он и ушел, как всегда небритый и спокойный.

Напротив меня жил Азиз – араб из Галилеи, студент, как и я, посещавший лекции профессора Тальмона. Характер у него был ровный, общительный, и мне нравилось с ним беседовать.

Когда мне в руки попало старое русское издание Корана в переводе Саблукова, я спросил его:

– Азиз, как объяснить противоречия в вашей священной книге? Мухаммед, например, одновременно призывал и к священной войне против неверных, и к веротерпимости.

Он усмехнулся:

– Мухаммед был не только пророком, но и поэтом. Тебе этого не понять, потому что в переводах исчезают аромат и божественное свечение его слов. Несмотря на кажущиеся противоречия, Корану присуща внутренняя цельность. Что же касается твоего вопроса, то тут вообще нет никакого противоречия, ибо цель джихада заключается не в насильственном обращении неверных в ислам, а в том, чтобы заставить их покориться исламу.

В другой раз он сказал: «Вы никогда не укоренитесь здесь, если не отвернетесь от Запада и не научитесь понимать Восток. Мудрость Востока – это фатализм и терпение. Мы умеем ждать».

Когда после Шестидневной войны я встретил Азиза в университетском кафетерии, он был угрюм и мрачен.

– Вы встали на путь экспансии – и погибнете, – предупредил он, прежде чем мы расстались навсегда.

Комната Йоны находилась на третьем этаже.

\* \* \*

Было около двух часов ночи. Я лежал на кровати и лениво перелистывал Коран, тщетно пытаюсь уловить то самое свечение слов, о котором мне толковал Азиз.

В дверь постучали.

– Открыто, – сказал я удивившись, ибо никого не ждал.

Вошла девушка, которой я никогда раньше не видел, и спросила:

– У тебя есть сигареты и кофе?

Уже не удивляясь, я заварил кофе, и мы, протрепавшись до рассветных часов, расстались, испытывая друг к другу особый род симпатии, основанный на почти интимном доверии, что крайне редко бывает даже после гораздо более продолжительного общения.

Йоне шел тогда двадцать первый год. Черные волосы свободно спадали на шею и плечи, прикрывая часть лица. Темные спокойные глаза хранили обманчивое выражение мечтательной наивности. Она не была красавицей, хотя временами казалась очень красивой, но ее жесты, слова, голос, обладали непонятным очарованием, вдребезги разбивавшим любую предвзятость или антипатию. Возможно, это объяснялось тем, что даже мимолетный контакт с Йоной означал соприкосновение с притягательным миром высокого эмоционального и духовного накала.

Для меня же все стало на свои места уже в нашу первую встречу, когда Йона сказала, что пишет стихи, – «лучше которых не бывает».

Я сразу понял, что судьба свела меня не с версификатором, усвоившим чужую тональность, чужую образность и непроизвольно выдающим их за свои, а с поэтом высшей пробы. Поэзия это ведь не род занятий, а мироощущение. Йона была бы поэтом, даже если бы не написала ни единой строчки. Она принадлежала к тем немногим, кому дано выразить, запечатлеть, а затем и приобщить нас с вами к тому, что Мандельштам называл «шумом времени». Все мы живем во временных вихрях, уносящих неизвестно куда. Вектор каждого из нас пересекается с осью мироздания. Но у поэта этот вектор находится под иным углом, что позволяет ему увидеть обыденные вещи в ином ракурсе, и даже ощутить и запечатлеть нечто призрачное, неуловимое, скрытое от нас. Эта особенность часто является причиной отчуждения поэта от реалий повседневной жизни и заставляет его вырабатывать свое специфическое отношение к ним.

Йона понимала жизнь как гармоничное сочетание высокого и низменного. Высокое она воспринимала как данность – в этой сфере у нее не было никакой ущербности, – а низменное постигала эмпирическим путем.

– Запреты, – говорила она, – накладываются людьми из страха и лицемерия. Человек может и должен распоряжаться своей жизнью, как пожелает. Это его право.

Своим правом Йона пользовалась очень широко. Она погружалась в сомнамбулический мир алкоголя и наркотиков, участвовала в оргиях, крутила роман с лесбиянкой и даже побывала в сумасшедшем доме, хотя ее психическая неуравновешенность была всего лишь следствием остроты чувственного восприятия.

Говорят, что если женщина любит, то она не изменяет. Это неверно. Изменяет, не переставая при этом любить. Непреодолимая женская натура заставляет ее надкусить запретный плод, чтобы сразу выбросить его и вернуться в лоно добродетели как ни в чем не бывало.

Йона, надкусившая чуть ли не все запретные плоды, сумела, тем не менее, остаться сама собой, не претерпев ни малейшего ущерба.

А любила она по-настоящему только свои стихи.

Как-то забежав к ней на традиционную уже утреннюю чашку кофе, я застал ее в расстроенных чувствах.

– Знаешь, – сказала она, – ночью мне приснились стихи необычайной красоты. Проснувшись, я их забыла.

– Ты должна научиться писать во сне, – предложил я серьезно.

Вечером она потащила меня на прогулку в Меа-Шеарим.

В черных своих одеждах, как в доспехах, надежно ограждающих от скверны жизни, спешили куда-то евреи, не признающие еврейского государства, созданного руками безбожников.

Йона была в облегающих джинсах и пестрой кофточке. Некоторые из обитателей квартала бросали на нее взгляды, заставлявшие усомниться в их нравственности.

– Они воплощают наше благословенное и проклятое наследство, за которое приходится из поколения в поколение платить страданиями и кровью, – задумчиво сказала Йона.

– Но если бы не они, то, скорее всего, и нас бы сегодня не было, – заметил я.

– Ты имеешь в виду евреев?

– Именно.

– Не думаю, чтобы мир очень уж об этом сожалел, в особенности, арабы, – засмеялась Йона.

– По-моему, не следует говорить такие вещи после Гитлера.

– Говорить можно все, – припечатала Йона этот диалог.

Потом мы были у нее. Нашлось полбутылки красного теплого вина, и она до рассвета читала мне стихи медленным своим чуть хрипловатым голосом. Я, обалдевший от алкоголя и впечатлений, почти не улавливал их порывистой музыки, но знал, что они прекрасны.

\* \* \*

Журналист Игаль Сарна написал о жизни Йоны Волах целую книгу, в которой проследил ее путь от пеленок до мучительной смерти. Фундаментальная эта биография, насыщенная фактами и деталями, еще долго будет вызывать вполне оправданный интерес. Дни своей героини Сарна расписывает чуть ли не по часам. Мы многое узнаем о ее поисках, метаниях, любовных увлечениях, пристрастиях и антипатиях. Мы видим Йону в быту и в сумасшедшем доме. Мы получаем представление о ее характере, темпераменте, личных и литературных делах. Но поэта, улавливающего «шум времени», всегда и при любых обстоятельствах чувствующего его ритмическую пульсацию, – в книге Сарны нет. Причина ясна. Сам он этого шума не чувствовал и даже не догадывался о его существовании.

Целых две главы в своей книге уделил Сарна пребыванию Йоны в Нотр-Даме. Пользуюсь случаем, чтобы исправить неточности его изложения, касающиеся меня лично. Сарна пишет, что я, добиваясь благосклонности Йоны, читал ей стихи Пастернака.

На самом деле было иначе.

Однажды Йона взяла меня с собой в гости к англоязычному поэту, жившему в экзотической мансарде в Эйн-Кереме. Я попытался увильнуть, ибо не любил появляться в незнакомых компаниях, где кто-нибудь обязательно спросит: «Неужели в Советском Союзе плохо относятся к евреям?»

Но одна из особенностей Йоны заключалась в том, что любая ее просьба исполнялась. Почему-то никому и в голову не приходило ответить ей отказом.



Вечер у поэта незаметно перешел в кутеж. Пили все тот же «Экстра-файн». Читали стихи. Кто-то бренчал на гитаре. У всех этих людей было то, чего не было у меня. Язык, корни, ощущение причастности ко всему, что нас окружало.

– А теперь послушаем русские стихи, – сказала вдруг Йона.

Делать было нечего. Я встал и прочел пастернаковское стихотворение из цикла «Разрыв». Полупьяные мальчики и девочки слушали музыку чужих слов с напряженным вниманием. Каким-то чутьем они поняли, что из всех прозвучавших здесь стихов эти – самые лучшие.

– Повтори последнюю строфу, – попросила Йона.

Я послушно прочитал:

*Я не держу. Иди, благотвори.  
Ступай к другим. Уже написан Вертер.  
А в наши дни и воздух пахнет смертью.  
Открыть окно, что жилы отворить.*

– Переведи!

Я попытался.

– Окно и жилы – какая точная ассоциация, – сказала Йона. Ты говоришь Пастернак? Я запомню.

Сарна пишет также, что однажды двое «русских» – Владимир и Алексис, – как два самца, сцепились в коридоре за право войти в комнату к нежной девушке Йоне.

И это я оставляю на его совести.

Алексис был наивным мечтательным мальчиком из семьи выходцев из Бухареста. По какой-то прихоти Йона обратила на него мимолетное внимание, после чего ей не стало покоя. До того дошло, что она выносить не могла его по-собачьи преданных глаз. Когда же он предложил ей отправиться вместе с ним в Южный Вьетнам, чтобы сражаться на стороне Вьетконга, она послала его подальше. Однажды вечером, когда я был у Йоны, он ввалился пьяный, стал провоцировать ссору. Я вывел его в коридор, где он попытался меня ударить. Потом заплакал – горько, безутешно. Пришлось увести Алексиса в его номер и уложить спать. На следующий день он исчез из Нотр-Дама, и больше я его никогда не видел.

\* \* \*

Вечерние прогулки Йоны по Иерусалиму почти всегда приводили ее в Тальбие, где на небольшом расстоянии друг от друга высятся каменные стены, отделяющие от мира жизни два островка скорби и страдания: дом умалишенных и лепрозорий. Свое пребывание в сумасшедшем доме Йона вспоминала почти с нежностью, расценивала как великолепное романтическое приключение. К обители же прокаженных относилась со страхом, в

котором было, однако, нечто притягательное. Ей хотелось побывать и там, но так, чтобы не заразиться страшной болезнью.

— Это желание исчезло, как только я представила язвы и рубцы на своем теле, гнилой рот, вывороченные веки, потерю голоса и зрения. Нет уж! Моя готовность рисковать собой так далеко не простирается, — сказала Йона, когда мы впервые подошли к этому месту.

— В средние века, — заметил я, — прокаженных вели в церковь, клали на катафалк, покрывали черным саваном, на грудь насыпали немного земли — в знак символических похорон, и лишь после этого отправляли в лепрозорий.

— Они и есть живые мертвецы, — подытожила Йона, и, резко повернувшись, пошла прочь.

Больше на эту тему мы не говорили. Зато о своем пребывании в сумасшедшем доме она рассказывала много и охотно.

— Понимаешь, в какой-то момент я вдруг поняла, что у меня крыша поехала. Бессонница. Бред. Галлюцинации. Мания преследования. Сумеречное состояние души, — рассказывала Йона, щеголяя знанием психиатрической терминологии. — К тому же, я хорошо чувствовала себя только в окружении психов. Все положительное, нормальное, вызывало тошнотворное чувство. Соседи называли меня «психованной дочкой Эстер». И вот, получая освобождение от армии из-за душевного своего дискомфорта, я, неожиданно для себя, попросила направление в Тальбие, какое и было мне выдано с неприличной даже поспешностью.

— Еще Платон изгнал поэтов из своего идеального государства, поскольку считал, что они склонны предаваться безумным и вредным фантазиям, — сказал я, и Йона, к тому времени Платона еще не одолевшая, его идею одобрила. Она тоже считала, что поэт не может быть полезным членом общества в общепринятом понимании.

В Тальбие Йону принял заведующий отделением доктор Марсель Ахшель — человек, так и не нашедший применения своим жизненным силам и тяготящийся их нестерпимой полнотой. Он считал, что взрыв безумия не уничтожает душу, а открывает перед ней новые перспективы, которыми люди пока не научились пользоваться. Творческий акт возможен лишь в состоянии разрушительного для устоявшейся структуры души экстаза, — говорил доктор Ахшель, и предпочитал безумцев с творческим потенциалом душевно здоровым бездарностям.

Йона, очаровавшая его сразу и бесповоротно, восприняла это как должное, ибо и не такие крепости сдавались при одном ее появлении.

Два часа продолжалась их первая встреча. Ахшель жмурился от удовольствия, слушая обжигающие монологи своей новой пациентки. Он не прописал ей никаких лекарств, ибо совсем не желал подавлять ее способности к самовыражению.

Йона получила отдельную комнату с видом на стену Старого города, чтобы она могла спокойно писать и рисовать, а регулярные беседы с ней стали для скупающего доктора отрадой жизни.

И еще одну привилегию, пожалуй, самую ценную, предоставил своей гостье доктор Ахшель. Она могла уходить и возвращаться, когда пожелает. Доктор не хотел ущемлять ее свободу.

В сумасшедшем доме в Тальбие написала Йона большинство стихов, вошедших позднее в ее первую книгу «Дварим»<sup>1</sup>. Восторженно покачивая головой, подшивал доктор Ахшель все написанное привилегированной пациенткой к истории ее болезни.

Настал день, когда Йона сказала ему:

– Доктор, моя попытка сойти с ума не удалась, и я скоро уйду от вас.

– Не раньше, чем ты попробуешь вот это, – доктор Ахшель раскрыл ладонь, на которой лежала голубоватая пилюля. Отвечая на вопросительный взгляд Йоны, пояснил:

– Это новое лекарство, находящееся пока в экспериментальной стадии. Оно раскрепощает подсознание и позволяет заглянуть в его скрытые глубины. Для людей творческих – вещь неоценимая. Приняв это, ты останешься наедине со своей душой. И знай, что я здесь, в этом кабинете, в любую минуту приду к тебе на помощь в случае необходимости.

Это и было знаменитое ЛСД – пилюля счастья и экстаза, с которой психиатры того времени связывали так и не оправдавшиеся надежды. Доктор Ахшель не знал тогда, что снятие закрывающей подсознание печати не менее опасно, чем освобождение от заклатья железных сосудов, в которые царь Шломо заключил побежденных им демонов.

Йона взяла пилюлю и как-то очень буднично, как таблетку аспирина, проглотила ее.

– Теперь иди к себе, – ласково сказал доктор.

Сначала ничего не происходило. Постепенно начали сгущаться сверкающие красками тени, а за ними за клубился мрак, из которого угрожающе наплывали бесформенные фигуры.

Но тут тихо зазвучала музыка, полная неземного ликования, и они исчезли в расширяющемся пространстве, где, переливаясь всеми цветами радуги, неслись в космический беспредел пульсирующие влажные шары.

Йона вбежала в комнату доктора, распахнула окно – и заплакала.

– Почему ты плачешь? – услышала она далекий голос.

– Потому что это прекрасно.

И вдруг перед собой увидела она гильотину в багровых тонах, от которой отделились и заскользили прямо к ней кривляющиеся тени. Йона побежала в ванную, чтобы спрятаться, открыла за чем-то кран – и испугалась, когда из него потекла кровь.

Она поспешно вернулась в свою комнату, легла на кровать и закрыла глаза. И услышала безумный рев, несшийся из каких-то неведомых адских глубин. С надрывным исступлением зазвучала гигантская труба, и медленным маршем прошли в никуда ше-

---

<sup>1</sup> *Дварим* (иврит) – слова, вещи.

ренги одетых в хаки мертвецов, среди которых промелькнуло лицо ее отца Михаэля.

Она не знала, сколько времени это продолжалось. Доктор Ахшель записал потом все, что она видела и слышала.

Уходя из обители скорби, Йона выпросила у доктора Ахшеля несколько «волшебных» пилюль.

\* \* \*

– Я рассказала тебе все это с корыстной целью, – заметила Йона улыбаясь. – Дело в том, что ЛСД – вещь опасная. В какой-то момент мне показалось, что у меня выросли крылья, и я выбросилась бы из окна, если бы доктор Ахшель не удержал меня. Вот я и хочу, чтобы ты присутствовал при следующем моем эксперименте.

Мне оставалось лишь сказать, что я полностью в ее распоряжении.

Второе погружение в бездны подсознания Йона осуществила в той самой мансарде в Эйн-Кереме, вместе со своей подругой из сумасшедшего дома, крашеной блондинкой бальзаковского возраста. Несколько лет назад имя этой женщины, отравившей жену своего любовника, известного израильского поэта, знала вся страна. Яд, который она подсыпала в тарелку соперницы, был какого-то особого свойства, ибо, несмотря на все усилия, врачи так и не смогли спасти несчастную от мучительной смерти. Факт этот, несомненно, повлиял на судей, приговоривших отравительницу к пожизненному тюремному заключению. Доктор Ахшель добился, однако, перевода этой дамы в свое заведение, где она пользовалась почти такими же привилегиями, как Йона.

Эта женщина, с застывшим в глазах выражением легкого презрения, что вообще казалось необъяснимым, вызывала томительное раздражение и беспокойство. Йоне, ценившей в людях способность радикально решать свои проблемы, – она импонировала.

Сам же эксперимент не произвел на меня особого впечатления – вероятно, потому, что я воспринимал происходящее лишь зрительно, не имея возможности ни понять, ни осмыслить внутреннее переживания его участников. Просто стоял у окна в позе статуи командора и наблюдал.

Йона в какой-то момент бросилась что-то судорожно писать, а блондинка два часа просидела на диване в полной неподвижности с полужакрытыми глазами. На лбу у нее выступили крупные капли пота.

Когда все закончилось, Йона сказала:

– Все. Больше я к этой пакости не прикаснусь. К чему тиранишь душу и без того больную?

К мыслям о смерти Йона возвращалась неоднократно. Связано это, по-видимому, было с ее отцом Михаэлем, погибшим в

Войну за Независимость, когда ей едва исполнилось четыре года. Она его помнила и очень любила.

В памяти возникают обрывки долгого нашего разговора.

Йона говорила, что смерть ждет появления каждой жизни, как свою законную добычу, и готова ждать хоть тысячу лет, ибо у нее в запасе вечность, а у человека нет ничего, кроме иллюзий. Если ее отец перешел грань, отделяющую жизнь от смерти, то и она сможет.

– Есть у меня какое-то предназначение в этом мире. Вот выполняю его – и умру, – упрямо повторяла Йона.

Вместе с тем, ощущение безграничных возможностей жизни редко покидало ее.

Однажды ей приснилось, что стоит она на высокой горе, покрытой цветами удивительной красоты, и составляет из них венки и букеты. Чудесный луг при этом ничуть не меняется, потому что на месте сорванных цветов тут же вырастают новые.

\* \* \*

Отчуждение наше началось после появления в ее жизни Тадеуша – франтоватого студента. Этот «злой мальчик» со вкусом одевался, полировал ногти, носил роговые очки – для солидности, и туфли на толстой подошве, чтобы казаться повыше.

Он считал себя анархистом, презирал Израиль, восхищался Гитлером и называл евреев проказой человечества и квинтэссенцией зла. Познакомились мы в университете, где вместе посещали лекции профессора Тальмона.

Тадеуш был начитан, красноречив, и любил выдавать себя за крутого малого, несмотря на женственную мягкость характера. У меня он вызывал холодное любопытство, ибо до него я не встречал человека с начисто атрофированной нравственной нервной системой. Он был убежден, что бескорыстного добра вообще не бывает, что и у добрых, и у злых поступков один источник – честолюбие и удовольствие.

Способности у Тадеуша были, но фатальная легковесность и безволие обрекали на провал все его начинания.

Родители Тадеуша прибыли из Варшавы в Палестину в тридцатые годы, чтобы совместно с братьями-арабами участвовать в созидании социально справедливого общества.

Тадеуш родился в Тель-Авиве сразу после войны. Когда ребенку не исполнилось еще и двух лет, родители, разочаровавшись в сионистском рабочем движении, вернулись в Польшу, где с энтузиазмом включились в строительство социализма сталинского толка. В 1959 году их, как и многих других коммунистов-евреев, вынудили уехать из гомулковской Польши, и они вновь очутились в Тель-Авиве.

Получилось так, что Тадеуш вырос между двумя мирами, не укоренившись ни в одном из них.

В школе он увлекался музыкой, подавал надежды, но и музыку бросил, ибо не мог заниматься делом, требующим постоянных усилий.

Зато своим длинным, тонким, чувствительным пальцам Тадеуш применение нашел.

— Как анархист, я не признаю частной собственности, — говорил он, и с гордостью называл себя экспроприатором. На практике это выражалось в том, что Тадеуш виртуозно чистил чужие карманы и не брезговал квартирными кражами, которые совершал при помощи особого рода отмычек.

В довершение всего, у этого человека была своеобразная манера самоутверждения. Демонстрируя свою «крутость», он любил бить людей по лицу, и проделывал это обычно в присутствии знакомых девочек, — на улице или в магазине, без всякого повода, мгновенно взвинтив себя до нужного состояния. Жертвами его становились люди кроткие, интеллигентного вида, из тех, что не дают сдачи, а ящерицей ускользают от обидчиков. Таких Тадеуш чувствовал безошибочно. Правда, однажды произошел прокол, и ему вломили так, что он три дня нигде не появлялся из-за распухшей физиономии.

Йона в своей погоне за экстравагантностью неизбежно должна была прийти к пустоте. Уже одно это имя — Тадеуш — очаровало ее. Она видела в нем человека, не вписывающегося в окружающую среду и имеющего поэтому право жить по своим собственным законам.

Тадеуш переселился к ней, и наши утренние randevu за чашкой кофе прекратились. Ей тогда никто не был нужен, кроме него. Встретив меня как-то в коридоре, Йона сообщила, что они скоро поженятся. Мне в это трудно было поверить.

— Думаю, что теперь ты действительно сошла с ума, — сказал я.

Тадеуш, забежавший однажды ко мне за сигаретами, долго говорил о том, как прекрасно они заживут после свадьбы. Его родители купят им дом на лоне природы, где они вместе сократят жизнь, занимаясь искусством и любовью. Парень выглядел ошалевшим от счастья.

А через несколько дней вечером зашла Йона.

— Никакой свадьбы не будет, — сказала она.

— Почему?

— Потому что это не для меня. Я не могу связывать себя, жить с кем-то, заботиться о чужой жизни. Я должна писать. Моя прежняя манера себя исчерпала. Я могу и должна писать лучше и иначе. А с ним я вообще ничего не пишу.

И она, усмехнувшись, добавила:

— Знаешь, какова его самая задушевная мечта? Стать сенатором и разъезжать в черном «кадиллаке».

Я понял, насколько эфемерно счастье Тадеуша, и мне стало его жалко.

Йону же он раздражал все больше и больше, и она уже открыто называла его мелким жуликом с психологией банковского

клерка. К тому же Йона обнаружила, что он роется в ее личных вещах и крадет из ее архива письма и стихи. Произошло то, что должно было произойти.

Йона порвала с Тадеушем, когда до их свадьбы оставались считанные дни, и уехала в Тель-Авив.

Нотр-дамский период в ее жизни кончился.

Тадеуш искал утешения в вине, упивался своим несчастьем. Каждый вечер его можно было встретить в баре.

Однажды в «Сарамелле» к его столику подсел Дан Шомрон, приятель Йоны, с каким-то американцем, путешествующим для собственного удовольствия.

Утешая Тадеуша, много пили, покуривали травку. Уже под утро, когда вся компания была в известном состоянии, Тадеуш потребовал, чтобы его немедленно отвезли в Тель-Авив.

– Я только посмотрю на ее окна, и мы тут же вернемся, – умолял он. Шомрон, добрая душа, согласился, и они отправились на его стареньком «шевроле».

Дан вел машину, Тадеуш сидел рядом, а американец спал на заднем сиденье. На полпути к Тель-Авиву задремавший Дан потерял контроль над управлением. «Шевроле» занесло, и в него врезался шедший сзади черный «кадиллак» похоронной компании «Хевра кадиша». Водитель «кадиллака» вез покойника из Иерусалима в Бат-Ям и почему-то очень спешил.

Вышло, как в песне: «Все, и шофер, получили увечья, только который в гробу – ничего». Даже еще хуже. Американец погиб на месте. Дан врезался хмельной головой в ветровое стекло – и получил травму черепа.

Лицо его настолько исполосовало осколками, что даже пластическая хирургия не очень помогла. Тадеуш отделался выбитыми зубами и легким испугом.

Когда Йоне сообщили, что Тадеуш попал в аварию, она засмеялась: «С ним ничего не может случиться».

Навестив в иерусалимской больнице Дана, Йона не поинтересовалась, что с Тадеушем и где он находится. Для нее этот человек уже превратился в ничто.

Тадеуш, проживший потом ничем не примечательную жизнь, даже имени Йоны не мог слышать без скрежета зубового. Но, узнав о ее смерти, – заплакал.

...В 1966 году вышел первый сборник Йоны, и я был поражен зрелостью ее мастерства. Мерцающий мир гротеска и фантасмагории, не имеющий ничего общего с реалиями окружающей жизни. Чувственная мощь и чувствительность, борьба хаоса и гармонии, трепет обнаженных нервов, нежность и грубая эротика, легкие переходы от житейской низменности в заоблачные эмпирии. И, наконец, сквозная тема безысходности бытия.

Встречаться к тому времени мы уже перестали. У нее была своя жизнь. У меня своя.

\* \* \*

Прошло девять лет. Не помню уже, с какой целью, оказался я вблизи торгового центра на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, задулавшись, брел куда-то. И вдруг услышал: «Володья!»

Она всегда мягко произносило мое имя, и мне не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, кому принадлежит этот голос.

– Йона!

С ней был загорелый мужчина средних лет, с тревожным, как мне показалось, выражением глаз. Йона что-то ему сказала, и он ушел, не оборачиваясь.

И вот мы опять в кафе, как девять лет назад. Она мало изменилась, хотя черты лица немного отяжелели. Я попытался выразить свое восхищение по поводу ее первого сборника, но она поморщилась:

– Ах, оставь! Моя вторая книга «Шней ганим»<sup>2</sup> намного лучше. А вообще-то в моей жизни было все, и, по сути, не было ничего. Все ушло в слова... в слова. А слова – после того, как они написаны, – тоже уходят. Я к ним равнодушна. Вот ничего и не остается.

Детали этой последней нашей встречи стерлись из моей памяти. Помню только, что Йона не очень охотно рассказывала о себе. По моей просьбе прочла несколько последних своих стихотворений. На прощанье сказала.

– Ты все так же много читаешь? Бросай это занятие. Не читать надо, а писать.

Больше мы не виделись.

Йона умерла от рака на сорок первом году жизни, после долгих мучений. Страдания не привели ее к вере в Бога. Она верила в свои личные, лишь ей принадлежащие ад и рай, но эта вера не имела отношения ни к одной из существующих религий.

Многие считают, что после смерти Натана Альтермана именно Йона заняла вакантное место первого поэта. Предпосылки для столь максималистской оценки имеются. Йона возглавляла авангардистское направление «Молодая поэзия», отрицавшее Альтермана и его школу с тем же пылом, с каким в тридцатые годы Шленский и Альтерман ниспровергали Бялика и его последователей. Известно ведь, что в искусстве изначально заложена тяга к обновлению.

Казалось бы, что общего у Йоны Волах с Натаном Альтерманом, ставшим классиком еще при жизни, отличавшимся утонченностью стиля и – при всем богатстве его поэтической палитры – не выходившим за рамки классических канонов.

Но когда я спросил Йону, кого она считает первым поэтом Израиля, она, не задумываясь, назвала Альтермана. И пояснила:

– Для него поэзия – это форма жизни.

Тогда я не понял, что она имела в виду.

Теперь – понимаю.

---

<sup>2</sup> *Шней ганим* (иврит) – два сада.



## ЭТО ЛИ РУКА?

Разбирая свой московский архив, я обнаружил эти три машинописных странички – второй экземпляр закладки. Так я и не знаю – это подлинный Веничка или подражание ему? ...Но что-то я не припомню, чтобы в 70-е годы занимались подобными розыгрышами, а бумажки, по тому, где они лежали, как раз тогдашние. Поспрашивал знатоков Веничкиного литнаследства – нет, не знают, не читали, не видели у Вени ничего похожего. Вот и поди гадай...

Слог очень похож на Веничкин, хотя текст отделан не так хорошо, как «Петушки». Которые я прочел впервые в 72-м году и, как и все, пережил сильное потрясение. Ужас как захотелось познакомиться, и вскоре очутился я в одной компании с Веничкой, знакомый привел. Я был с гитарой и портвейном. Компания была уже выпивши и встретила меня насмешливо: я впервые почувствовал себя классиком, достаточно устаревшим для осмеяния. Я выставил два огнетушителя по 0,8 – не то это был «Агдам», не то «72-й» портвейн. Аудитория сильно подобрела. А когда я их догнал и ударил по струнам – совсем стало легко. Я пел свои песенки из «Недоросля» (я их написал больше 20 штук к знаменитой комедии), и мои стилистические изыски легко просекала эта хорошо продвинутая публика, во главе с Веней – что может быть приятнее для тщеславного автора?

(Не знаю, как кому, а мне из новейшего городского словаря многие словечки по душе: *тусовка, просекать, тащиться, прикид, продвинутый, прикольный* – всё это, по-моему, доказывает неистощимую творческую живучесть русского языка.)

Веня лежал – или возлежал – во всю свою длину в углу на широкой тахте и в основном одобрительно помалкивал. Не помню ни единой его реплики. Он показался мне провинциальным красавцем. Но голос – переубедил. Красивый иронический баритон. Потому-то я и оказался в глубоком шоке, когда – много позже – услышал в телефонной трубке механический – точнее металлический – голос его французской «говорилки», вставленной в оперированное горло.

Ни дружбы, ни даже приятельства у нас с ним не произошло. Вполне сложившиеся, совсем разные люди. Хотя я всегда им восхищался и любовался. А тогда, в 72-м, прочтя «Петушки» и будучи в восторге, я сочинил стихотворение.

\* \* \*

Ты, Веня, да еще Чадаев,  
Да я, да Пушкин – ну и проч.,  
Кто до холопства не охоч –  
Мы не в чести у наших очень  
наблюдательных хозяев.  
В сравненьи с нами Пушкин цвел:  
Тон петербургский! Дух московский!  
Кто Шаховской – и кто Чаковский?

Сам Дельвиг «Литгазету» вел!  
Лексан Сергеич выбирал,  
Куды чего послать печатать.  
Ему, где надоть и не надоть,  
Бумагу цензор не марал.  
У нас вон тоже – Полевой.  
Да что ж равнять объем и плоскость?  
Где прыгал орган половой,  
Висит статья про яйценоскость.  
Эт сетера, эт сетера...

И Пушкину вскрывали письма,  
И Пушкину вставляли клизмы  
За анекдоты и бон мо.

Но

Ежедневно жрать дерьмо  
И присноханжеские «изьмы»,  
Когда не то чтобы в столе –  
В сознание шарит соглядатай  
И пребываешь на земле  
Как превентивно виноватый,  
Когда и в профиль и анфас –  
Родня, знакомые, поступки,  
Когда ничтожные уступки  
Чуть не в восторг ввергают нас...

...Так, Веня: где же НАШ журнал?

А вот он: ручка да бумажка,  
Да сам-третей пиит-бедняжка,  
Не-член; не-профессионал.  
Журнал назвали – так уныло! –  
Жестяным словом: самиздат.  
Тут ход истории виноват.  
Пи..ец. Начальство утвердило.

Зато корысти – никакой,  
Окроме гордости и чести.  
Плетнева просьбами не ести  
И к Бенкендорфу – ни ногой.  
И Бенкендорфу полный рай  
Без суеты хватать за жопу  
Нетитулованную шоблу  
И отправлять в далекий край:  
Кого в Сибирь, кого в Европу.

А деньги...

Деньги-денюжки-и-и!..

Ах, Веня! Кто оценит слово

Поэта? Деньги – пустяки:

Хоть десять тыщ за «Годунова»,

Хоть с маслом шиш – за «Петушки».

**Юлий Ким**

*Венедикт Ерофеев*

## *НЕ УКРАДИ*

*Инструкция будущему ребёнку,  
сыну моей случайности*

Если захотел детской техники, чужой равноправный ребёнок играет, у тебя вожделение: не укради! Проси временно, проверь своё чувство: а может быть, скоро охладишься, лучше привлечь для обмена лишнюю собственность, оба хозяина получат новую вещь и процесс справедливости.

Если в соседней квартире лежит разменная мелочь в беспорядке соблазна – не укради! Это чужое, за него человек отдаёт каплю жизни.

Когда в пространстве улицы лежит государственный банковский знак – подыми. Но оглядись, не бродит ли где посторонний с опущенным взором. Это потерпевшая личность, и совесть потом не родное добро, найди и пользуйся как представитель.

Гайка, крышка, блестящая труба, деталь или болт, без охраны ввинченные в город на общественном месте – всегда твои, но не забудь соображение: если без этого трамвай соскочит с закругления рельсы, если свалится дом и убьёт твою мать – то не надо. А если хлещет вода – это пусть: скорее новое сделают на такой видный случай.

Не трогай телефона-автомата и друзьям объясни: это опасно в нашей жизни. Твой отец видел фильм, там навеки умерла полезная толстая женщина, не было откуда вызывать помощь укола, кругом поломка автомата по вине нарушителя.

У уличного народа не укради, а у государства бери всегда и всё, что можешь: сколько раз увидишь, столько раз возьми – это наше!

Опять соображай свою мысль: государство хитро представляет для ответа небольшую народную личность. Если дворник или сторож, его не подведи. Когда ответственность

начальства, то сам бог велел: они всегда договорятся на акт расхода для нужд экономии. Торгового работника не жалеи никогда: он развернётся при нашей малости, какую украдём, это только закваска, на ней он взойдёт как сдобная опара. Особенно нерусский народ, он не понимает разумное «хватит» – еврейчик, цыган, татарчонок, кавказская нация в кепке и прочий чучмек, не знаю северный народ эскимос, врать не буду.

Где сам ответственным лицом за материю, у себя не укради, в соседнем месте лучше. Конечно, можешь, но это занятие жизни нам не по характеру: следить ежедневно исправность баланса входящих. Вообще не советую должность начальства, это в нашем мире хуже честного вора.

Что можешь на службе государства съесть в себя или выпить на ход ноги, то это сделай: обратно никогда не отнимут и вообще упрёка нет, поддержание жизни. Украсть лучше много, чем мало: крупное всегда у народа в почёте, мелкое содержит презрение жалости.

Не будь придурком честности, когда тебя просят. От разделения труда уклонись, если можешь. Бюллетени недомогания возьми у врача всегда, дать обязан, организм наш всегда ущемлён, пускай найдёт больное место, медицина содержится нашей копеечкой. Когда сумел, то минуту поспи, а лучше час, а лучше день вместо непрерывной работы, и это не раз: эксплуатация труда в одиннадцать раз выше полочки-зарплаты, ещё останется за ними. Но на субботник выйди всегда первым: это политика, и даже лучший друг не одобрит: он явился, а ты пренебрёг, как не русский. Смирись, гордый человек (прочёл в одной книге искусства), лучше потом погуляй хоть три дня по неизвестной причине похмелья, которую все понимают, но только до седьмого дня повторения.

Но если залез в карман гражданина и пассажира, то последняя сволочь: может, у него остаточная сумма заначки и нет возможности на пиво.

Не скажу ограбь, но не ограбь не скажу тоже: при наличии друзей детства могут завлечь. Тогда выбирайте состоящих в местных органах власти: наружность толстая от объединения жизни, квартира имеет четыре замка. Всё-таки лучше не ограбь, помни, это нам подстроено: государство специально тычет носом, чтобы не брали у него, чтобы взяли у ближнего. Хотя попадёшься, вынуждено дать на всю катушку.

Никогда не укради, если слабее тебя: это нехорошо.

Женщину лучше используй, в крайнем случае, по прямому назначению насилия, никогда не отнимай украшение, вещи, одежду или стоимость денег. Наоборот, по окончании, отдай ей подарок за продукт удовольствия, однако, если имела желание, то полный расчёт.

Какой материал или вещество лежит без присмотра, возьми и дома сохрани, пока не взойдёт она, звезда пленительного счастья. В государственном виде всё равно пропадёт и развеется ветром.

Военную технику не тронь, хотя бы и валялась, крепи оборону страны, тебя же запросят о помощи в случае катастрофы.

Неизвестную химию, лежит в бутылках: не укради! Можешь обкушаться сам или семья близких родственников. Также не укради золотое изделие государства или другой металл драгоценности: это высшая опасность политики и её сердить не надо, ударит большим криминальным законом. У населения, наоборот, это самая лёгкая жалость пропажи, предмет второй роскоши.

И помни: Россия такая держава, что если ты сделаешь грех воровства, другой взамен тебя отдаст последние штаны напрасной честности и будетдохнуть голодом перед лицом общественного хлеба, который всё равно сгинет без достаточной пользы. Но не смейся над таким: в нём, может, не глупость, а твоё искупление. Как говорили старинные урки: перед народом виновен, перед богом я чист. И это лишь благодаря арифметике характеров одной шестой части исторической суши.

*Дмитрий Кицельфельд*

ЦЕРУСАММЕСКОЕ ВРЕМЯ

## ГОРОД

В этот город идут налегке,  
Помня только про имя и племя.  
Этот город стоит на реке,  
И река называется – время.

Синевой он навылет пробит,  
Белым камнем, как птица, помечен.  
А над городом ангел трубит,  
И трубу его слышно далече.

Он зовёт и зовёт нас туда,  
Гложет душу и сердце тревожит.  
Хоть до смерти кричи «Никогда!»,  
Но тебе ничего не поможет.

Ты напейся его тишины,  
Ты пройдись между улиц и башен.  
А когда отойдёшь от Стены,  
Может, кто-то крылом и помашет.

Время жить и время умирать,  
Камни разбрасывать и камни убирать.  
Время любить и время забывать.  
Время пировать,  
                время горевать,  
                                время воевать.

В иерусалимском парке Сакер уже около десяти лет проводятся слеты авторской песни. Полностью сухопутные. Ни волжских излучин Грушинки, ни бескрайнего пролива Барзовки, ни даже кинеретской глади Дузовки.

И заснеженных гор Чимгана отсюда почти не видно. Но Иудейские холмы Иерусалима...

*Под этой рубрикой мы и в дальнейшем планируем публиковать в журнале произведения авторов, работающих в жанре авторской песни.*

## МИНДАЛЬ

Прошлого мне не жаль,  
Век завершил полёт.  
Видишь – цветёт миндаль  
Около Яффских ворот.  
Ветки короткий взмах,  
Век – это только миг.  
В жарких чужих словах  
Вязнет сухой язык.  
Только себе не лги,  
Время неумолимо.  
Память, мой пёс, беги –  
Прочь из Ерусалима.

Словно четверг к среде,  
К камням его тянусь.  
Кто я, зачем я, где,  
Сам ли себе я снюсь?  
Жил ли когда-то я,  
Падал на землю снег,  
И замирал в полях  
Поздних трамваев бег?..  
Было ли, чёрт возьми,  
Или промчалось мимо?  
Память, мой пёс, лизни  
Улочки Ерусалима.

О, Стена плача, к ней  
Я припаду щекой.  
Меж роковых камней  
Ищет душа покой.  
Экая невидаль...  
Ну, поболит, пройдёт.  
Видишь – цветёт миндаль,  
Видишь – миндаль цветёт!  
Всё, что любил, – забудь,  
Сгинет неумолимо.  
Память, мой пёс, твой путь –  
Улочки Ерусалима...

*Ксения Полтева*

## *ТЯДУЩЕМУ ПРИСТОЙНО УЛЫБАЯСЬ*

### **КОНЧАЕТСЯ ВЕК**

Кончается век, чей оракул был глух и невнятен,  
стократно прославлен и тысячу раз заклеймён.  
Смолкают часы, размыкаются наши объятия.  
Весь мир ожидает пришествия новых времен.

...Но те, что идут к нам, идут как всегда, в темноте,  
затем, чтобы им наших лиц никогда не увидеть,  
не в силах любить нас, не в силах и возненавидеть.  
А впрочем, они не затем, не затем, не затем.

Кончается век. Разукрашены ёлки шарами.  
В сиреновом небе взошла голубая звезда.  
Полозья скрипят – то волхвы со своими дарами  
спешат, чтобы снова, в двухтысячный раз опоздать

и, землю пройдя, оказаться на том берегу,  
где, глядя на небо большими стальными глазами,  
безумные девочки строят песчаные замки,  
а волны бушуют и плачут, но их берегут.

А око с небес, приподняв недреманное веко,  
любуется снегом, который, весь мир полоня,  
лежит на усталых плечах уходящего века,  
лежащего в белом снегу уходящего дня.

### **ПИСЬМО В ДЕРЕВНЮ**

Мой старый друг! Спасаясь от тоски,  
на редкость сильной в это время года,  
пишу тебе в деревню, на природу,  
отвыкшему от сплетен городских.  
Какая новость для тебя нова  
в твоей богоспасаемой деревне?  
У нас дурак женился на царевне,  
династию тем самым основав



себе подобных. Корень привился,  
самодержавьем увенчав народность.  
(Ничто – не пустота, но однородность,  
отсутствие различий всех и вся).  
...Когда-нибудь в романе опиши  
утративших подобие и сходство;  
как медленно, но верно лень души  
в доселе ближнем порождает скотство –  
не зверство кровожадное, не месть  
за непокорный взгляд и гневный возглас, –  
пустую равнодушную безмозглость,  
способность больше вытоптать, чем съесть.  
(И то сказать – ничем не остудить  
желание вместить весь мир в кармане.  
Все – люди, все стремятся жить нормально –  
кто может их за это осудить?  
А я бреду меж ними, как во мгле,  
рассеянно. И утешеньем слабым  
осталась мне сомнительная слава  
последнего поэта на земле.)  
Вот так живи – по лестнице спускаясь,  
запахивай пристойное пальто,  
грядущему пристойно улыбаясь,  
садись в свое пристойное авто,  
по кольцевой описывай дугу:  
налево – лес, направо – город старый  
вращается во внутреннем кругу  
несмазанного колеса Сансары.  
Кругом темно. Уже теряю нить,  
от многого из сказанного – вчуже.  
Все кончено. И некого винить.  
И некого любить. А это хуже.

## *ПЕРЕПИСКА С БУЛАТОМ*

Моя относительно недолгая (1994 – 1996) переписка с Булатом Окуджавой началась после нашей встречи в Иерусалиме в декабре 1992 года, когда он первый раз приехал в Израиль. Мы встретились после 57-летнего перерыва – за кулисами концертного зала, в котором он выступал.<sup>1</sup>

В далекие тридцатые годы, когда нам было по 12 – 13 лет, мы жили в Нижнем Тагиле. Его отец, Шалва Степанович Окуджава, работал тогда парторгом ЦК и секретарем горкома партии, мой – Лазарь Миронович Марьясин – начальником строительства Уралвагонзавода. Булат довольно часто навещал нас и иногда оставался у нас ночевать. Мы с моим двоюродным братом Люсиком и моими родителями бывали у них, в том числе в их загородном доме. Здесь, кстати, я впервые в жизни ел приготовленный Шалвой Степановичем шашлык.

Несмотря на столь долгий перерыв, Булат сразу узнал меня и спросил: «А где Люсик?». Мы обнялись и расцеловались. Окуджава рассказал, что пишет автобиографическую книгу, что там будет и обо мне и о моей семье. Книга эта – «Упраздненный театр» – была опубликована в 1993 году в журнале «Знамя» (№№ 11 и 12). Прочитав ее, я немедленно написал Булату о своих впечатлениях. (К сожалению, это письмо у меня не сохранилось.)

Публикуя письма Булата Окуджавы, привожу также фрагменты из своих, которые помогут прояснить его реплики. Булат не всегда ставил на своих письмах даты. Указываю примерные даты их получения.

**Илья Марьясин**

---

<sup>1</sup> Булат, вскоре после перенесенной операции на сердце, выглядел уставшим. Выступая, иногда забывал слова своих песен. Его жена Оля, сидевшая недалеко от сцены, подсказывала. Окуджава сердечно благодарил израильтян, которые собирали деньги на оплату операции. Зал был заполнен до отказа. Поразило большое количество молодежи, в том числе и коренной израильской. Они, безусловно, прежде никогда не видели Булата, не все понимали смысл его песен, но всячески демонстрировали глубокое уважение к Булату. Для людей же старшего поколения это была встреча со своей молодостью. Они ловили каждое слово Булата, про себя повторяли слова его известных песен. Было очень много записок. Артистическая комната за кулисами, куда я пришел во время перерыва, тоже была полна народу. Мне пришлось довольно долго ждать своей очереди.

Я сильно волновался – узнает ли Булат, как встретит? Его первые слова: «Алик (так меня звали в детстве), а ты знаешь, что и мой отец приложил руку к судьбе твоего?» Я это хорошо знал и раньше. На митингах в 1936 году, организованных горкомом партии, клеймили «врага народа и вредителя» Марьясина. Это не помогло Шалве Степановичу. Его постигла та же судьба... Как же я был благодарен Булату за это откровенное и страшное признание!

Кстати, выступая на Пленуме ЦК КПСС в феврале 1937 года, Молотов говорил: «Комиссия во главе с Гинзбургом смазала факты положения дел на стройке Уралвагонзавода. Достаточно сказать, что эта комиссия не привела ни одного факта вредительства на стройке. Получается, что матерый вредитель Марьясин вместе с другим вредителем Окуджавой сами на себя наклеветали».

середина апреля, 1994

**Дорогой Алики!**

Рад был получить твоё письмо. Рад был узнать, что ты прочитал «Упраздненный театр». Для меня это большая честь. Я, конечно, не собирался заниматься жизнеописанием знакомых мне людей, но старался быть точным. Естественно, были отклонения от подлинных деталей и элемент фантазии. Мне важно было рассказать о мальчишке, отравленном большевизмом. Некоторые из давних знакомых и родственники, оказавшиеся в числе персонажей, прочитав, сетовали, говорили с досадой, что я не точен, что это не так, что он был лучше, чем я изобразил и т. п. Я пытался объяснить им, что не пишу мемуары, что главная моя задача – проанализировать печальные истоки, корешки моего героя, выяснить, откуда оно – это печальное, слепое поколение. Когда я описывал твою семью, я решил не искушать судьбу: вдруг ты не поймешь, обидишься, скажешь, что никакого растения в кадке не было, что домработницу звали не Катя, что кресла были не такие и т.п. Но ты понял, и я рад. Теперь жалею, что заменил фамилию, хотя, как ты понимаешь, это несущественно. Я до сих пор вспоминаю нашу встречу в декабре 92. Жаль, что суета, связанная с выступлениями, помешала увидеться и поговорить. Будем надеяться на будущее. Если сможешь, напиши мне о себе. Кстати, как судьба Люсика?

**Обнимаю тебя. Булат.****Мой адрес: 129010, Москва, Протополовский пер., дом 16, кв. 60.**

25.05.94

**Дорогой Булат!**

&lt;...&gt;

Прежде всего, позволь от всей души поздравить тебя, хоть и с запозданием, с круглой датой – твоим 70-летием. О нем я узнал из ТВ – из интервью с тобой, проведенного Рязановым. Полностью присоединяюсь к его пожеланиям тебе здоровья (самое главное в нашем возрасте), благополучия тебе и всей твоей семье и душевного спокойствия (по себе знаю, что это самое трудное). Я перешагнул этот рубеж на 1 год и 1 месяц раньше.

<...> Страшно подумать о том, какими молодыми и полными сил ушли из жизни наши отцы. Моему не было и сорока.

<...> Судя по деталям, твои родители посвящали тебя в некоторые свои дела. Я же в этом отношении был абсолютно в неведении того, что происходило вокруг. Я был поражен тем, какие, даже мелкие, детали сохранились в твоей памяти. Мы встречались не так уж часто, а ты сумел запомнить не только факты, но даже имена. Наверно, не в малой степени благодаря своей памяти ты и стал тем, кто ты есть. Я припоминаю, что в 56 – 57 году мама показала мне журнал, в котором были опубликованы стихи Б. Окуджавы. Не тот ли это Булат? Стихи ей очень понравились. Мне кажется, что она по телефону разговаривала с Ашхен Степановой.

Вот что меня всегда удивляло. Сразу после возвращения из сталинского курорта мама продолжала считать усатого изверга выдающимся деятелем и проливала искренние слезы, когда эта, погубившая всю ее семью собака, сдохла. Вот парадокс, который до сего времени я не могу объяснить. Она продолжала думать и неоднократно говорила, что «все человечество движется...» Интересно, какое настроение было у твоей мамы? Ведь она была активной, убежденной и преданной этой поганой и порочной идее. Прозрела ли она? Как-то я шутливо сказал маме: «Ты не досидела еще 2 года. Обычно прозрение наступает к десятому году».

...Судя по твоему письму, я правильно уловил главную идею твоей книги – выяснить истоки заблуждений наших родителей. И все-таки и сейчас я не могу понять, как произошло все то, что произошло. Они были энергичными и умными людьми. Не представляю себе, что вера их была слепой. Про себя могу сказать вполне определенно, что с ранней юности я ненавидел этот строй и не верил всей той трескотне. Наверно, это обусловлено тем, что я попал в мясорубку в гораздо более молодом возрасте и знал «что почем». Никогда не забуду, как в 37 году, на другой день после ареста мамы, за мной приехали тоже, чтобы, как они сказали, забрать меня в «секретное место, где находятся родители». Выйдя на улицу вместе с ними, я попытался удраить. Мы тогда жили в Большом Левшинском переулке в Москве. Побежал на соседнюю улицу – Мертвый переулок. Там тогда находилось посольство Германии. Милиционер, стоявший рядом с ним, схватил меня. Какая-то бабка, выдавшая всю сцену, сказала, обращаясь ко мне: «Попался, будешь знать, как воровать».

<...> К большому сожалению, я вынужден быть менее оптимистичным в отношении будущего своей Родины. Как это ни странно сказать, но Бог (если он есть), наверно, указал перстом на эту страну и народ. Что же это за народ без памяти, который и сейчас выходит на улицу с портретами извергов и чудовищ! И молодежь тоже. Значит, и она заражена. Может, правы были и Де-Кюстин, и Карамзин, и многие другие русские классики, которые весьма пессимистически относились к «немытой» России. Это не дает мне покоя все время.

Прости, пожалуйста, за сумбурное письмо. Я рассчитываю на твою снисходительность по отношению к моим «излияниям». Я очень горжусь тем, что у нас завязалась переписка и признаюсь, что показал твое письмо своим друзьям. Еще раз спасибо тебе. К сожалению, судьба развела нас с Люсином, и я ничего о нем не знаю. <...>

Будь здоров. Обнимаю. Алик.

получено 14.06.94

**Дорогой Алик!**

Получил твое письмо. Очень рад. Да, юбилей был шумный, но этот шум, естественно, не для меня. Слава Богу, я давно уже перестал обольщаться на свой счет. Это для других. Их, к сожалению, много. Роман «Упраздненный театр» пока не

вышел отдельной книгой, т. к. это была первая часть большого автобиографического романа, и я отказывал всем издателям. Но теперь я вдруг понял, что продолжать не буду, не хочется (пока, во всяком случае), и поэтому буду договариваться об издании. Пусть будет такая повесть о детстве. Когда выйдет, обязательно вышлю как участнику событий и одному из героев. Понять до конца и объяснить психологию наших матерей действительно очень трудно. Правда, моя мама о Сталине не плакала, а когда он сдох, написала из ссылки: «Скоро мы увидимся». Но советская власть, Ленин, коммунизм, колхозы, счастливая жизнь и т. п. – все это гудело в ее голове и весьма неукротимо. И лагеря были нужны: «А как быть с врагами?», и раскулачивать следовало: «А как бороться с кулаками?», и в Чехословакию надо было вводить танки: «Если бы мы не вошли, вошли бы немцы», и все такое.

И мы с ней спорили до одурения. Я подбрасывал ей всякие запрещенные книжки, но она боролась отчаянно, она твердо верила, что Запад умирает с голоду. И за полгода до смерти, в начале 83 года, мы так же с ней однажды драли глотки, и вдруг она посмотрела как бы на меня, но куда-то мимо, мимо и крикнула: «Что мы наделали!» Ах, это страшная тема. Но все это подлежит анализу, и это вдохновляет. Один критик написал о романе, что, несмотря на обаяние оруджавской прозы, вызывает возмущение, что автор описывает с любовью родителей-коммунистов, которые творили зло! Я думаю: болван! А как должен был описывать своих родителей десятилетний мальчик? Какими он должен был их видеть? И это написал не молоденький критик, а человек нашего возраста! Сейчас мы живем в сумасшедшем доме, но пройдет время, улягутся страсти, и наступит пора серьезного анализа. Хотя, должен тебе признаться, изучая историю России, сопоставляя ее с нынешними процессами, я все больше разочаровываюсь в возможности быстрой стабилизации. Это немцы могли, т. к. исповедовали культ дисциплины, японцы, американцы, но не мы.

Обнимаю. Булат.

Р. S. Напиши поподробнее о себе.

14.07.94

Дорогой Булат!

<...> Ты просил написать о своей жизни. Я готов, тем более что она весьма богата событиями, что тоже свойственно нашему несчастному поколению. Начну, пожалуй, с «точки отсчета» (жизни с родителями в Н-Тагиле). После ареста отца в декабре 1936 года (на отдыхе в Сочи) и мамы в сентябре 37 г. я стал «сиротой». Друг детей, артиллеристов, колхозников, писателей, физкультурников и всех остальных не дал мне погибнуть. Меня отправили в детский дом в г. Ардатов, не забыв при этом взять отпечатки моих пальцев (в 13 лет!). Оттуда меня забрала тетя, проживавшая в Киеве. Ее фамилия Нина Яковлевна Лившиц.

Она родная сестра Бориса Яковлевича Лившица, который долго жил в Тбилиси и которому наш общий друг Берия поручил написать книгу «История большевистских организаций в Закавказье». Судьба его была типичной – он был расстрелян в 36 году. А тетя, хотя и не была посажена, но из партии была исключена «за связь с братом-троцкистом». В Киеве я прожил до начала Войны. Затем армия – артиллерия (до самого конца Войны). Поступил в Химико-технологический институт им. Менделеева (на 2-й курс). 1-й курс закончил до Войны. После окончания института был направлен на работу в г. Ангарск на Комбинат 16. Это то самое предприятие, которое было вывезено из Германии и занималось производством бензина из угля. Там заведовал химлабораторией. В 1953 г. мы уехали из Ангарска в Москву. К этому времени уже был женат (с 1949 г.) и появился сыночек Сашенька. Затем аспирантура в Москве и работа в научно-исследовательских институтах. Жена долгие годы работала на химфаке МГУ и там же защищала диссертацию. В 1978 г. наш сын самостоятельно уехал в Израиль после окончания химфака МГУ. В 1979 году нас постигло страшное горе – он погиб в автокатастрофе. Так мы остались одни. Приехали в Израиль в 1988 г. и сейчас живем здесь. Вот очень кратко вся наша жизнь. Не тебе мне говорить, какими событиями были заполнены все эти годы. Помимо общих дел, относящихся также и ко всем советским людям, нас касались, как ты понимаешь, национальные проблемы полной мерой. Это главное, что привело нас сюда. Здесь мы дома, несмотря на очень сложное положение нашей страны, несмотря на многие недостатки, видные и невооруженным глазом. Об этом нужен особый разговор. Мы оба здесь работали: жена в Иерусалимском университете, а я продвигал свой проект по очистке морской воды от нефти. Сейчас оба на пенсии.

<...> По-видимому, ничего оригинального в моей биографии нет. Иногда старожилы Израиля меня спрашивают, а за что посадили твоего отца и мать? Не могут понять, как это «ни за что». Они, кстати, не могут понять, почему в России были затруднения с туалетной бумагой и спичками. «Что, мало леса?»

<...> Недавно видел по ТВ твой юбилей. Я очень рад за тебя и тешу себя надеждой на возможную встречу. Приезжай! <...>

Будь здоров, всего тебе самого хорошего. Алик.

Р. С. Моя жена Женя просила меня передать, что она очень тебе симпатизирует как в человеческом, так и в литературном смысле. Она присоединяется к моим пожеланиям тебе и твоей семье.

август, 1994

**Дорогой Алик!**

Спасибо за письмо, за жизнеописание. Теперь я в курсе твоей жизни. Недавно побывал с выступлениями в Свердловске и Тагиле. Очень волновался, да и публика – не меньше. Принимали замечательно. Люди прекрасные, в отличие от холодноватых москвичей. Жизнь в Тагиле трудная, экология чудовищная, перспективы туманные, но сердечной теплоты

– в избытке. Времени было мало, но съездил на Пихтовку, на Ключики, был на Вагонзаводе. Все, естественно, переменялось, понастроилось, но, к сожалению, нелепо, сумбурно, без любви к людям, что всегда отличало Россию. Нашел несколько зеленых брусковых двухэтажных домов, стоящих с 34 года. В этих страшных домах с обвалившейся штукатуркой живут люди и гордятся, что они старожилы! В Свердловске меня повели в Госархив и показали «Дело» моего отца с подробными стенограммами допросов и очных ставок. Времени не было читать, но они сделают ксероксы и пришлют. Было горько, особенно, когда я узнал, что отца приговорили к расстрелу 4 августа и расстреляли тоже четвертого августа. Я спросил, какое нынче число, и архивистка сказала, что четвертое августа! Представляешь! Теперь снова сижу в Переделькино и готовлюсь к следующим поездкам. Работать по-настоящему некогда.

*Обнимаю тебя. Поклон семье.*

*Булат.*

16.06.1995

*Дорогой Алики!*

*Вот что значит возраст. Сижу дома и обнаруживаю письмо к тебе, написанное в августе 95 года<sup>2</sup>, но почему-то не отправленное.*

*Теперь вспоминаю нашу встречу в Тель-Авиве<sup>3</sup> очень часто.*

<sup>2</sup> Булат ошибся годом, правильно – 94 года.

<sup>3</sup> На нашей второй встрече за кулисами самого большого тель-авивского концертного зала «Манн-аудиториум» в начале мая 1995 года Булат выглядел бодрым, веселым. Пил горячий чай, подливая его в стакан из металлической кружки с кипятильником. Много курил и кашлял. Жаловался на легкие. Концерт прошел с огромным успехом. Вероятно, этому способствовало присутствие сына, который аккомпанировал, жены, многих близких друзей. Окуджава пригласил нас с женой в гостиницу «Дан-Панорама», где он остановился. Мы встретились на следующий день и провели вместе больше двух часов. Булат рассказывал о своей судьбе, вспоминал войну, свой 103-й минометный полк. Рассказывал, как после ранения, когда он служил в гаубичной артиллерии РГК (тракторы-тягачи на гусеничном ходу), они собирали по деревням продукты и отдавали «в общий котел»; как многие крестьяне, в особенности на Кубани, отказывались «делиться». Вспоминал, как его исключали из Союза писателей, говорил о своих знакомых писателях – Домбровском, Нагибине, Солженицыне...

Мне запомнились его отзывы о Евтушенко как о человеке, иногда совершающем не очень умные поступки, – пришел в детский сад в красном камзоле с розами и рассказывал шестилетним детям о своих встречах с Рокфеллером, – но талантливым, благородным и добрым поэте, который «никогда ни на кого не стучал» и последовательно выступал против антисемитизма. Окуджава рассказывал, как Евтушенко выставил из своего дома космонавта Севастьянова, который критиковал Булата после его исключения из партии («немедленно с женой покиньте мой дом»).

Говорил, что писать продолжение «Упраздненного театра» не предполагает и думает о романе-фантазии о Пугачеве: что бы случилось, если бы тот победил.

**В России пока без серьезных перемен.**

**Трудно, жестко, неопределенно. Жара. Куда там Израиль!  
20-го отправляемся в Париж. Как надоело выступать – ты  
не представляешь.**

**Должен тебе сделать замечание: ты был у меня, видимо, с  
женой, но не представил. Сообщи хотя бы имя, черт тебя  
возьми!**

**Обнимаю.**

**Булат.**

27.06.95

**Дорогой Булат!**

Получил сразу два твоих письма. Одно – новое, июньское 1995 года, а другое – августовское 1994 г.

Упреки твои ..., что я, якобы, не представил тебе свою жену, отвергаю. ... Ты даже книжку свою нам подписал «Дорогим Жене и Алику».

...Ты обещал мне переслать материалы, относящиеся к «Делу» наших отцов, и наше общее детское фото.

<...>

Я в ближайшее время постараюсь отпечатать фотоснимки, сделанные в твоём номере в Тель-Авиве. Я тут же перешлю их тебе.

**Как продвигается твоя работа над «Пугачевым»?**

Вроде прошло совсем немного времени с момента нашей последней встречи, а сколько событий...

Один Буденновск<sup>4</sup> чего стоит! Интересно, что со сталинских времен сохранилось название этого города. Что и говорить, великая личность! Даже портреты его висят в кабинетах.

А чего стоят опереточные казаки! Свадьба в Малиновке, да и только.

Ну и страна! А президент, который во всеуслышание заявляет, что собственноручно отдал приказ о штурме, а затем создает комиссию для выяснения этого факта!

Боюсь, что и выборы мало что изменят. Тут я с твоими прогнозами полностью согласен.

Как говорится в старой еврейской присказке: «А для евреев это лучше или хуже?» Так вот, и для евреев это, по-моему, тоже плохо.

<...>

**Передай сердечный привет Оле.**

**Всего хорошего,**

**будь по возможности здоров.**

**Алик.**

---

<sup>4</sup> Речь идёт о чеченских событиях 1995 года. Окуджава, во время нашего с ним долгого разговора в гостинице, когда речь зашла о Чечне, говорил, что конфликт имеет, прежде всего «экономическую подоплеку».



25.10.95

*Дорогой Алик!*

*Получил твое замечательное письмо. К сожалению, копии с дела еще не сделал. Поездки, суета (живем ведь в бардаке)<sup>5</sup>. Хотя меня напрямую это не касается, но все-таки я же варюсь во всем этом и абсолютно отвлечься невозможно. С президентом беда, даже обсуждать не хочется. Во что он превратился! И на нового надежд нет. Дело не в президенте, а в кухаркиных внуках, которые теперь тянутся к рулю. Вообще, Алик, мне это громадное, нелепое, дикое государство отерачительно. В остальном все хорошо, прекрасная маркиза. Сужу, что-то пишу, иногда выезжаем для выступлений. Если сможешь достать «Литературную газету» за 11 октября, посмотри в ней замечательную статью Б. Стругацкого.*

*Поклон Жене.**Булат.*

3.01.96

*Дорогой Булат!*

*Прежде всего, с Новым годом тебя и всю твою мишпаху (семью)! Будьте здоровы, благополучны. Надеюсь снова встретиться с тобой у нас в Израиле. Только что получил твое последнее (октябрьское 95 года) заказное письмо, которое шло аж 2 месяца. Спешу ответить, так как намечается скорая оказия в Москву. Посылаю тебе наше совместное фото, сделанное в твоём гостиничном номере в Тель-Авиве во время последнего пребывания в Израиле (май 1995 г.) По-моему, получилось неплохо. Булатик! Я все еще надеюсь получить от тебя обещанную копию «Дела» наших отцов. Для меня это святое дело, как ты сам понимаешь. Милая Лена Кешман, которая передаст тебе это письмо, любезно согласилась взять эту копию с собой. Она обещала перед отъездом тебе позвонить и напомнить об этом деле. Если нетрудно, поищи наше общее детское фото, о котором ты мне говорил (там мы с тобой в трусах, кажется).*

&lt;...&gt;

*Спасибо тебе большое. Мы с Женей кланяемся Оле.**Твой Алик.<sup>6</sup>*

<sup>5</sup> Во время нашей встречи в гостинице Булат с болью говорил о тяжелой ситуации в России, об ужасающем положении в Грузии, где его двоюродный брат – физик, доктор наук, еле сводит концы с концами: «Выживают только те, кто имеет родственников в деревне». Касаясь своих представлений о будущем России, Окуджава сказал: «Я осторожный оптимист, Монсей водил евреев 40 лет по пустыне, чтобы вытравить из них рабов. Нам тоже нужно не меньше».

<sup>6</sup> На этом наша переписка оборвалась. Булат заболел... Он выполнил свое обещание и прислал мне копию «Дела Ш. С. Окуджавы». Теперь оно у меня. Держать его в руках страшно: протоколы допросов, очных ставок, в том числе и с моим отцом...

## **«РОССИЙСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» [тт. 1 - 4]. Москва – Иерусалим, Российская Академия Естественных Наук, Российско-Израильский Энциклопедический Центр «ЭПОС», 1994 – 2000.**

В отличие от Краткой еврейской энциклопедии, сообщающей «все» обо «всем» еврействе, Российская еврейская энциклопедия (РЕЭ) ставит перед собой задачу рассказать «все» о пересечении множеств – «русского» и «еврейского». На первый взгляд задача куда менее амбициозная, однако известная максима Козьмы Пруtkова о том, чего нельзя объять, относится к РЕЭ в той же степени.

У этого издания нетривиальная структура: энциклопедия трехчастна. Первая часть – персоналии, вторая – историко-географическая, третья – понятийная. Первая часть (три тома) в общем и целом завершена. С той оговоркой, что завершающим аккордом издания должен стать дополнительный том, в значительной мере посвященный биографиям.

В биографический корпус вошло около 10 тысяч исполненных энциклопедической лапидарности еврейских жизнеописаний.

Начиная с киевского столяра и пролеткульта Менделя Абарбанеля (1888 – 1957). Этот персонаж идеал Маяковского: землю попашет, попишет стихи. Революция открыла поэтический дар в рабочем парне (так и хочется уточнить: «простом рабочем парне»). До 18 года он только строгал, а в 30 лет стал слагать стихи на идише. «Рабочая тематика, социальные мотивы занимают ведущее место в его творчестве». Человек, востребованный эпохой, он благополучно пережил все ее ужасные бури и катаклизмы. Правда, последний сборник поэта и столяра датируется довоенным временем. И то дело: время переменилось, песни ее и герои ее стали иными – и лишь стружка вилась и пахла по-прежнему.

Завершает головокружительный еврейско-русский роман с поющими столярами, расстрелянными раввинами, казацкими генералами (мит дер шашка, мит дер шпора, мит дер ебтвоумать), отцами Евсекции, громившими еврейские общины во имя великого нового мира, нестигаемыми сионистами, исполненными профессиональной гибкости партработниками, пламенными революционерами, интеллигентными кадетами, заплечных дел мастерами, насельниками Гулага, русскими поэтами, талмудистами, православными священниками, врачами-отравителями, нобелевскими лауреатами, удачливыми шпионами, отмеченными расстрельными статьями расхитителями общественной собственности в особо крупных размерах, экстрасенсами, силачами, циркачами, скрипачами, первачами, щипачами\*, стукачами, узниками Сиона, провокаторами, российскими и израильскими министрами, героями (у всех на слуху) последних бурных лет российской жизни – так вот, завершает этот еще долженствующий быть осмысленным сюжет Иосиф Яшунский (1881 – 1943) – математик, перево-

---

\* Ну, хорошо, признаю, со щипачами я, положим, погорячился. Не то, что бы среди них не было евреев – несомненно были, особенно учитывая интеллигентность и даже элитарность профессии, но энциклопедия их, как будто, не удостоила.

дчик, журналист, писавший на идише, директор Виленской еврейской гимназии, секретарь редакции «Нового энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона, сначала сионист, затем бундовец. Рамки его жизни символичны. 1881 – год погромов. 1943 – дата внятная и для тех, кто слабо осведомлен в еврейской истории. Яшунский, как и многие варшавские (и неваршавские) евреи, завершил свой жизненный путь, вдохнув «циклон Б» в газовой камере. Подверстанный к нему сын Гершон (1910), один из руководителей виленского гетто и член его подпольной организации, смог выйти из гетто и здравствует и поныне (во всяком случае, именно так было, когда писалась статья о нем). Как и отец, он был бундовцем, как и отец, – журналистом.

Большой роман от «А» до «Я», где монотонная механическая рядоположность обретает художественную выразительность, а свойственное энциклопедиям нечеловеческое отсутствие гнева и пристрастия отдает театром абсурда, а зачастую и черным постмодернистским юмором.

Главным интересом критики (оставляю за рамками профессиональную критику) и публики стал не энциклопедический роман, по своим достоинствам далеко оставляющий позади многое из того, что относится к этому почтенному жанру (а сейчас что только к нему не относится!), но азартное любопытство: так, стало быть, и этот еврей? как, и этот? вот те на! а этот, по-моему, вовсе не еврей, зря хорошего человека обидели, а про этого я точно знаю, что он еврей, а он не включен – зачем такая дискриминация?! Впрочем, широкое участие в излюбленной на Руси игре: «Найди еврея!» и развернувшиеся вокруг нее дискуссии сами по себе свидетельствуют: роман удался!

Критерий отцов издания по увековечению своих клиентов, помимо, разумеется, прочих достоинств, таков: хотя бы один из родителей еврей, религиозная принадлежность в расчет не берется. Хороший этот критерий, правильный? Да уж не хуже прочих! В отделах кадров в приснопамятную советскую эпоху, бывало, смотрели и позорче. Галаха не одобрила бы папу, а Закон о возвращении – религиозную толерантность (зато расширил бы генеалогический контекст посредством подключения бабушек и дедушек). Проблема, как всегда, в множественности определений и в поставленных целях. На мой вкус, методология РЕЭ – вполне адекватна.

Итак, три тома положены на еврейские биографии. Настала пора следующего трехтомника, посвященного биографиям не лиц, но мест – городов, городишек, сел и местечек, многие из которых обрели статус *judenfrei*, а иные так и вовсе уже перестали существовать. Именно такова судьба открывающей четвертый том (а вместе с ним и историко-географический эпос) Абазовки – некогда еврейской земледельческой колонии Балтского уезда Подольской губернии, основанной в 1849 году. Статья завершается скорбной в своей бесстрастности эпитафией: «В результате Гражданской войны, погромов, голода и эпидемий к 1922 году Абазовка прекратила существование».

Эта статья, кстати сказать, демонстрирует важную (пожалуй, что и уникальную) научную особенность РЕЭ, саму по себе не связанную с еврейством: статьи фиксируют все административно-территориальные метаморфозы, а также и смену имен. Так, на месте прекратившей свое существование Абазовки находится сейчас село Кoryтное. Правда, укоренясь

на той же земле, оно переместилась из Подольской губернии в Одесскую, та сборотилась из губернии в область, в конце концов сменилась и страна.

Завершает том Йошкар-Ола – ныне столица Республики Марий Эл, некогда (до 1919 года) бывшая уездным городом Казанского наместничества (а потом и губернии) Царевококшайском, затем (по велению времени) Краснококшайском, пока не получила в 1927 нынешнее, национально окрашенное, имя. За отображенные в РЕЭ сто лет – с 1873 по 1979 – евреев в Царевококшайске сильно прибавилось: с 9 до 460. Для всех мало-мальски интересующихся год 1979 (фигурирующий и во многих других статьях) внятен – перепись населения. Результаты последней переписи (1989) в национальном разрезе публиковались лишь в сводном виде. Так что, сколько сейчас евреев в Йошкар-Оле, – это науке неизвестно. Но, боюсь, за прошедшие двадцать лет число их не увеличилось.

Йошкар-Ола – пример характерный и в том смысле, что интерес РЕЭ касается не только классических еврейских мест, значимых с точки зрения истории, культуры и громких имен, но вообще любой точки необъятного евразийского пространства, соединенного двуглавым орлом ли, серпом ли и молотом, еще не вошедшей под сень русских штыков или же с разной степенью благополучия из этой сени вышедшей – любой географической точки, куда судьба занесла еврея.

А куда она их только не заносила! И за полярный круг, и в жаркие среднеазиатские пески, и на Соловки (к закату), и на Колыму (к восходу). РЕЭ демонстрирует огромное историческое и географическое упорство, терпение, мужество, умение примениться к обстоятельствам и неиссякаемую и многообразную творческую энергию. В четвертом томе есть обширные статьи с массой исторических фактов, подробностей и имен, частично отсылающих в биографический блок, частично новых, с любопытным фотоматериалом, отсутствующем, кстати сказать, в биографиях. Статья «Вильнюс», скажем, занимает почти восемь страниц. А есть статьи и совсем мизерные, вроде «Йошкар-Олы» или, допустим, бывшего ясачного поселения, а ныне столицы Таймыра «Дудинки» с ее двумя десятками евреев в том же 79-м.

И вот, все это вместе собранное – великое и малое, складывается в гигантское еврейско-российское полотно. В рамках которого разворачивается драма центростремительно-центробежной двойственности: от готовности жизнь положить за национальные ценности до самозабвенной безоглядности в идентификации с коренным населением, в полном принятии его менталитета, культуры, исторических целей.

Четвертый том РЕЭ снабжен, что уместно, кратким историческим очерком, включающим административное деление Российской империи, и минималистским терминологическим словарем.

Историко-географический блок будет состоять из трех томов, как и биографический. В четвертом томе две тысячи статей, соответственно во всем блоке – пять-семь тысяч. Кстати, в этих томах возникают персонажи, отсутствующие в биографической части, так что общее число героев РЕЭ достигает с их учетом 25 тысяч. После шестого тома воспоследует понятийный двухтомник, а затем дополнительный том. Таковы планы. Во что на самом деле выльется проект – трудно сказать, но если планы будут скорректированы, то, надо полагать, только в сторону увеличения.

*Михаил Горелик*

**Юрий КОЛКЕР. «Ветилуя» [Стихи, написанные в Англии] – Санкт-Петербург, «ГЕЛИКОН ПЛЮС», 2000.**

Загадки для читателя начинаются уже с названия. Далеко не каждый любитель поэзии знаком с этим словом – *Ветилуя*. Правда, автор в кратком предисловии, даёт подсказку – цитату из Пушкина. Но и она мало чем помогает, кроме недвусмысленного указания, что это некая древняя крепость.

А дальше – больше. Стихи эти написаны в Англии, но о каком месте и, кстати, о каком времени идёт речь в стихах, если почти на каждой странице попадаются Геликон и Феб, Эрата и Мельпомена, Мойры и Каллиопа, Евклид и Эпаминонд? А если мы не столкнулись с древними греками, то встречаем Лаваново служение, болгарина Мефодия и халдейское ша, Колумба и Казанову, вавилонянина Мардука и камни Хасмонеев, Иеремию и Рамсеса, Одина и Велеса, Тохтамыша и Эль Греко... Чем увлечён поэт, к чему стремятся его ум и душа? К истории, к древности, к мифу?

Но на тех же или на соседних страницах – самиздат и коммуналка, дарвинист и дровяные сараи, примусы и керосинки, генотип и нуклеиновые кислоты, энтропия и дигитальные пространства, волна и фотон, наконец, комета Хэйла-Боппа! Не означает ли этот словарь пристрастия к сегодняшнему дню и его естественнонаучному осмыслению?

Впрочем, хватит спрашивать. Вдумчивый читатель даст на все эти вопросы единый ответ. И ответ этот может звучать примерно так: это стихи, написанные поэтом, которому внятна вся мировая культура, – и адресованные *культурному* читателю. Тому, кто не сочтёт для себя за труд заглянуть в комментарии к собранию сочинений Пушкина, чтобы узнать (и порадоваться этому знанию!), что Ветилуя – это горная крепость в древней Иудее, крепость, с которой связана история гибели осаждавшего ее ассирийского полководца Олоферна от рук Юдифи. Читателю, для которого название одного из стихотворений книги – *День гнева* – цепью ассоциаций протянется к канону *Реквиема* и его великим музыкальным воплощениям. Читателю, которому будет ясно, что упоминаемый в одном из стихотворений *харьковский старик* – это Борис Чичибабин. Читателю, для которого *отработанные летейские воды* напрямую связаны с тяжёлой водой и иными атрибутами ядерного реактора...

В небольшой этой книге нет проходных стихотворений; каждое насыщено неординарным и часто парадоксальным содержанием, выношено и выстрадано. Стихи, отточенные по форме и напрямую связывающие нас с классической русской поэзией. Ни одной строки, выпадающей из великой традиции Пушкина и Ходасевича, ни одного случая, чтобы автор поступил строгой формы в угоду так называемой современности.

Пророки и глашатаи постмодерна декларируют полный разрыв со всем, что укоренено, органично, традиционно. Произведения традиционного плана они вообще отказывают в праве считаться относящимися к современному искусству, в котором, по их мнению, главное – это игра: игра словами, смыслами, цитатами, приёмами, аллюзиями и т. д. и т. п.

Спору нет, искусство – действительно, в каком-то смысле игра, ибо в любом искусстве существует явно или тайно соблюдаемый свод правил. Есть (по крайней мере, подразумевается) такой свод правил и в поэзии.

Соблюдение или нарушение их равно присуще истинному таланту и всегда определяется конкретными свойствами дарования и вкусом его обладателя; тут нет предмета для дискуссии. Но как не вспомнить ну хотя бы поэтическую судьбу Николая Заболоцкого, который замечательно *играл* в молодые свои годы – и стал писать *совершенно традиционные*, но потрясающие своей красотой и силой чувства стихи, отбыв долгий срок в сталинских лагерях!.. Это была уже не игра – это была жизнь в её самой высокой духовности.

В доказательство этих тезисов можно было бы привести множество строк и строф Юрия Колкера, но я противник строчного цитирования: строками, вырванными из текста (и, соответственно, из контекста) можно доказать что угодно. Мне представляется, что лучше привести пусть только одно стихотворение, но целиком.

*Смерть станет родительским кровом,  
Где путника ждут за столом,  
Утешат приветливым словом,  
Согреют сердечным теплом.*

*Войдёт он в просторные сени,  
В покой, где светильник горит,  
Уткнётся родимой в колени,  
Заплачет от счастья навзрыд...*

*Жизнь станет бедой подростковой  
В навек уязвлённой душе,  
Пустынею солончаковой, –  
И, в сущности, стала уже.*

Оставляю читателя рецензии наедине с этим прекрасным текстом – без комментариев.

Стихи, собранные в книге, написаны в Англии. Но в триптихе *Ориенталии* есть строки, которые не могли бы появиться ни в Англии, ни в ином месте на земле, если бы их автор не впитал в себя раскалённость израильских небес и реалии израильского быта:

*Обыденная жизнь в стране необычайной  
Трудна ещё и тем, что песня стеснена.  
Здесь жезл миндалевый пронёс Иеремия –  
Поймём ли, отчего так сокрушался он?  
Освенцим, может быть, провидел, Хиросиму,  
Эпоху дискотек... Избранничества дар  
Тяжёл: поди посмей возвысить тут свой голос  
На скифском языке!..*

*А всё-таки решусь: вон виноградник, там  
И в полдень уголок тенистый мы отыщем.  
Мне Суламифь туда дорогу указала.  
Её пророчеству не нужен перевод,  
Как земледелию – истолкователь...*

До того, как стать жителем туманного Альбиона, Ю. Колкер пять с половиной лет (1984 – 1989) был израильтянином, обитал в Иерусалиме.

В Иерусалиме же увидели свет две его первых книги – *Послесловие* и *Антивенок*. В Израиле поэт удостоился престижной литературной премии. Затем Юрий выдержал нелёгкий конкурс и получил работу на Русской службе Би-Би-Си. Но в Израиле у поэта остались не только друзья, читатели и почитатели. В этой стране осталась частица его души.

...Но почему же именно *Ветилуя*? Ещё раз читаемся в авторское предисловие: *Когда всё кругом склоняется к ногам нового господина, для спасения народной чести иной раз бывает довольно крохотной горной крепости, в которой просто живут по-старому – скажем, не отрекаются от родителей и чтут третью заповедь.* Для Юрия Колкера такая крепость – русская классическая поэзия. Как тут не вспомнить, что много лет назад, перейдя из разряда молодых талантливых учёных (по образованию Колкер – математик) в истоппники ленинградской котельной, поэт совершил, без преувеличения, гражданский подвиг: в советских условиях, когда даже имя Владислава Ходасевича было запретным, Колкер собрал первое полное (на то время) собрание сочинений гения русской поэзии и опубликовал его на Западе со своим обстоятельным и глубоким послесловием. По прошествии двух десятилетий Юрий Колкер по-прежнему верен заветам Ходасевича, который в начале века писал:

«Дух литературы есть дух вечного взрыва и вечного обновления. В этих условиях сохранение литературной традиции есть не что иное, как наблюдение за тем, чтобы самые взрывы <...> не разрушали бы механизма. Таким образом, литературный консерватизм ничего общего не имеет с литературной реакцией. Его цель – вовсе не прекращение тех маленьких взрывов или революций, которыми литература движется, а как раз наоборот – сохранение тех условий, в которых такие взрывы могут происходить безостановочно, беспрепятственно и целесообразно. Литературный консерватор есть вечный поджигатель: хранитель огня, а не его угаситель».

В вынесенной на обложку книги автобиографической заметке Юрий Колкер спокойно называет себя консерватором. Стоило бы добавить – в том смысле, как употреблял этот термин Ходасевич. Если же не бояться не только литературного консерватизма, но и временами необходимых высоких слов – а какая поэзия возможна без них? – то можно констатировать, что новая книга Юрия Колкера – это поэзия серьёзной мысли, глубокого чувства и неафишируемого стоицизма.

И еще одно из стихотворений сборника:

*Уж если читать, так поэтов. Прозаик солжёт,  
И правду сказав, а поэт, и всплакнув, осчастливит.  
Душой затевается звуков блаженный комплот,  
От сердца исходит порыв – и певец не сфальшивит.*

*Не слишком изыскан был харьковский этот старик,  
Но, болью напутствуем, гневом воодушевляем,  
Любовью ведем, он в заветную область проник, –  
И мы с благодарностью книгу его прочитаем.*

Замечательная триада: боль, гнев и любовь – относимая автором к творчеству другого поэта, вполне относится и к его собственному.

*Наум Басовский*

Светлана ШЕНБРУНН. «Розы и хризантемы» [роман] – Москва, «ТЕКСТ», 2000.

*Так точно дяк, в приказах поседель,  
Спокойно зрит на правых и виновных,  
Добру и злу внимая равнодушно,  
Не ведая ни жалости, ни гнева.*

А. С. Пушкин, «Борис Годунов»

«Название любого сочинения приходит ко мне спонтанно и синхронно с намерением его сочинить», – говорит Светлана Шенбрунн. И добавляет, что в ее «цветах» можно найти и рациональный смысл: розы – это, скорей всего, любовь, а хризантемы – печаль. Печали и впрямь хватает в романе, как и в вышедших ранее (но написанных позднее) рассказах. А вот любовь – где, собственно, в «Розах и хризантемах» любовь, как мы привыкли употреблять это слово применительно к художественной литературе? Назойливые и нудные воспоминания Нины Владимировны, матери главной героини, о бывлой сногшибательной страсти к ней мужа скорее дискредитируют великое чувство любви, чем утверждают его. И все же любовь в «Розах и хризантемах» ощущается. Но только, говоря словами поэта Олега Чухонцева, другая:

*Нет, не любовью, видно, а бедою  
Выстрадаваем мы свое родство,  
А уж потом любовью, но другою,  
Не сознающей края своего.*

Это – любовь к братьям по виду, к человеку. Это – такая любовь, которая стоит выше любой личной обиды, даже самой незаслуженной и неожиданной, и любой – пусть тысячу раз обоснованной – жажды мести; и способна дать опережающий и более сильный импульс к действию. В той или иной степени такая любовь присуща каждому из нас (и это тоже отражено в «Розах и хризантемах»). У художника же она проявляется особым образом.

Роман С. Шенбрунн – летопись послевоенного периода (до 1951 года) советской жизни, со всеми ее, летописи, атрибутами (см. эпиграф из «Годунова»). В чем тут соль? В отношении к материалу.

В рассказе «Долина Аялонская» (примыкающем, на мой взгляд, к роману) есть такая – в контексте самого рассказа проходная, но, по сути, очень важная – фраза: «Москвичи все как один перебрасывались язвительными, рожденными на коммунальных кухнях репликами и молили какую-то скучнейшую чепуху, суетились без толку, раздраженные и оскорбленные, и все норовили задеть друг друга за живое». Здесь ключевыми словосочетаниями в равной мере являются «рожденные на коммунальных кухнях реплики» и «москвичи все как один раздраженные и оскорбленные». Таковы, за редким исключением, диалоги взрослых персонажей «Роз и хризантем», и таковы же они сами. С. Шенбрунн дает обе стороны жизни: «скучнейшую чепуху» будней, но и оскорбленность. А это переживание человечнейшее; мы помним, что у Достоевского оно связано с униженностью (социальными условиями, разумеется). Стало быть, романист любит своих униженных героев... да нет, не то чтобы любит – понимает.



С. Шенбрунн писала свой роман почти по горячим следам. Ей было за двадцать. Она все помнила. И что помнила, записывала. Вот и вышла летопись. Спокойствие летописца обусловлено не безразличием к фиксируемым событиям, к их добру и злу, а сознанием ответственности за достоверность летописания, которую легко размыть личными пристрастиями летописца, а потому необходимо быть максимально беспристрастным, максимально избегать собственного суда над событиями и их участниками. Ибо то, что кажется правым и благим мне, может, в конечном счете, оказаться не таким уж правым и благим, а то еще и злым и неправым. Кстати, слово «равнодушие», в обыденной речи употребляемое как синоним «безразличия», «безучастности», по своему истинному смыслу таковым не является. *Равно-душно* – значит с «равной душой» относиться... не к добру и злу, разумеется, а к тому, что тебе, в твоём индивидуальном видении, представляется добрым и злым. *Равно-душие* исходит из признания своей возможной ошибки в оценках, и это главное свойство летописца, обеспечивающее достоверность летописания. Этим свойством в полной мере обладает автор романа «Розы и хризантемы».

С помощью какого приема достигнут эффект летописности? Как это сделано? Так вот, это не сделано. Я хочу подчеркнуть бесхитрость, ненамеренность почти бессюжетного повествовательного потока. Ею, как я понимаю, владели два чувства: благодарности всему окружающему, так или иначе помогшему ей прожить первую пору жизни; и значительности всего того, что прожито, увидено, услышано, прочувствовано, – значительности не по делам житейским, а по самому Делу Жизни, важнее которого ничего и не может быть. Как бы ни проходили день за днем и час за часом индивидуальные существования: самой Светы Штейнберг (главной героини романа), ее родных, близких, соседей по коммунальной квартире и – шире – соседей по Москве и по эпохе, какими бы мелкими, зачастую пошлыми, ни казались их интересы, их радости и горести, их вожделения и страхи, но ведь зачем-то же все они явились в мир! И если даже, раздраженные и оскорбленные, они подчас (и это под час растянуто на годы и десятилетия) суетятся без толку, задевают друг друга за живое, крутятся и выкручиваются, дурачатся и пьют до одури, склошничают, болтают неведь что – все равно их жизни заслуживают увековечения словом.

Удивительно, как авторская память вобрала в себя бесконечные диалоги, заполняющие страницы романа (хоть сейчас инсценируй), сохранив особенности речи каждого персонажа: литературно-язвительной – папы-писателя; нудно-менторской – мамы; сочно-вздорной – бабушки...

Все герои «Роз и хризантем», даже самые косноязычные, имеют право на свое слово. Они – люди, пусть и одичавшие от страшной и гнусной «обязаловки» конца «великой» сталинской эпохи, от необходимости лгать и изворачиваться. Они – люди, наделенные членораздельной речью.

Что же касается названия романа и авторского полушутливого объяснения его, то я бы дополнил последнее соображениями о добре и зле. Добро – то, что нажито в романе. Ну, а добро и зло – две стороны бытия, и дело художника, как его понимает Светлана Шенбрунн, *равно-душно*, равно душевно высветить и ту, и другую. Обязательно обе!

*Михаил Копелиович*

**«ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ»** [Комментированное издание. Перевод р. Нохума Рапопорта и Бориса Камянова (Авни)]; **«РАССКАЗЫ О НЕОБЫЧАЙНОМ РАБИ НАХМАНА ИЗ БРАСЛАВА»** [С комментариями р. Адина Штейнзальца. Перевод рассказов с идиш – р. Авигдор Ганц. Перевод комментариев с иврита – Арье Ротман. Литературная обработка – Барух Авни (Камянов)] – Иерусалим, ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ИУДАИЗМА В СНГ, 2000.

Есть три области знания, в каждой из которых одинаково хорошо разбирается любой еврей: политика, религия и литература.

Почему политика? Даже объяснять неинтересно.

Почему литература? Наверное, оттого, что иврит – праязык, на котором Б-г сотворил мир, – сидит где-то в генной структуре и прорывается, если не в собственно творчестве, то в ощущении, что мне эта словесная петрушка – трын-трава и зеленые помидоры.

Почему религия? Согласно Мидрашу, первые девять месяцев каждого еврея, вплоть до его появления на свет, ангел изучает с ним Тору. После первого самостоятельного вздоха плоды учебы перемещаются в подсознание, дабы потом, в сознательной жизни, душа услышав знакомые звуки, начинала звучать, как арфа царя Давида под дуновением ветерка. Как и во всяком музыкальном деле, есть люди с абсолютным слухом, а есть с отпечатком когтистой лапы на ушной раковине.

Когда вышеуказанные области знания пересекаются или накладываются друг на друга – амбициям и апломбу нет конца. Тем более в Стране Израйля, где с детства лелеемая «хуцпа» при любом удобном случае струится горлом, словно кровь у чахоточного. Хуцпа, кстати, давно международное понятие, именно в таком виде оно существует в американском английском. А если американцам пристало, то уж нам, русскоговорящим, тем более с руки.

Итак, когда дело заходит о переводах религиозных текстов на русский язык, каждый, окончивший среднюю школу в святом городе-герое Кишиневе или благословенном Урюпинске, немедленно превращается в эксперта. Впрочем, на бывших москвичей и ленинградцев это распространяется в той же мере. Уровень образования и степень интеллигентности тут не играют роли, еврей точно знает – я это уже проходил, и с полным внутренним римским правом принимается переводить или оценивать.

Институт изучения иудаизма в СНГ выпустил в 2000 году две книги из тех, которые я неосмотрительно зарекся читать: «Песнь песней» царя Соломона и «Рассказы о необычайном раби Нахмана из Браслава». Прекрасно изданные, снабженные подробными комментариями.

Переводить комментарии на русский язык вообще штука замысловатая. Во-первых, их очень много – какие выбрать? Во-вторых, они часто опираются на грамматические особенности текста, исчезающие при переводе. Ну как, например, объяснить, что половина первой фразы «Песни песней» написана в третьем лице, а другая в первом. Из этого несоответствия следуют головокружительные выводы, которые совершенно не-

возможны без знания грамматики иврита. Перевести так, как есть, получится коряво и вызовет шквал насмешек со стороны знатоков и любителей «настоящей» литературы.

Да и как объяснить, что не литература это вовсе, а глубочайшая философия, что о каждой строке этих книг написаны тома, что существует целая библиотека комментариев и проч. и проч., а по мотивам пусть Дюма переводят или Фенимора Купера. И надо ли объяснять? Может лучше – пусть их...

Книги изданы обстоятельно, я бы даже сказал – роскошно. И не только полиграфически, что тоже немало, но и структурно. Два ряда классических комментариев – согласно простому и аллегорическому смыслу, плюс комментарий рава Адина Штейнзальца. Работа по отбору проделана просто титаническая: тут и Раши и Талмуд и мидраши и «Даат Микра» – перелопатить такую гору материалов не так просто даже для ивриторожденного специалиста со способностями выше средних. Но основное достоинство перевода состоит, все-таки, в другом. Сейчас, наберу воздуха и начну с красной строки.

Уважаемый читатель! Я знаю, что слово «революция» и все, с ним связанное, вызывают у вас устойчивые рвотные позывы, но, тем не менее, я позволю себе употребить этот термин. Раввин Нохум-Зеэв Рапопорт и Барух Авни совершили маленькую революцию в области переводов канонических текстов. Впервые за всю историю неивритоговорящего человечества текст разбит на репризы, с указанием действующих лиц. То есть, вместо того, чтобы догадываться, кто – кому – что – когда сказал, читатель попросту читает ремарки, как в тексте пьесы, и сразу все понимает. Ну, насчет всего, я, может, немного преувеличиваю, но маски, надетые нашей неграмотностью на сияющие лица персонажей, сорваны, и это есть не просто хорошо, а хорошо очень!

И главное, не удержусь от радостного крика! – наконец-то появились по-русски комментарии к сказкам раби Нахмана.

Много лет назад, через несколько дней после моего приезда в Израиль, реб Боря Камянов подарил мне книжку сказок раби Нахмана, выпущенную издательством «Шамир». Литературную обработку перевода совершил сам реб Боря, и язык сказок получился до объединения вкусным, похрустывающим в междометиях, как свежеиспеченная маца.

К тому времени я уже немного отведаль от древа хасидских притч и потому кинулся на сказки, закусив удила. Увы, энтузиазм мой быстро уявл, уступив место горькому разочарованию.

Нет, сами сказки оказались очень интересными. Но главного, ради чего были написаны эти притчи, я не понял. Не мог понять. Горечь читателя, подробно изучающего аллегорию без всякой надежды уловить ее смысл, понятна без комментариев. Как Буратино, я пытался согреться у нарисованного очага, однако носа, чтобы проколоть холст и увидеть заветную дверку, у меня не было, «шамировская» книжка вышла без пояснений.

Конечно, они существуют на иврите, и я даже читал некоторые из них; но удовольствие усесться вечером в желтом круге лампы, заварить душистый чай и всласть почитать – увы, мне доступно только на русском языке, и, видимо, так уже и останется, до личного знакомства с раби Нахманом.

Реб Боря Камянов со товарищи, почти все в прошлом сотрудники «Шамира», искупили, наконец, свой давний грех перед читателями, подготовив к печати «Рассказы о необычайном» с подробными объяснениями рава Штейнзальца. «Ну, вот теперь все, наконец, станет на свои места», – радостно думал я, заваривая чай. Чай, как и предвиделось, получился душистым, что же касается ожидания полной ясности, то оно, как видно, проистекает из источника, именуемого «хушпа». Ясность не наступила, хотя многие вещи рав Штейнзальц мне объяснил.

Наверное, мудрость хасидских притч невозможно понять из одной книги, какой бы хорошей они ни была. Но хорошая книга будоражит вкус, вкус порождает аппетит, а аппетит есть начало многих полезных начинаний.

*Яков Шехтер*

**Яков ХРОМЧЕНКО. «Берез весеннее вино». – Иерусалим, «СКОПУС», 1998.**

Цельность и верность себе – определяющие черты человеческого и писательского характера Якова Хромченко. Не чудо ли – а чуда он ждет постоянно, – что, пройдя через войну, тюрьмы и лагеря, ему удалось сохранить почти наивную, почти детскую восприимчивость, доверие к жизни, даже романтизм, начисто исчезнувший из современной поэзии? Почти – потому, что, несмотря на органически присущие поэту свежесть взгляда, наблюдательность, влюбленность в переменчивые краски природы (отнюдь не всегда благосклонной к нему) – именно благодаря прошлым испытаниям (или вопреки им), – стало разборчивее зрение, острее переживание. Драматизм опыта не вступает в противоречие с непосредственностью чувства. Даже в лагерном цикле «Кандальный перезвон колес», открывающем книгу, с трагическими строфами соседствуют просветленные. Читаю в одном из стихотворений: *«Солнце сюда не заходит летом, / Здесь и весной – зима. / Может быть, в небе на месте этом / Также стоит тюрьма?..»* Это неожиданное допущение, это обыденное «может быть» превращает, казалось бы, незамысловатые строки в поэзию. И рядом другая весна: *«За белой пеной рваных кружев / Почти прозрачна бирюза, / И солнце, прыгая по лужам, / Пускает зайчиков в глаза»*. Под этой беспечной картинкой не совместимая с ней дата: «Минлаг. Абезь. 1951г.».

Впрочем, точная датировка, с указанием места и даты создания того или иного стихотворения, не случайна для этой книги: в стихах явлен день и час, конкретное, всегда сочувственно зафиксированное состояние природы, конкретное живое переживание. Волнение, лишенное пафоса, спокойная естественная интонация, за которой «несвыносимая легкость бытия». Не зря в стихах разного времени возникает эпитет «легкий»: *«И рифмы, легкие, как пена, / Как снег с июльских тополей.»* и *«Созвучных строф полет предвечный / И имя легкое твое.»*, и *«Легких слез мгновенный след»*. Трудная судьба – и легкое дыхание. Не в

этом ли особенность, лишенная претензий оригинальность поэзии Якова Хромченко?

В стихах Хромченко всепроникающая нежность, как ни устарело это слово. В книге много пейзажей, мягких, акварельных; любой уголок, любое деревце России или Израиля увидены добрым, приметливым глазом:

*Весенней горлицей воркуют провода,  
Норд-ост песок несет с дороги.  
Как запоздалая беда,  
Пес ковыляет колченогий...*

Яков Хромченко – сценарист, кинорежиссер, прозаик – в Израиле с 1973 года. Его первая тоненькая книжка стихов вобрала в себя и привязанность к не шадившей его России, и горечь расставания с ней, и готовность к новым впечатлениям, обживание непривычного ландшафта, скорее (у этого поэта) лиричного, чем сурового.

Особое и значительное место в книге занимают стихи о любви: отдельные стихотворения, циклы и венок сонетов «Август». Небольшое отступление: когда-то меня, только начинавшую предаваться рифмованному говоренью, привели к замечательному поэту Самуилу Галкину, писавшему на идише. Он попросил меня прочитать стихи о любви. Поэт считал, что только по тому, как выражает себя человек в этой теме, можно судить о его творческих перспективах. Судя по книге Якова Хромченко, он и в молодости с блеском выдержал бы этот экзамен. О любви он писал всегда – тонко, искренне, счастливо и печально. Героиня этих стихов – а она почти везде одна – написана достоверно и проникновенно, наделена интересным и трудным характером. Это история любви, высокой и сложной, с внутренним конфликтом и внутренней гармонией.

*Все рядом: и свершенья, и утери.  
И можно жить, то веря, то не веря,  
Все «да» и «нет» расставив по углам,  
И вдруг понять на половине слова,  
Что час настал, и ты уйти готова,  
Что мир угас и сердце пополам.*

Но «мир» в стихах Якова Хромченко не угасает:

*Как странно: фотоаппаратом  
Тебя я осветил когда-то.  
А тень скорбей? Осколки лет?  
Лишь блеск и влажность акварели.  
Толпятся легкие апрели...  
И легких слез мгновенный след.*

Не могу не сказать и о вошедших в книгу переводах из Рахели и Лии Гольдберг – вошедших весьма органично, выполненных с завидной бережностью к оригиналу, любовно и тщательно.

**Елена Аксельрод**

## ШАТЕР КНИГИ

---

### Книги на русском языке, вышедшие в Израиле в 1999 году<sup>1</sup>

*Артикулъ, № 2.* [Издание тель-авивского клуба литераторов]. – Тель-Авив. – 112 с. Тел. 972-8-9457588.

*Гиршов Йосеф.* Стихотворения. Иерусалим – Тель-Авив: Starlight. – 96 с. Тел. 972-3-5379548.

*Дорошко-Берман Наталья.* Повесть несбывшихся надежд. [Рассказы]. Тель-Авив: Starlight. – 128 с. Тел. 972-3-5379548.

*Казимирова Елена.* Темное царство. [Проза]. – Тель-Авив: Starlight. – 188 с.

*Кедр. № 4.* [Альманах поэзии и прозы]. – Иерусалим: S-press. – 80 с. Тел. 051-604169.

*Колганов Леонид.* Средь белого ханства. [Стихи]. – Москва – Тель-Авив – Кирьят-Гат. – 56 с. Тел. 972-7-6813496.

*Перебирая дни... №2.* [Альманах. Поэтический театр]. – Кирьят-Гат. – 118 с. Тел. 972-7-6813496.

*Плетнева С. А.* Очерки хазарской археологии. – Москва – Иерусалим: Гешарим. – 360 с. Тел. 972-2-9931194.

### Книги на русском языке, вышедшие в Израиле в 2000 году<sup>2</sup>

*Аксельрод Елена, Яхилевич Михаил.* Стена в пустыне. *Библиотека Иерусалимского журнала.* [Стихи, живопись]. – Иерусалим: «Alphabet». – 156 с. Тел. 972-2-5353129, 972-8-9956254.

*Александров Вильям.* Смерть президента. – Иерусалим: ЛИРА. – 264 с. Тел. 972-2-6761629, 972-2-6412690.

*Анекдоты от Гершеле Острополера.* Классический еврейский юмор. [Перевод с идиша: Хаим Бейдер]. – Москва – Иерусалим: Гешарим. – 224 с. Тел. 972-2-9931194.

*Басовский Наум.* Полнозвучие. [Стихи]. Иерусалим: Скопус. – 240 с. Тел. 972-3-9500662.

*Белая Ирина.* Солнечный зайчик. Сказки. [Илл. Михаил Алюков]. – Иерусалим: ЛИРА. – 48 с. 972-2-6412690.

*Беленький Марьян.* Государство, это я. – Иерусалим: ЛИРА. – 176 с. Тел. 972-051-415301, 972-2-6412690.

---

<sup>1</sup> Начало списка см. в №№ 4 – 6 «Иерусалимского журнала». Окончание списка будет опубликовано в следующем номере.

Список книг, вышедших на русском языке в Израиле в 1998 году, опубликован в №№ 1 – 3.

<sup>2</sup> Продолжение списка – в следующем номере.

**Войтовецкий Илья.** Личное. [Стихи]. – Беэр-Шева: издание автора. – 128 с. Тел. 972-8-6432807.

**Воловик Александр.** 200 стихотворений. – Иерусалим. – 232 с. Тел. 972-2-5862333.

**Волишебное слово.** [Учебное пособие по русскому языку как иностранному. Составитель: д-р Белла Токарская]. – Иерусалим: ЛИРА. – 160 с. Тел. 972-2-6412690.

**Время искать.** №3. [Журнал общественно-политической мысли, истории и культуры]. – Иерусалим: Издание культурно-просветительного общества «Тезна». – 208 с. Тел. 972-2-6241372.

**Гершзон Роман.** Музеи Иерусалима. – Иерусалим: ЛИРА. – 96 с. Тел. 972-2-6412690.

**Гиора Хагит.** Ближневосточные сказки. – Иерусалим: ЛИРА. – 248 с. Тел. 972-2-6719203.

**Голлер Борис.** Флейты на площади. [Театр, проза, эссе]. – Иерусалим: ЛИРА. – 472 с. Тел. 972-2-6412690.

**Гринберг Э., Левин В.** К Земле обетованной. [Очерк истории сионистского движения в Украине]. – Иерусалим: ЛИРА. – 168 с. Тел. 972-2-6412690.

**Днепро Аркадий.** Интурист из Тель-Авива. [Путевые заметки в стихах и прозе]. – Тель-Авив: Оникс. – 80 с. Тел. 973-3-6731604.

**Долгопольский Хаим.** Времена и знамения. Еврейские праздники: история и становление. [ТХИЛА. Израильское секулярное движение за гуманистический иудаизм]. – Иерусалим: Verba Publishers. – 188 с. Тел. 972-2-5859412.

**Дымова Лорина.** Сказала блондинка... Сказала брюнетка... [Ироническая поэзия]. – Иерусалим: ДААТЦ. – 88 с. Тел. 972-2-6437272.

**«22», №№ 115 – 118.** [Общественно-политический и литературный журнал еврейской интеллигенции из СНГ в Израиле]. Тель-Авив: Москва – Иерусалим (подготовка к печати: Меркур). – 224 с. Тел. 972-37394525.

**Зарифьян Наира.** Мой театр. [Стихи]. – Петах-Тиква – Бишкек: Бийиктик. – 340 с. Тел. 972-51-965608.

**Зеркало.** №13 – 14. [Литературно-художественный журнал]. Сдвоенный выпуск. Тель-Авив: Симаней Дфус. – 232 с. Тел. 972-3-5286053.

**Зорин Фрэдди.** Долгий миг. [Стихотворения и поэма]. Тель-Авив: Starlight». – 80 с. Тел. 972-8-8643460.

**Иерусалимский журнал.** №№3 – 6. [Журнал израильской литературы на русском языке]. – Иерусалим: Скопус; издание творческой ассоциации «Иерусалимская антология»,. – 288 – 320 с. Тел. 972-2-6434005, 972-2-6432962, 972-5384914, 972-54-745322. Факс 972-2-5384914.

**Кедр.** № 5. [Альманах поэзии и прозы]. – Иерусалим: S-press. – 182 с. Тел. 972-51-604169.

**Ким Юлий.** Путешествие к маяку. *Библиотека Иерусалимского журнала.* [Стихи, проза, драматургия]. – Иерусалим: Скопус. – 240 с. Тел. 972-2-6564023; 972-2-6432962; 972-2-5384914.

**Кирияцкий Александр.** На закате эпохи. [Стихи]. Иерусалим: МИКА. – 198 с. Тел. 972-2-6568389.

**Клецель Вениамин, Палванова Зинаида.** Иерусалимские картинки. *Библиотека Иерусалимского журнала.* [Стихи и рисунки]. – Иерусалим: Скопус. – 88 с. Тел. 972-2-6432962, 972-2-5851984.

**Кнастер Лиора.** Андрогин. [Стихи]. Иерусалим: Скопус. – 128 с. Тел. 972-2-6785646.

**Красильщиков Аркадий.** Рассказы в дорогу. *Серия: Литература Израиля.* [Рассказы]. – Москва – Иерусалим: Гешарим. – 174 с. Тел. 972-2-9931194.

**Кузнецов Эдуард.** Шаг влево, шаг вправо... [Проза]. Тель-Авив – Иерусалим: Иврус. – 352 с. Тел. 972-3-9645147.

**Кулешова Инна.** На окраине слова. [Стихи]. – Тель-Авив: Pilies Studio Publisher. – 200 с. Тел. 972-3– 6832853.

**Лезинский Михаил.** ...Стал бы уголовником. [Роман-признание]. – Иерусалим: S-press. – 224 с. Тел. 050-494492.

**Люксембург Эли.** В полях Амалека. *Серия: Литература Израиля.* [Повести и рассказы]. – Москва – Иерусалим: Гешарим. – 208 с. Тел. 972-2-5856707.

**Оксман Арон.** Евреи в Российской империи и Советском Союзе. – Изд. 2-е – Иерусалим: ЛИРА. – 144 с. Тел. 972-2-6412690.

**Островский Григорий.** Художники. [Повести, рассказы, очерки, воспоминания]. – Тель-Авив: Pilies Studio Publisher. – 192 с. Тел. 972-3-6832861.

**Пейсахович Елена.** Зеркальный лабиринт. [Стихи]. – Иерусалим: S-press. – 96 с. Тел. 972-51-494492.

**Песнь песней.** [Комментированное издание; перевод р. Нохума-Зеева Рапопорта и Бориса Камянова]. Иерусалим–Москва: издание Института изучения иудаизма в СНГ. – 104 с. Тел. 972-2-6244486.

**Рассказы о необычном раби Нахмана из Браслава.** (с комментариями Адина Штейнзальца). – Иерусалим–Москва: издание Института изучения иудаизма в СНГ. – 320 с. Тел. 972-2-6244486.

**Ратнер Дина.** Борщ для тоскующего оле. [Повести и рассказы]. – Иерусалим: Скопус. – 384 с. Тел. 972-2-5868366.

**Резников А.** Иерусалимский след. – Иерусалим: ЛИРА. – 312 с. Тел. 972-2-6418498.

**Штейн Борис.** Полеты с Даниилом. [Литературные бредни]. – Иерусалим: Скопус. – 104 с. Тел. 972-2-6432962.

Заказать книги можно, связавшись с авторами или издателями.

Издатели и авторы, желающие опубликовать в «Иерусалимском журнале» информацию о вышедших книгах, могут прислать эти сведения в редакцию.



**Елена АКСЕЛЬРОД** родилась в Минске, жила в Москве. Репатрировалась в Израиль в 1991 году. Автор десяти книг для детей и семи поэтических сборников. Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля. Живет в Араде.

В «ИЖ» опубликован цикл ее стихов «Сон о танцевальном классе» (№ 3) и рецензия на книгу Юрия Шаркова «Долгое мгновение» (№ 5). В Библиотеке Иерусалимского журнала в 2000 году вышла книга Елены Аксельрод и Михаила Яхилевича «Стена в пустыне».

**Тирца АТАР** (1941 – 1977) – ивритская поэтесса, дочь поэта Натана Альтермана. Погибла в автомобильной катастрофе.

**Иегуда АТЛАС** родился в 1937 году. Автор многих книг ивритских стихов для детей. Наибольшую популярность приобрел его сборник «И этот мальчик – я», послуживший основой для известной театральной композиции.

**Степан БАЛАКИН** родился в 1943 году в Чимкенте (Казахстан). Жил также на Украине, в России, Узбекистане. По образованию филолог. Один из организаторов ташкентского КСП «Апрель» и Всесоюзных фестивалей авторской песни «Чимган». Стихи публиковались в литературной периодике и коллективных сборниках. Живет в Ташкенте.

**Эли БАР-ЯЛОМ (Могилевец)** родился в 1968 году в Ленинграде. В 1974 году его семья репатрировалась в Израиль. Окончил Технион и работает в электронной промышленности. Пишет стихи и прозу на иврите и на русском. Ивритские стихи публиковались в журналах «Мознаим», «Эв», «Бейт а-Софер», «Мабуа»; стихи на русском языке – в сборниках «Одинокый остров» (Москва), «А шарик летит...» (Израиль). Лауреат фестивалей авторской песни «Дуговка» (1996, 1999). Живет в Хайфе.

**Григорий БАРДИН (Аврущенко)** родился в 1945 году в Москве. Окончил геофак МГУ. Репатрировался в 1991 году. Публиковался в литературной периодике и коллективных сборниках. Живет в Иерусалиме. Работает инженером.

**Наум БАСОВСКИЙ** родился в Киеве в 1937 году. Репатрировался в Израиль в 1992 году.

Автор трех сборников стихов, а также поэтических переложений книги «Коэлет» («Экклезиаст») и книги пророка Нахума. Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля.

Живет в Ришон-ле-Ционе. Работает инженером.

В «ИЖ» опубликован цикл его стихов «Место, где каждодневно живёшь» (№ 4) и эссе «Три аквариума» (№ 6). В 2000 году в Библиотеке Иерусалимского журнала вышла книга стихов Наума Басовского «Полнозвучие».

**Итамар БЕН-АВИ** (1882, Иерусалим – 1943, Ист-Орендж). Журналист, сын Бен-Иегуды. Во время первой мировой войны жил в США. Вернувшись в 1919 году в подмандатную Палестину, основал в Иерусалиме ежедневную газету «Доар а-йом», которую редактировал до 1929 года. Автор многих новых терминов и оборотов современного иврита. Написанную на иврите биографию отца «Ави» издал в 1937 на латинице. В 1939 вновь уехал в США, где и умер. В 1947 году его прах был перевезен в Иерусалим. В Иерусалиме его именем названа улица в районе Тальбия.

**Дмитрий БОБЫШЕВ** родился в Мариуполе в 1936 году, вырос и жил в Ленинграде, участвовал в самиздате. На Западе с 1979 года. Книги стихов: «Зияния» (Париж, 1979), «Звери св. Антония» (Нью-Йорк, 1985), «Полнота всего» (Санкт-Петербург, 1992), «Русские терцины и другие стихотворения» (Санкт-Петербург, 1992), «Ангелы и Силы» (Нью-Йорк, 1997). Один из авторов-составителей «Словаря поэтов русского зарубежья». Профессор Иллинойского университета (Шампэйн-Урбана), США.

**Марк БОГОСЛАВСКИЙ** родился в 1925 году в Харькове. Во время войны работал слесарем на оборонном заводе в Омске. Добровольцем ушел на фронт. Был дважды ранен. Закончил филфак Харьковского университета. Учителем в Архангельской области. Преподавал в харьковском Институте культуры. Стихи и статьи публиковались в «Новом мире», «Юности», «Вопросах литературы» и др. Автор трех книг стихов и книги статей. В Израиле с апреля 2000 года. Живет в Нетании.

**Йона ВОЛАХ** (1944, Кирият-Оно, – 1985, Тель-Авив) родилась в семье выходцев из Бессарабии. Ее отец погиб в Войну за Независимость, когда Йоне было четыре года. В шестнадцать она бросила школу за отсутствием интереса к программе обучения. В 1961 – 1962 гг. занималась живописью в Тель-авивской художественной академии им. Авни. Первые публикации в литературной периодике относятся к 1964 году. Входила в группу «Молодая поэзия», отрицавшую идеологию и мораль израильского истеблишмента. В 1966 вышел ее первый сборник «Дварим» («Слова»), закрепивший за ней репутацию талантливой и самой дерзкой поэтессы своего поколения. Второй сборник «Шней ганим» («Два сада», 1969) выдержан в форме диалога с самой собой, акцентирующего трагическую раздвоенность мира, в котором мрачные силы пытаются уничтожить все светлое и возвышенное. Это сквозная тема творчества поэтессы. В 1976 вышел сборник «Шура» («Поэзия»), и в 1983 – «Ор пэрэ» («Дикий свет»). В 1980 году у Ионы Волах обнаружили раковое заболевание. В год кончины поэтессы вышли ее книги: «Мофаа» («Представление») и «Цурот» («Формы»). Для стихов последнего периода характерны усложненная ассоциативность, красочная, почти живописная аранжировка и вызывающий эпатаж. Йона Волах – лауреат литературных премий муниципалитетов Тель-Авива и Холона (1977), а также премии Леви Эшколя (1978).

**Ефим ГАММЕР** родился в 1945 году в Оренбурге. В том же году его семья переехала в Ригу. Окончил Латвийский государственный университет (отделение журналистики). Репатриировался в 1978 году. Автор десятка книг стихов и прозы, изданных в Латвии, Израиле, США и России. Лауреат премии тель-авивского Фонда развития литературы и искусства, а также премии Международного союза журналистов «Золотое перо» (за освещение войны в Ливане). Его графические работы неоднократно отмечались золотыми и серебряными медалями на международных выставках «Арт-интер» во Франции, получили первое место на Всемирном конкурсе миниатюристов в Австралии (1994). Живет в Иерусалиме. Работает на радиостанции РЭКА.

**Йонатан ГЕФЕН** родился в 1947 году. Как поэт получил в Израиле признание в конце 60-х после выхода сборника стихов «В основном о любви». Автор широко известного цикла детских стихов «Шестнадцатая овца», послужившего основой для многих театральных композиций. Пишет также прозу. В газете «Маарив» еженедельно публикуются его эссе.

**Лев ГИЛАТ (Фрейдин)** родился в 1939 году в Москве. Окончил Московский геологоразведочный институт. Работал в Заполярье – в Сибири, на Чукотке. Во время Шестидневной войны 1967 года «понял, что находится не на той стороне линии фронта». К счастью, в отказе провел относительно немного лет и в 1971, после двух сидячих забастовок, получил разрешение на выезд. Участник войны Судного дня (1973) и войны в Ливане (1982). В 1990 году защитил диссертацию по тектонике и потенциальной рудоносности Израиля. Работает в Израильской геологической службе. Живет в Иерусалиме.

**Дмитрий ГОЛЬДШТЕЙН** родился в 1965 году в Ташкенте. Окончил матфак Ташкентского госуниверситета. Репатриировался в 1991 году. Живет в Беэр-Шеве. Преподает математику в университете им. Бар-Илана. За помощь, оказанную при его литературном становлении, благодарит профессора филологии Петра Иосифовича Тартаковского.

**Михаил ГОРЕЛИК** родился в 1946 году в Москве. Автор статей, эссе, прозаических произведений, опубликованных в литературных журналах России, Германии, Израиля. Живет в Москве.

В «ИЖ» опубликована его рецензия на книгу Нины Воронель (№ 4) и статья «В поисках дома» о мемуарах М. Агурского (№ 5).

**Семен ГРИНБЕРГ** родился в 1938 году в Одессе. С детства жил в Москве. Репатриировался в 1991 году. Живет в Иерусалиме. Здесь вышли четыре книги его стихов. Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля (1997). В «ИЖ» № 2 опубликован цикл его стихов «Дни творения».

**Лорина ДЫМОВА** родилась в Свердловске, жила в Москве. Репатрировалась в 1992 году.

Автор книг стихов «Журавль в небе» (1982), «Миг золотой» (1989), «Колыбельная перед разлукой» (1995), «Стихи о Прекрасной даме и Одном господине» (в соавторстве с Леонидом Черкасским, 1996), «Сказала Блондинка... Сказала Брюнетка» (2000), а также книг прозы «Милая женщина в окружении динозавров» (1995) и «Эти непонятные женщины» (1997).

За переводы болгарской поэзии на русский язык награждена орденом Кирилла и Мефодия первой степени. Лауреат премии «Золотой теленок» «Литературной газеты».

Живет в Иерусалиме.

Рассказы Лорины Дымовой опубликованы в «ИЖ» № 2.

**Венедикт ЕРОФЕЕВ** (1938, Кольский полуостров – 1990, Москва). Окончив с золотой медалью школу, поступил в Московский университет, где проучился полтора года. В мае 1957 был отчислен за непосещение занятий на военной кафедре. Писать, по свидетельству матери, начал с пяти лет. Первым его значительным произведением стали «Записки психопата» (1956 – 1958), до нас не дошедшие. В 1962 году написано «Благовествование» – своеобразный, в стиле Евангелия, манифест российского экзистенциализма. Осенью 1969 года Ерофеев за три недели создает свой шедевр – прозаическую поэму «Москва – Петушки», переведенную на тридцать языков. Еще до того, как пришла к автору всемирная слава, его книга, распространившаяся в машинописных копиях Самиздата, была, как «Горе от ума», растаскана на пословицы, существенно обогатив лексику русского языка.

Впервые на русском языке поэма «Москва – Петушки» была опубликована в иерусалимском журнале «АМИ» летом 1973 года. На родине Ерофеева поэма увидела свет в альманахе «Весть» 16 лет спустя. В 1972 году Ерофеев закончил вчерне роман «Дмитрий Шостакович», рукопись которого была утеряна; попытки ее восстановления успехом не увенчались. Летом 1973 года он пишет эссе «Розанов глазами эксцентрика». Автор трагедии «Вальпургиева ночь или шаги Командора» (весна 1985 года). Тогда же Ерофеев заболел раком горла, что в значительной степени помешало реализации его дальнейших творческих планов.

**Елена ИГНАТОВА** родилась в Ленинграде. С 1975 года публиковалась в изданиях русского зарубежья. Автор поэтических сборников «Стихи о причастности» (Париж, 1978), «Теплая земля» (Ленинград, 1989), «Небесное зарево» (Иерусалим, 1992), прозы, опубликованной в литературной периодике, а также «Книги о Петербурге» (Санкт-Петербург, 1997). Стихи включены в антологии русской поэзии и переведены на разные языки.

В 1990 году переехала в Израиль. Живет в Бейт-Шемеше.

В «ИЖ» опубликована повесть Елены Игнатовой «Педивер» (№ 1) и рецензия на книгу Славы Курилова «Путь» (№ 6).

**Нурит ЗАРХИ** – поэтесса, автор многих книг стихов и рассказов, вошедших практически во все антологии ивритской литературы для детей (сказка «Авигайль с Царской горы» и др.).

**ИИСУС ХРИСТОС (Иешуа А-НОЦРИ)** родился в начале нынешней эры в Эрец-Исраэль в семье плотника. Пытался реформировать традиционный иудаизм и проповедовал непротивление злу. Объявил себя царем иудейским, за что был распят римлянами. Его ученики стали основателями христианской религии.

В Иерусалиме находится Храм Гроба Господня, который возведен на месте его захоронения, улица Виа-Долороза и много других святынь для христианства мест, связанных с его именем.

**Феликс КАНДЕЛЬ** (произведения, опубликованные в СССР, были подписаны псевдонимом **Ф. КАМОВ**) родился в 1932 году в Москве. По образованию – авиаконструктор. Писал сценарии документальных и мультипликационных фильмов (один из авторов сценария сериала «Ну, погоди!»). Автор пятнадцати книг прозы. Репатрировался в 1977 году. Живет в Иерусалиме.

**Арнольд КАШТАНОВ** родился в 1938 году в Сталинграде. По образованию – инженер. Автор десяти книг прозы. Один из авторов российско-американской антологии «10 лучших рассказов». Победитель Всесоюзного конкурса на лучший киносценарий (1973). Произведения писателя переведены на другие языки.

После репатриации в Израиль (1991) живет в Нетании.

В «ИЖ» опубликованы его эссе «Успех как эстетический феномен» (№ 1), «Групповой автопортрет с отрезанным ухом» (№ 4) и рецензия на книги Алекса Резникова (№6).

**Юлий КИМ** родился в 1936 году в Москве. Автор около пятисот песен, трех десятков пьес и восьми книг.

С 1998 года живет в Иерусалиме.

Лауреат литературной премии им. Булата Окуджавы (2000).

В «ИЖ» опубликованы циклы стихов Юлия Кима «Из иерусалимской тетради» (№ 1), «Я всё время шёл к тебе» (№ 6») и повесть «Путешествие к маяку» (№ 3). Книга с одноименным названием, куда вошли стихи, проза и пьесы, вышла в 2000 году в «Библиотеке Иерусалимского журнала».

**Дмитрий КИМЕЛЬФЕЛЬД** родился в 1950 в Киеве. Окончил Киевский Институт иностранных языков. Преподавал в школе английский, работал переводчиком в НИИ. В киевском Театре драмы и комедии прошел путь от рабочего сцены до завлита. Был актером в театре «Фрейлехс». Руководил эстрадным ансамблем «ОВИР». Лауреат и член жюри многих фестивалей авторской песни. Репатрировался в 1990 году. Один из руководителей легендарного иерусалимского «Культурного центра выходцев из СССР» на улице Штраус. Автор книги «В те времена» (1996).

Живет в Иерусалиме.

**Аркадий Ф. КОГАН** родился в 1952 году в Харькове. Репатриировался в 1995 году. По образованию математик. Занимается преподаванием математики и психологией. Живет в Беэр-Шеве.

**Игорь КОГАН** родился в 1954 году в Харькове. По образованию математик. В СССР печатался под псевдонимом **Савенко**. Лауреат премии журнала «Крокодил» за лучший рассказ (1988). Помимо литературной деятельности, служил в Советской армии, работал программистом, был кооператором. Репатриировался в 1991 году. Автор книги «Свобода воли» (1995). Живет в Хайфе. Цикл рассказов «Дрозды правления» опубликован в «ИЖ» (№ 1).

**Михаил КОПЕЛИОВИЧ** родился в 1937 году в Харькове. По образованию инженер. Автор многих статей о современной русской литературе, а также об израильской литературе на русском языке. Репатриировался в 1990 году. Публикуется в литературной периодике Израиля, России и США. Живет в Маале-Адумим. В «ИЖ» № 6 опубликована его рецензия на книгу Бориса Голлера «Флейты на площади».

**Зоя КОПЕЛЬМАН** родилась и выросла в Москве, там окончила МИЭМ по специальности «Квантовая электроника» и девять лет провела «в отказе». В Иерусалиме живет с 1987 года, здесь окончила Еврейский Университет по специальности «Ивритская литература» и занимается исследованиями в этой области, преподает. Публикуется в «Вестнике Еврейского Университета» и других периодических изданиях. Составитель книги «В. Ходасевич. Из еврейских поэтов» (Москва – Иерусалим, 1998). Подготовила к публикации фрагмент из романа Фриды Каплан «Покорение пустыни» («ИЖ» № 5). В этом же номере журнала напечатана статья Зои Копельман «В новый край идешь ты...».

**Рина ЛЕВИНЗОН** родилась в Москве. Жила в Свердловске. Репатриировалась в 1976 году. Выпустила 12 сборников стихов на русском языке, 3 – на иврите, книгу на английском, а также книгу переводов с иврита. Ее стихи включены в антологии, изданные в Израиле, России, США и Германии, переведены на иврит, английский, немецкий и арабский. Лауреат трех литературных премий, в том числе, Международного конгресса поэтов (Хайфа, 1992). Живет в Иерусалиме.

**Илья ЛИПЕС** родился в 1952 году в Первомайске (Украина). Учился в пединституте на факультете английского языка в Нежине. Много лет жил в Чернигове и в Черниговской области. Руководил литературной студией Чернобыльской АЭС после случившейся там аварии. В 1989 году переехал в Москву. В 1991 году репатриировался в Израиль. Переводы стихов с украинского, иврита, а также из американской и английской поэзии публиковались в литературной периодике СССР, Израиля и Канады. С 1997 года живёт в Торонто (Канада).

**Елена МАКАРОВА** родилась в Баку. Окончила литинститут им. Горького. Репатриировалась в 1990 году. Автор шестнадцати книг: «Открытый финал» (1989), «Искусствотерапия или Как преодолеть страх» (1986), «Friedl Dicker-Brandeis: Ein Leben fuer Kunst und Lehre (1999)», «University Over the Abyss» (2000, совместно с С. Макаровым и В. Куперманом) и др. Ее работы в области истории, педагогики и искусствоведения переведены на девять языков. Живет в Иерусалиме.

**Илья МАРЬЯСИН** родился в 1923 году в Киеве. Живет в Ришон ле-Ционе.

**Елизавета МИХАЙЛИЧЕНКО** (в реальности – **Элизабет НЕСИС**, в виртуальной реальности – **ЭЛИ7**) родилась в Пятигорске. Автор нескольких книг стихов и прозы, изданных в России и Израиле. Живет в Иерусалиме с 1990 года.

**Сергей НИКОЛЬСКИЙ** родился в 1961 в Москве. Окончил Строгановское художественное училище. Репатриировался в 1990 году. Стихи публиковались в литературной периодике и коллективных сборниках, переводились на другие языки. Живет в Иерусалиме.

**Булат ОКУДЖАВА** (1924, Москва – 1997, Париж). Поэт, прозаик, один из основоположников жанра авторской песни. Кумир российской интеллигенции второй половины XX века. В 90-х годах несколько раз приезжал в Иерусалим. Здесь создан фонд его имени.

**Дан ОРЬЯН** родился в 1966 году в Иерусалиме. Окончил Еврейский университет (Иерусалим, 1991) и курсы Дипломатической академии России (Москва, 1994). Работает в израильском посольстве в России атташе по вопросам культуры

**Уриэль ОФЕК** (1926 – 1987). Израильский поэт и прозаик. Писал преимущественно для детей. Его книги переводились на многие языки. Рассказ «Секрет Дани» в русском переводе вошел в сборник «Дети мира» (Югославия, 1974), официально продававшийся в СССР. Автор одного из переводов «Алисы в стране чудес» Кэрролла на иврит и всех стихотворных переводов в ивритском издании «Властелина колец» Толкина.

**Пинхас ПОЛОНСКИЙ** родился в Москве в 1955 году. Окончил матфак МГПИ. В 1980 – 1987 гг. подпольно изучал иврит и Тору, а затем преподавал иудаизм. Был одним из основателей еврейского культурно-религиозного центра «**МАХАНАИМ**». Принимал активное участие в подготовке к выпуску в самиздате книг по еврейской традиции. В 1987 году, после семи лет отказа, получил разрешение на выезд в Израиль. Автор и составитель большинства книг, изданных «**МАХАНАИМ**». Преподает иудаизм в университете им. Бар-Илана. Живет в поселении Бейт-Эль.

**Ксения ПОЛТЕВА** родилась в Москве в 1981 году. Студентка МГИМО (факультет Международной информации) и Московской консерватории. Лауреат Московского регионального фестиваля авторской песни (2000) Международного фестиваля «Петербургский Аккорд» (2000), 27-го Грушинского фестиваля и Второго канала (2000), молодежной литературной премии «Триумф» (2001).

**Алекс РЕЗНИКОВ** родился в 1946 году в Киеве. До репатриации издал семь книг. В Израиле с 1991 года. В газете «Вести-Иерусалим» ведет рубрики об истории города, его улицах, музеях и достопримечательностях, о своеобразной кулинарии местных ресторанов (печатается также под псевдонимами **Аб Вовкинд** и **Алик Шохат**). Автор книг «Иерусалим: улицы в лицах» (1996; 1999), «Иерусалимский след» (2000), «Застолье с поэтами» (2001). Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» № 4 опубликованы его «Заметки празднующегося».

**Ольга РОГАЧЕВА (Агур)** родилась в Барнауле. С детских лет жила в Баку. Работала в журнале «Молодость». Репатриировалась в 1990 году. Окончила Хайфский университет. Автор книги стихов «Легкое небо» (1995). Живет в поселении Кадури (Нижняя Галилея). Работает в школе-интернате.

**Дмитрий СУХАРЕВ (Сахаров)** родился в 1930 году в Ташкенте. С детских лет живет в Москве. Автор нескольких поэтических сборников. Составитель «Антологии авторской песни». Стихи поэта, озвученные Виктором Берковским, Сергеем Никитиным и другими бардами, стали классикой этого жанра.

Лауреат премии им. Андрея Синявского (2000) и премии им. Булата Окуджавы (2001).

В «ИЖ» № 3 опубликована статья «Последний день Юрия Визбора».

**Биньямин ТАММУЗ (Камерштейн; 1919, Харьков – 1989, Тель-Авив).** В 1924 его семья уехала в Палестину и поселилась в Тель-Авиве. Вскоре после приезда, сверстники сбросили мальчика в яму с известью за то, что он говорил с ними по-русски. Этот эпизод, описанный в рассказе «Сын д-ра Штейнберга», оставил у писателя неизлечимую травму. Из-за симпатий к коммунистам Таммуза не приняли в «Хагану», школьные товарищи от него отвернулись. Он оказался в группе «Кнааним», противопоставившей сионизму любовь к стране, где некогда жили евреи, «не испорченные» веками изгнания. Участники группы были готовы скорее объединиться с местными арабами, чем с новоприбывшими евреями, и осуждали израильтян за нежелание учить арабский язык.

Первые публикации Таммуза появились в журнале «Алеф». Как журналист он дебютировал в листке еврейской подпольной военной организации ЛЕХИ «Миврак» («Телеграмма»), где в 1947 – 1948 годах, под разными псевдонимами печатал критические очерки о литературе, театре, живописи и скульптуре. Его статьи публиковались также в газете «Йом-йом» («Ежедневно»). В 1948



году в газете «А-арец» открыл сатирическую рубрику «Мнение Узи», а позднее – «Узи и К°». 29 ноября 1948 года, в годовщину принятия известной резолюции ООН, Таммуз опубликовал свой протест против Израиля как «еврейского государства». После пребывания в Европе (в 1950 – 1951 гг. Таммуз изучал скульптуру в Париже), он стал отходить от идеологии «Кнааним». С 1967 года редактировал литературное приложение к «А-арец», в котором дебютировали многие израильские писатели.

Автор 24 книг, среди них романы «Эльяким», «На крайнем Западе», «Минотавр», «Реквием по Нааману». Свою последнюю книгу «Хамелеон и соловей» считал духовной автобиографией.

В молодости Биньямин Таммуз профессионально занимался скульптурой. В тель-авивском парке Независимости установлена его работа памяти летчиков, защищавших город от воздушных налетов во второй мировой войне. Ему принадлежат тексты альбомов по израильской скульптуре, а также книги по истории израильского искусства со времен академии художеств и ремесел «Бецалель» до 1960-х годов.

**Владимир ФРОМЕР** родился в 1940 году в Куйбышеве. В Израиле с 1965 года. Окончил истфак Еврейского университета в Иерусалиме. Участник войны Судного дня. В 1972 – 1973 годах соредактор (вместе с Михаилом Левиным) «АМИ» – первого израильского литературного журнала на русском языке. Автор двухтомника «Хроники Израиля».

Живет в Иерусалиме. Работает на радиостанции «РЭКА».

В «ИЖ» опубликованы его эссе «Иерусалим – Москва – Петушки» (№ 1) и «Солдат в Мосаде» (№ 3), а также рецензия на книгу Аркадия Красильщикова «Рассказы в дорогу» (№ 6).

**Светлана ШЕНБРУНН** родилась в Москве. Училась на Высших сценарных курсах. Репатриировалась в 1975 году. Автор книг рассказов «Декабрьские сны» (1990), «Искусство слепого кино» (1998), романа «Розы и хризантемы» (2000), который вошел в финальную шестерку номинантов Букеровской премии. Перевела на русский язык прозу и драматургические произведения многих израильских авторов. Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля (2001). Живет в поселении Гиват-Зезв.

В «ИЖ» опубликованы ее переводы с иврита из Авигодора Шахана (№ 1), Шмуэля Йосефа Агнона (№№ 2, 5) и Иеудит Кацир (№ 4), а также первая часть повести «Пилули счастья» (№ 5).

**Яков ШЕХТЕР** родился в 1956 году в Одессе, учился в Сибири, жил в Вильнюсе. Репатриировался в 1987 году.

Автор книг «Если забуду» (1984), «Народ твой» (1991), «Шахматные проделки бисквитных зайцев» (1998).

Председатель Тель-авивского клуба литераторов. Составитель альманаха «Поэты Большого Тель-Авива» и поэтического сборника «Левантийская корона». Живет в Реховоте.

В «ИЖ» № 6 опубликован его рассказ «Бабушкины сказки».

## СОДЕРЖАНИЕ

### РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

ДМИТРИЙ СУХАРЕВ. Слова, запасенные впрок. *Стихи* ..... 3

### ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

ЕЛЕНА МАКАРОВА. Сценарий прогулки. *Наброски к роману* ..... 11

ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛИЧЕНКО. Дерево и стекло. *Стихи* ..... 41

ФЕЛИКС КАНДЕЛЬ. Дом на обрыве. *Глава из романа* ..... 47

РИНА ЛЕВИНЗОН. Воздух судьбы. *Стихи* ..... 76

ДАН ОРЬЯН. Соревнования, конкурсы и международные отношения

*Рассказ. Перевод Светланы Шенбрун* ..... 82

ЕЛЕНА ИГНАТОВА. «Новый Гоголь родился...» *Глава из книги* ... 86

### ЯФФСКИЕ ВОРОТА

МАРК БОГОСЛАВСКИЙ. Звук на выдохе. *Стихи* ..... 101

МИНЬЯМИН ТАММУЗ. Сахтут. *Рассказ. Перевод Зои Копельман* ..... 107

### СИОНСКИЕ ВОРОТА

АРКАДИЙ Ф. КОГАН. В степях под Херсоном. *Рассказ* ..... 112

### ШХЕМСКИЕ ВОРОТА

ЭЛИ БАР-ЯЛОМ. Покаянная серенада. *Стихи* ..... 117

ИГОРЬ КОГАН. Дурной глаз. *Рассказы*. ..... 121

### БУХАРСКИЙ КВАРТАЛ

СТЕПАН БАЛАКИН. Счастлив одинокий бегун. *Стихи* ..... 141

### УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

ГРИГОРИЙ ОСТРОВСКИЙ. Гаммеризм Ефима Гаммера ..... 149

### УЛИЦА КОРЧАКА

Детские стихи израильских поэтов. ИЕГУДА АТЛАС, ГРИГОРИЙ БАРДИН, ИОНАТАН ГЕФЕН, АЙН ГИЛЕЛЬ, НУРИТ ЗАРХИ, СЕРГЕЙ НИКОЛЬСКИЙ, УРИЭЛЬ ОФЕК, ТИРЦА АТАР. Переводы Григория Бардина, Семена Гринберга, Лорины Дымовой, Ильи Липеса ..... 157

### ГОРОД ДАВИДА

АРНОЛЬД КАШТАНОВ. Земля сия не есть место для покоя. *Эссе* ... 165

ПИНХАС ПОЛОНСКИЙ. Иосиф и его братья. *Недельный комментарий* 180

ДМИТРИЙ ГОЛЬДШТЕЙН. Переложения из книги КОЗЛЕТ ..... 182

НАУМ БАСОВСКИЙ. По ходу мыслей ..... 187

### АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ

ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ. Краски времени. *Стихи* ..... 189

### УЛИЦА ВСЕГДА

АЛЕКС РЕЗНИКОВ. Резцом и словом. *О наших рубриках* ..... 195

### ХОЛМ ПАМЯТИ

ИЕГУДА АМИХАЙ. Так умирал мой отец. *Рассказ. Перевод З. Копельман* 203

ЛЕВ ГИЛАТ. Юда Амихай ..... 210

ЗОЯ КОПЕЛЬМАН. Иегуде Амихаю – вместо некролога ..... 212

ИОНА ВОЛАХ. С корзиной алых ягод. *Стихи. Перевод Ольги Рогачевой* 219

ВЛАДИМИР ФРОМЕР. Поэзия как форма жизни. *Мемуарная новелла*. ... 222

ЮЛИЙ КИМ. Его ли рука? ..... 241

ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ. Не укради ..... 243

### ПАРК САКЕР

ДМИТРИЙ КИМЕЛЬФЕЛЬД. Иерусалимское время ..... 246

КСЕНИЯ ПОЛТЕВА. Грядущему пристойно улыбаясь ..... 248

### ЯФФО, 23

ИЛЬЯ МАРЬЯСИН. Переписка с Булатом ..... 250

### НОВЫЕ ВОРОТА

Рецензии Елены АКСЕЛЬРОД, Наума БАСОВСКОГО, Михаила ГОРЕЛИКА, Михаила КОПЕЛИОВИЧА, Якова ШЕХТЕРА на книги Юрия КОЛКЕРА, Якова ХРОМЧЕНКО, Светланы ШЕНБРУНН, а также на «РОССИЙСКУЮ ЕВРЕЙСКУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ», «ПЕСНЯ ПЕСНЕЙ» и «РАССКАЗЫ О НЕОБЫЧАЙНОМ» ..... 258

### ШАТЕР КНИГИ

Издания 1999 – 2000 года ..... 270

### ИМЕНА

Авторы и персонажи ..... 273

**ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»**



**В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»**

**в 1999-2001 гг. вышли книги:**

**Дина РУБИНА. «Высокая вода венецианцев»**  
*Новая одноименная повесть, рассказы и монологи.*

**Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ.**  
**«Стена в пустыне»**  
*Новые стихи поэтессы и новые картины художника.*

**Юлий КИМ. «Путешествие к маяку»**  
*Поэзия, проза и драматургия*  
**Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА.**  
**«Иерусалимские картинки»**

*Новые стихи З. Палвановой и рисунки В. Клецеля*

**Наум БАСОВСКИЙ. «Полнозвучие»**

*Новая книга стихов*

**Илья БОКШТЕЙН. «Быть я любимым хотел»**  
*Избранные публикации для новых читателей. 1-я часть*

**ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:**

Новая книга стихов **Владимира ДРУКА**  
Новые повести и рассказы **Григория КАНОВИЧА**  
Книга новых стихов и песен **Дмитрия СУХАРЕВА**  
Новая книга стихов **Владимира ФРЕНКЕЛЯ**  
Новая книга стихов **Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ**

**Редколлегия «Иерусалимского журнала» сердечно поздравляет**  
**СВЕТЛАНУ ШЕНБРУНН и БОРИСА ГОЛЛЕРА**  
*с присуждением премий*  
**Союза русскоязычных израильских писателей!**

**ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ - [www.antho.net](http://www.antho.net)**

**Музей современных израильских художников**

Смотрите коллекции работ **Александра АДОНИНА**, **Анатолия БАРАТЫНСКОГО**, **Лиоры БАРШТЕЙН**, **Николая БЕЗЗУБОВА**, **Лей ЗАРЕМБО**, **Гарика ЗИЛЬБЕРМАНА**, **Бориса КАРАВАНОВА**, **Бориса КАРАФЕЛОВА**, **Бориса КИНКУЛЬКИНА**, **Вениамина КЛЕЦЕЛЯ**, **Григория КОЭЛЕТА**, **Эммануила ЛИПКИНДА**, **Ителлы МАСТБАУМ**, **Михаила МОРГЕНШТЕРНА**, **Бориса ЛЕКАРЯ**, **Зелия СМЕХОВА**, **Сергея ТЕРЯЕВА**, **Якова ФЕЛЬДМАНА**, **Давида ХАНАНА**, **Юлии ШУЛЬМАН**, **Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ**, **Михаила ЯХИЛЕВИЧА** и других мастеров искусства.

**НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»**

**АНТОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗРАИЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

Лучшие стихи израильских поэтов, пишущих для детей,  
в переводах **Елены АКСЕЛЬРОД**, **Семена ГРИНБЕРГА**,  
**Владимира ДАНЬКО**, **Лорины ДЫМОВОЙ**,  
**Бориса КАМЯНОВА**, **Вадима ЛЕВИНА** и других поэтов

**ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ**

Альбом живописных и графических работ  
двадцати семи современных израильских художников  
(К выставке 2000 - 2001 годов в залах *Театрон Ерушалаим*)

**Подписку на журнал можно оформить,  
прислав свои почтовые координаты и чек на имя**  
***Jerusalem Anthologia***

по адресу:

**Jerusalem Literary Review, P. O. Box 32297  
Jerusalem 91322**

**Стоимость годовой подписки (4 номера)  
в Израиле – 128 шекелей, включая пересылку.  
в странах Западной Европы и Северной Америки –  
\$64 США, включая пересылку.**

«Иерусалимская Антология» благодарит  
**Клару и Владимира КРАСНОШТЕЙНОВ** (Нью-Джерси),  
**Виктора ЛУФЕРОВА** (Москва), **Якова ЛИВШИЦА** (Иерусалим),  
**Ехизля ФИШЗОНА** (Иерусалим), **Игоря ЦЕСАРСКОГО** (Чикаго),  
**Клару ЭЛЬБЕРТ** (Иерусалим)  
за поддержку журнала.

**Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило),  
банк Апоалим.  
Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo),  
Bank Napoalim**

*Любые пожертвования  
будут приняты с благодарностью*

**JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 7, 2001**  
**ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN**

Internet virtual version: [www.antho.net/L](http://www.antho.net/L)

Israel Union of Writers in Russian

**Jerusalem Anthologia** Association

Editorial Board: **Igor Byalsky** (Editor-in-Chief), **Semion Grinberg**,  
**Zinaida Palvanova**, **Dinah Rubina**, **Svetlana Shenbrunn**, **Roman Timenchik**

Executive Secretary – **Leonid Levinson**

Graphic Designer – **Susanna Chernobrova**

Assistant Editor and Corrector – **Margarita Shklovskaya**

Administrative and technical support – **Binah Smekhova**, **Olga Aksyutina**, **Boris Bronshtein**, **Daniel Burshtein**, **Michael Byalsky**,  
**Victor Gopman**, **Gregory Gordin**, **Shaul Kotlarsky**, **Anton Mukhin**

**SCOPUS** Publishing House

**TSUR OT** Printing House

With the support of Absorption Ministry; Culture Ministry; Repatriate Writers and Artists Integration Center; Culture Department and Absorption Department of Jerusalem City Council; Jerusalem Russian Municipal Library, Zionist Forum; World Association for Study of Interaction of Cultures

Copyright © "Иерусалимский журнал" 2001. All rights reserved.

Copyrights for publications belong to the Authors

**ISSN 1565-1347**

**Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel**

E-mail: [review@antho.net](mailto:review@antho.net)

Phone/Fax: 972-2-5384914; 972-2-6720025; 972-2-6434005; 972-2-6432962

*Jerusalem Review* Representatives:

in Moscow: **Liah Krentcel** – 7-095-4318386

**Igor Gryzlov** – 7-095-5507747; [igorgr@dol.ru](mailto:igorgr@dol.ru)

in Petersburg: **Olga Krupenye** – 7-812-312 5465

in Novosibirsk: **Vladimir Bolotin** – 7-3832-329944; [bolotin55@mail.ru](mailto:bolotin55@mail.ru)

in New-York: **Andrey Gritsman** – [agritsman@worldnet.att.net](mailto:agritsman@worldnet.att.net)

**Rita Balmina** – [rita\\_balmin@yahoo.com](mailto:rita_balmin@yahoo.com)

in Chicago: **Alexander Blinstein** – 1-847-6761134; [RMASIS56@prodigy.net](mailto:RMASIS56@prodigy.net)

**Yefim Kotlyar** – 1-847-5819304; [YefimK@aol.com](mailto:YefimK@aol.com)

in Paris: **Vladimir Smekhov** – 33-6-73024165, 33-1-41861468

in Toronto: **Ilya Lipes** – [lipes@idirect.com](mailto:lipes@idirect.com)

In ISRAEL:

**Lyuba Seryogina** – *Afula*, 972-6-6492095

**Olga Kravchenko** – *Arad*, 972-7-9971014

**Samuel Kushnirov** – *Ariel*, 972-3-9365452

**Leonid Sheinkman** – *Herzliya*, 972-9-9502681

**Vitaly Kabakov** – *Kfar Saba*, 972-9-7673293

**Michael Basin** – *Khaifa*, 972-4-8213657

**Michael Gil** – *Lod*, 972-8-9201291

**Mark Pavis** – *Rekhovot*, 972-8-9353758

## CONTENTS

### RUSSIAN COMPOUND

DMITRY SUKHAREV. Words Laid in Store. *Verses*

### LION GATE

ELENA MAKAROVA. A Script for a Stroll. *Sketches to Novel*

ELIZAVETA MIKHAILICHENKO. Wood and Glass. *Verses*

FELIX KANDEL. A House at a Cliff. *A Chapter from Novel*

RINA LEVINSON. The Air of Destiny. *Verses*

DAN ORYAN. Competitions and International Relations. *Short Story. Translated by Svetlana Shenbrunn*

ELENA IGNATOVA. "New Gogol Is Born...". *A Chapter from Book*

### JAFFA GATE

MARC BOGOSLAVSKY. A Sound at the Exhalation. *Verses*

BENJAMIN TAMMUZ. SAKHTUT. *Short Story. Translated by Zoya Kopelman*

### ZION GATE

ARKADY F.KOGAN. In Steppes of Kherson. *Short Story*

### SHKHEM GATE

ELI BAR-AYALOM. Penitential Serenade. *Verses*

IGOR KOGAN. Evil Eye. *Short Stories*

### BUKHARA QUARTER

STEPAN BALAKIN. Happy is a Lone Runner. *Verses*

### BETZALEL STREET

GRIGORY OSTROVSKY. Gammerizm of Efim Gammer

### KORCZAK STREET

Children Verses by Israeli poets. YEHUDA ATLAS, GRIGORY BARDIN, JONATHAN HEFEN, EIN GILEL, NURIT ZARCHI, SERGEY NIKOLSKY, URIEL OFEK, TIRTZA OTAR. Translated by GRIGORY BARDIN, SEMEN GRINBERG, LORINA DYMOVA, ILIYA LIPES

### CITY OF DAVID

ARNOLD KASHTANOV. This Land is not a Place of Repose. *Essay*

PINCHAS POLONSKY. Joseph and His Brothers. *Weekly Comment*

DMITRY GOLDSTEIN. Renderings from the KOHELET Book

NAHUM BASSOVSKY. Following the Train of Thoughts

### AMERICAN COLONY

DMITRY BOBYSHEV. Colors of Time. *Verses*

### ALWAYS STREET

ALEX REZNIKOV. By Chisel and Word

### MEMORY HILL

YEHUDA AMICHAH. That Was How My Father Was Dying. *Short Story. Translated by Z.Kopelman*

LEV GILAT. Yuda Amichai

ZOYA KOPELMAN. To Yehuda Amichai – Instead of an Obituary

JONAH VOLAKH. With a Basket of Scarlet Berries. *Verses. Translated by Olga Rogacheva*

VLADIMIR FROMER. Poetry as a Form of Life. *Memorial Novelette*

YULI KIM. Was It His Hand?

BENEDICT EROFEEV. Thou Shalt Not Steal

### SAKER GARDEN

DMITRY KIMELFELD. Jerusalem Time

XENIA POLTEVA. Smiling Decently to the Morrow

### 23 JAFFA ST.

ILIYA MARYASIN. Correspondence with Bulat

### NEW GATE

Reviews by Elena Axelrod, Nahum Bassovsky, Michael Gorelik, Michael Kopeliovich, Yakov Shekhter of books by Yury Kolker, Yakov Khromchenko, Svetlana Shenbrunn, as well as of *Russian Jewish Encyclopedia*, *Song of Songs*, and *Extraordinary Stories*

### SHRINE OF THE BOOK

Publications of the Years 1999 – 2000

### NAMES

Authors and Characters

## תוכן העניינים

### מגרש הרוסים

דמיטרי סוחרב. מילים שמורות – שירים

### שער האריות

ילנה מקארובה. תסריטו של טיול – טיוטת רומן  
יליזבטה מיכאילצ'נקו. עץ וזכוכית – שירים.  
פליקס קאנדל. בית על פני התהום – פרק מתוך רומן  
רינה לויזון. ניחוח הגורל – שירים  
דן אורין. תחרויות ויחסים בינלאומיים – סיפור. מעברית: סבטלנה שנברון  
ילנה איגנאטובה. "גוגול חדש בא לעולם..." – פרק מתוך ספר

### שער יפו

מארק בוגוסלבסקי. קול נשיפה – שירים  
בנימין תמוז. סחטוט – סיפור. מעברית: זויה קופלמן

### שער ציון

ארקדי פ. קוגן. בערבות חרסון – סיפור  
שער שכס  
אלי בר-יהלום. סרנדה על חטא – שירים  
איגור קוגן. עין-הרע – סיפורים  
רובע הבוכרים  
סטפאן באלאקין. אשרי הרץ לבדו – שירים

### רחוב בצלאל

גריגורי אוסטרובסקי. ה"הגאמריזם" של יפים גאמר

### רחוב קורצ'אק

שירי-ילדים של משוררים ישראלים. יהודה אטלס, גרגורי ברדין, יהונתן גפן  
עי' הלל, נורית זרחי, סרגי ניקולסקי, אוריאל אופק, תרצה אתר.  
מעברית: גריגורי ברדין, סמיון גרינברג, לורינה דימובה, איליה ליפס

### עיר דוד

ארנוולד קשטנוב. אין זו ארץ מנוחה – מסה  
פנחס פולונסקי. יוסף ואחיו – דרשה על פרשת השבוע  
דמיטרי גולדשטיין. עיבודים מספר קהלת  
נחום בסובסקי. לפי סדר ההרהורים

### המושבה האמריקנית

דמיטרי בובישב. צבעי הזמן – שירים

### רחוב התמיד

אלכס רזניקוב. באיזמל ובמילה – על מדורינו

### הר הזכרון

יהודה עמיחי. מות אבי – סיפור. מעברית: זויה קופלמן  
לב גילת. יודה עמיחי  
זויה קופלמן. ליהודה עמיחי – במקום הספד  
יונה וולך. סלסלת תותים – שירים. מעברית: אולגה רוגאצ'בה  
ולדימיר פרומר. השירה כאורח-חיים – סיפור-זכרונות  
יולי קיס. האם ידו היא?  
ונדיקט ירופייב. לא תגנוב

### גן סאקר

דמיטרי קימלפלד. שעון ירושלים – שירים  
קסניה פולטבה. חיוך מנומס לעתיד לבוא – שירים

### יפו, 23

איליה מריאסין. תכתובת עם בולאט אוקודז'אווה

### השער החדש

ביקורות מפרי עטם של ילנה אקסלרוד, נחום בסובסקי, מיכאל גורליק,  
מיכאל קופליוביץ', יעקב שכטר – על ספריהם של יורי קולקר,  
יעקב חרומצ'נקו, סבטלנה שנברון, וכן על "האנציקלופדיה  
היהודית לרוסיה", "שיר השירים" ו"סיפורים על הלא-רגיל"

### היכל הספר

יצאו לאור בשנות 2000 – 1999

### שמות

יוצרים ודמויות

**כתב-עת ירושלמי 7. 2001**

## **ספרות ישראלית בשפה הרוסית**

רבעון אמנותי

אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל  
עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת:

**איגור ביאלסקי** (עורך ראשי), **שמעון גרינברג**, **רומן טימנצ'יק**,  
**יולי קיס**, **זינאידה פלבנובה**, **דינה רובינה**, **סבטלנה שנבורן**  
**מזכיר - לאוניד לוונזון**

**ציירת - סוסנה צ'רנוברובח**

**עריכה והגהה - מרגריטה שקלובסקי**

**תמיכה לוגיסטית וטכנית - בינה סמחוב**, **אולגה אקסיוטין**,  
**בוריס ברושטיין**, **דניאל בורשטיין**, **שאול קוטלרסקי**,  
**מיכאל ביאלסקי**, **ויקטור גופמן**, **גרגורי גורדין**, **דניאל למברג**,  
**אנטון מוכין** ו**בוריס שטיין**.

**הוצא לאור: "סקופוס"**      **הדפסה: דפוס "צור-אות"**

בתמיכת

**המרכז לקליטת אמנים עולים**  
(משרד לקליטת העלייה,  
משרד התרבות והספורט);

**עיריית ירושלים**

(אגף התרבות,

הרשות העירונית לקליטת עליה

והספריה הרוסית העירונית בירושלים);

**הפורום הציוני**

**והכנס העולמי ללימודי אינטראקציה של תרבויות**

© 2001 כל הזכויות שמורות למחברים ול"כתב-עת ירושלמי"

**ISSN 1565-1347**

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת. ד. 32297, ירושלים 91322  
טל. 055-5384914 02-6720025, 054-745322, 055-766722



